

Библиотека / Абсолют

Эдвард
Станиславович
Радзинский

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Librar Absolut



Библиотека «Абсолют»

Эдвард Радзинский

Личность в истории (сборник)

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-311.6
ББК 82(2Рос=Рус)6-44

Радзинский Э. С.

Личность в истории (сборник) / Э. С. Радзинский —
«Издательство АСТ», — (Библиотека «Абсолют»)

ISBN 978-5-17-107826-3

В страшные дни войны, когда немцы рвались к Москве, на стол к Иосифу Сталину попала пьеса А. Н. Толстого об Иване Грозном. Прочитав ее и, видимо, о чем-то раздумывая, Сталин несколько раз написал на задней стороне обложки одно слово – «Учитель». Учитель... но в чем? Сталинская любовь к Грозному связана с неким важнейшим вопросом, который когда-то задал наш великий историк Карамзин. И ответ, на который скрывает история самого загадочного и самого кровавого из русских царей...

УДК 821.161.1-311.6
ББК 82(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-107826-3

© Радзинский Э. С.
© Издательство АСТ

Содержание

Кровь и призраки Смуты	6
Иоанн Мучитель	6
Тайна Иоаннова сына	43
Дневник Наполеона	89
Из архива Шатобриана	89
Генерал Бонапарт	119
Конец ознакомительного фрагмента.	153

Личность в истории (сборник)

Эдвард Радзинский

© Радзинский Э.С.

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Кровь и призраки Смуты

Иоанн Мучитель

Еще в сталинские времена наш знаменитый антрополог и скульптор академик Герасимов, восстанавливавший лица по черепам, задумал вскрыть гробницу царя Ивана Грозного. Герасимов хотел не только воссоздать портрет легендарного царя, но ответить на вопрос как он умер? Был ли он убит, как гласила легенда, или, говоря словами поэта, «к стыду людей, он умер сам»?

Но не захотел Сталин. То ли бывший ученик духовной семинарии не забыл историю с гробницей Тимура (когда через три дня после вскрытия тем же Герасимовым могилы, как и предупреждали старики узбеки, началась война – Гитлер напал на Россию) и теперь избегал нарушать покой царей-демонов, то ли, что скорее всего, попросту не захотел тревожить покой любимого героя.

Грозный царь воистину был любимцем грозного диктатора. Сталин несколько раз посещал его могилу в склепе под алтарем Архангельского собора. Общеизвестна история Эйзенштейна: Сталин осыпал милостями великого режиссера, когда тот снял фильм-панегирик Ивану Грозному, и пришел в ярость, когда Эйзенштейн во второй серии посмел не воспеть его как должно...

Занимаясь биографией Сталина, среди книг его библиотеки я нашел пьесу А.Н. Толстого об Иване Грозном. В страшные дни войны, когда немцы рвались к Москве, попала к нему на стол эта пьеса... Прочитав ее и, видимо, о чем-то раздумывая, Сталин несколько раз написал на задней стороне обложки одно слово – «Учитель».

Учитель... но в чем?

Ответ казался простым: грозный царь истребил множество бояр. И Сталин истребил партийных вельмож, которых часто называли «боярами» (как писал поэт: «А вы, кремлевские бояре из белостокских корчмарей...»).

Но чем дальше я писал эту историю, тем яснее понимал: дело не только в уничтожении бояр... Сталинская любовь к Грозному связана с неким важнейшим вопросом, который когда-то задал наш великий историк Карамзин. И ответ на который скрывает история самого загадочного и самого кровавого из русских царей...

Однако о карамзинском вопросе потом. Сначала о царе...

Его гробницу вскрыли уже после смерти Сталина – в 1963 году.

На смертном одре царь Иван принял схиму – высшую ступень монашества – и в гробу лежал в рясе и куколе.

Герасимов восстановил лицо по черепу, и старик с хищным крючковатым носом и сладострастным, презрительным «карамазовским» ртом глянул из небытия...

Два Ивана

«Тело изнемогло... болзнет дух... раны душевные и телесные умножились, и нет врача... Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого... Отплатили мне злом за добро и ненавистью за любовь...»

Кто так жалуется – страстно и возвышенно? Кто этот одинокий страдалец, столь несправедливо обиженный?

Это наш герой, царь Иван Васильевич, который всего за два года до этих слов истребил великий город Новгород. Да что город – целый край опустошил! Младенцев привязывали к матерям и топили в Волхове... А жалостливые слова эти он написал в своем завещании, и обращены они прежде всего к любимому сыну, которого он... тоже убьет!

Но первые тринадцать лет его правления были благодетельны – великая пора в нашей истории! Остальные двадцать с лишним лет – кровь и террор, избиение народа, будто царя подменили, будто дьявол вошел в него...

Темна до него история московских правителей – безликих теней, тускло отраженных в летописях... Он первый заговорил.

Он оставил множество писем, в которых – его голос, его шутки, его проклятия. Так что он сам, царь Иван Четвертый, и поведет нас по собственной истории.

Из тьмы Азии

Легенда, естественно, утверждает: когда он родился, гремела гроза. И гроза действительно гремела, но очень далеко от каменного дворца, выстроенного его дедом на месте ветхих деревянных хором московских царей...

По всей Западной Европе грохотали пушки, пустели храмы, священники брались за мечи, воздвигались эшафоты, шли религиозные войны. Реформация – Лютер, Кальвин, папские проклятия... Европе уже было явлено чудо Нового Света.

А где-то там, на Востоке, где обрывалась европейская цивилизация, из загадочной тьмы Азии перед изумленной Европой воздвигался другой «новый свет» – колосс-Россия...

Отец Ивана Василий долгое время был бездетен. «С печалью и слезами», как напишет летописец, смотрел он на гнезда, где резвились птенцы.

И эта «любовь к птенцам во гнездах» заставила его заточить в монастырь бездетную жену Соломону, откуда она прокляла и его, и будущее его потомство... Жаждавший «птенцов» Василий женился на молодой красавице Елене Глинской, дочери литовского вельможи, «переехавшего» (точнее, перебежавшего) от польского короля к московскому правителю.

Такие «переезды» туда и обратно долгое время были в обычае. Боярство при тогдашнем московском дворе напоминало, как сказал историк, «каталог этнографического музея», где были представлены русские, немецкие, греческие, татарские и литовские имена... Потомками литовского князя Гедиминоса были князья Мстиславские, Голицыны, Куракины, Хованские, Патрикеевы – длинен будет список Гедиминовичей... Выходцами из Литвы были и Милославские. Потомками «выехавшего из Прусс» Андрея Кобылы были Романовы и Шереметевы, от другого «мужа честна из Прусс» происходили Салтыковы и Морозовы. А сколько знатных татар выехало из Орды на службу к московским Государям – от них произошли княжеские роды Урусовых, Юсуповых, Апраксиных... Но уже при отце Василия бояре были прикреплены к Московскому княжеству клятвой и целованием креста – служить только московскому Государю...

Василий пугал двор своей любовью к новой жене: он даже пренебрег священной в Московии бородой – сбрил ее, чтобы быть приятнее молодой чужестранке. И старцы в заволжских монастырях объявили блудом брак Великого князя.

Елена не обманула его ожиданий – родила ему сына. Его назвали Иваном в память о великом деде. Иван Четвертый...

Но «любитель» птенцов Василий недолго наслаждался своим новым гнездом. Сбывалось проклятие Соломонины – Василий умер, когда мальчику было всего три года. Никогда Русь не знала такого малолетнего царя.

Правительницей стала его мать. Через полтысячи лет после легендарной княгини Ольги женщина, да еще и чужеземка, стояла во главе Московского государства...

В начале правления вдовствующей Великой княгини вернулось было забытое своевольство бояр и князей, начались заговоры... Елена действовала так, как учил Василий: в темницу были брошены все претенденты на престол – и родной брат ее покойного мужа Юрий, и ее собственный дядя Глинский. И другой брат Василия, Андрей Старицкий, отправился в заточение, где заках в оковах. В темнице сидели: Рюрикович – князь Андрей Шуйский, и потомок Гедимины – князь Вельский. Все короче становился путь между дворцом и тюрьмой, все многолюднее... Опалы следовали одна за другой, в ссылки отправились знатнейшие бояре. И страх вернулся во дворец.

Делами заправлял любовник Елены – князь Телепнев-Оболенский. И боярам надо было угождать могущественному фавориту...

Все хотели перемен. Так что уже через пять лет после смерти Василия «юная летами и цветущая здоровьем» Елена вдруг умерла. Опять говорили о проклятии Соломонины, но это был боярский яд...

Почти через пятьсот лет в ее останках найдут многократно повышенное содержание ртути. И череп красавицы с чудом сохранившимися рыжими волосинками поведаст ее тайну...

Когда мать хоронили, восьмилетний царь-сирота плакал и прижимался в страхе к назначенному матерью опекуну – Телепневу. Но уже через неделю князь сидел в подземной темнице. Его оторвали от плачущего маленького Ивана... Князя, перед которым еще вчера заискивали, которому доносили друг на друга, бояре приказали не кормить.

На свободу вышли все опальные князья, проделав столь же частый в те времена обратный путь – из тюрьмы во дворец. Боярский клан князей Шуйских – как и московские владыки, они вели свой род от князя Александра Невского; князья Пенковы, ведущие род свой от ярославских великих князей; Милославские и Патрикеевы – вновь заседают в Думе. Вернулись во дворец и князья Вельские – с мечтой вернуть свои уделы: Вельск и Рязань, оружием присоединенные к Москве. Мечта о прежней удельной Руси вернулась...

Но все они слишком ненавидят друг друга, чтобы объединиться и свергнуть малолетнего Ивана... И исходят в яростных спорах в Думе о боярской чести, о «местах» и об «отечестве» – кто выше на темной родословной лестнице. Спорят до мордобития – по щекам бьют друг друга, рвут бороды... И – воруют! Нагло и открыто воруют, грабят области, отданные им в «кормление».

«Кормление» – великий обычай, с него начинается тысячелетнее воровство русской бюрократии, навсегда засевшее в ее генах. Боярин, назначавшийся наместником московского Великого князя, должен был «кормиться» за счет управляемой им области. По прибытии он получал от жителей первый взнос под названием «кто сколько может» – и попробуй ему не дать! Как липку обдирали управляемых, беспощадно. Куда хуже татарского ига были для народа эти «кормления»! Князь Андрей Шуйский, «аки лев кровожадный», обобрал до нитки богатый Псков – так, что в городе не стало ни богатых, ни бедных, все были нищие. Но захватившие власть Шуйские не только обирали население – они открыто грабили и царскую казну...

В небрежении, в дальних комнатах дворца растет забытый отрок, но он все видит, все запоминает. И опишет потом свое жалкое сиротство: как воровали Шуйские царские золотые сосуды и перечеканивали на них свои имена... Запомнит и жалкую шубу, в которой впервые увидел Андрея Шуйского, – ветхая была, зато потом в какой роскошной шубе хаживал князь –

из царских кладовых украденной! И то, как, унижая мальчика, клал Иван Шуйский ноги на кресла, где сживал его отец, как садился на кровать, где он умер... Все запомнит мальчик, которого (как и многих будущих кровавых диктаторов) горько унижали в детстве.

Он уже знал: это они отравили его мать, они отняли у него кормилицу Аграфену и постригли ее в дальний монастырь только потому, что она была сестрой несчастного Оболенского. И самого князя, любившего его, они в оковах голодом заморили.

Кровь вокруг... Кровь и Власть.

Первый царь

С трех лет, после смерти отца, он уже присутствовал на приемах послов – маленькая кукла в царском одеянии. И первое его детское видение: он – повелитель... смиренные поклоны... И сейчас, после смерти матери, бояре по-прежнему выводят его к послам, надев на него дорогие одежды, чтобы потом отправить в темноту и холод нетопленных покоев. Они дрова и свечи ему жалели...

Но не заметили бояре среди своих драк – кукла-то выросла! Теперь это был высокий отрок с тонким крючковатым носом и смуглым лицом – наследство византийских предков.

Он много читал. И станет образованнейшим государем в Европе. Первое, что он усвоил: князья и бояре – воры, ограбившие не только его казну. Они посмели похитить власть, от Бога данную его роду.

Он твердо выучил: с изначала земли русской род его пришел спасти этот народ от боярской смуты. Великие воины варяги... Не силой взяли они эту землю: силой не вышло, словене, весь, чужь и кривичи отбились. А потом сами пришли к его предкам и позвали – править.

Загадка? Лишь для тех, кто не рожден на Руси. Бояре и князья так ненавидели друг друга, так изводили народ поборами и распрями, что люди собрались и решили просить прийти его предков: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и володеть нами». И князь Рюрик из племени русь с братьями и дружиной пришел... И местные князья были рады: пусть лучше чужой правит, но только не один из них.

Великое потомство дало Рюриково древо! Но бесчисленные потомки заболели местной болезнью – ненавистью друг к другу. И порядок исчез. Они разбили Русь на многие княжества и начали великую битву друг с другом. И когда пришли татары воевать русскую землю, Рюриковичи, братья по крови, радовались бедам друг друга...

Только великая власть могла обуздать хаос, воровство и грабеж, сдержать орды, идущие из Азии. И власть эта родилась, в Москве, в великом городе, которому дано было вновь собрать Русь. И сделали это его прадеды и деды – московские потомки Рюрика...

А полтысячи лет назад здесь, на окраинах ростовской земли, посреди непроходимого бора стоял жалкий княжеский двор, где его прапрадед, князь Юрий Долгорукий встретился с союзником своим, Новгород-Северским князем. Их «обед силен» и слово «Москва» остались в древней летописи, которую читал мальчик... Видно, что-то предчувствовал князь Юрий, когда обнес княжий двор деревянными стенами, – от тех времен идет Кремль, где за стенами стоят древние соборы и его дворец. За эти пятьсот лет жалкий городок стал первым городом Руси, а все великие, прежде богатые княжества – Рязанское, Нижегородское, Ростовское, Ярославское – обессилели в бранях друг с другом и кровью изошли в борьбе с татарами. Но заслонили от ханов благословенные московские земли, дали владениям его предков желанный покой... и пали под власть его деда, который сделал бесчисленных потомков Рюрика жалкими подданными, боярами на службе московских князей.

Правда, московская ветвь Рюрикова древа была немногочисленна. Великая власть убивает – и старшие в роде истребляли младших, чтоб не дробить собранную землю, чтоб изба-

виться от мятежей. Дед Иван Третий убил брата Андрея с двумя сыновьями, отец Василий отправил на тот свет двоюродного брата Шемяку-Рыльского... И его мать, Елена Глинская, следовала традиции – извела братьев его отца Юрия и Андрея.

Великий город отстроили его предки. Мать, пока жива была, возила его на богомолье в монастыри. Он помнил, как сразу за городом начинались дремучие леса, окружающие редкие селения при большой дороге. А за лесами – степь необозримая, откуда войной приходили татары казанские, астраханские и крымские – остатки распавшейся Великой Орды...

Он любил возвращаться в свой город. Чем ближе к Москве, тем веселее дорога: тянутся обозы, скачут всадники, лошади мчат сани... И вот уже на холме Кремль с золотыми куполами храмов. У стен, сбегая к реке, стоят бесчисленные дома: слободы ремесленников, светлое дерево на красном морозном солнце... А за Москвой-рекою дымит жаркими печами Немецкая слобода. Здесь всегда шум и гам – иноземцам разрешено пить в будни.

В Москву зимой въезжали обычно в темноте. Ночью пусто: жителям запрещено ходить без причины, только у заградительных рогаток, выставленных на ночь, стоит караул.

Полтора ста тысяч жили в Москве по переписи, которую сделал его дед.

Иван Третий, великий его дед... Это он возвратил величие исчезнувшей было в дыму татарских пожаров, поставленной на колени стране. Это он покорил удельные княжества, объединил Великороссию – сделал ее вотчиной московских князей. Это при нем Великая Русь вновь почувствовала себя единым народом. Иван Третий Грозный – так называли его тогда. Страшен был в гневе, женщины падали в обморок от одного его взгляда.

И слушал мальчик повествования доброхотов: «Когда князь засыпал, как столбом стояли бывшие удельные князья, дыхнуть боялись, чтоб не разбудить Государя...» Но он уже понял и крепко запомнил: не гневным взглядом правил дед, но топором и публичной поркой усмирал он непокорных.

Грозный Государь... Грозной должна быть истинная власть!

И он будет грозным, как его дед, и будет править покоренными князьями, как холопами. «Холопы» – так звались рабы, потомки купленных когда-то рабов, или плененных на войне, или людей, проданных за долги... И при деде его, и при отце – все, от жалкого крестьянина-смерда до князей и бояр, звали себя «холопами Государя», все писали в челобитных: «Се аз холоп твой...» Дед ввел обычай: коли ему не нравилась боярская «встреча» (встречное мнение в Думе), говорил кратко: «Пошел вон, холоп! Ты мне более не надобен!»

В книгах иноземцев о Московии (толмач переводил для него эти книги) он читал с радостью: ничто не удивляло так чужестранцев, как самовластие его отца и деда. «Воля Государей служит в Московии вместо писаных законов... и никто не смеет называть свое «своим», а называют «Государевым»... «Так угодно Богу и Государю»... «это ведает Бог и Государь...» – самые частые слова на Руси...»

Князья-холопы забыли свое место – вот что он крепко усвоил с детства...

Велики были дела его грозного деда! При нем Москва поняла свое предназначение. В прошлом веке пала Византия – оплот православия, и взоры крещеного мира обратились на новую великую столицу православия – обретшую могущество Москву. И дед решился поднять павший византийский венец...

Московские книжники много говорили тогда о древних связях между Русью и Византией, о крови византийских императоров, которая текла в жилах его предков. Это его прапрабабка княгиня Анна, сестра византийских императоров, стала женой Владимира Святого, крестившего Русь. А потом был Владимир Мономах – Великий киевский князь, внук византийского императора Константина Мономаха. Как рассказали мальчику, тогда и привезли на

Русь византийские святыни: венец золотой царский («шапку Мономаха», от самого императора Константина), крест животворящего древа, бармы и сердоликовую чашу, из которой пил еще римский кесарь Август.

«Шапкой Мономаха» и был венчан Владимир. (На самом деле шапка эта была монгольской работы, и нетрудно догадаться, как попала она в московскую сокровищницу, – это был всего лишь татарский дар: какой-то хан пожаловал ее одному из покоренных Рюриковичей. Но кому нужна жалкая правда, если вымысел так величав и полезен?)

На века останется татарская шапка русским венцом, «шапкой Мономаха». А «чаша Августа» завершила творение великой легенды, ибо московские книжники утверждали, что Рюриковичи происходят от потомков самого римского кесаря Августа. Так в московских Государях соединились оба Рима – Рим кесарей и Византия.

И его дед воплотил в жизнь эту великую легенду...

В те времена в Риме бедствовала Софья Палеолог – молодая племянница последних византийских императоров. Эта сирота, жившая в опасной близости к ненавистному православному папе, хоть и не славилась красотой лица, зато радовала глаз непомерной дородностью, которую так ценили в женах московские Государы. На Софье-бесприданнице и решил жениться Иван. Не жалкое богатство, но иное, бесценное приданое должна была привезти в Москву Софья Палеолог...

И привезла. И до смерти берегла это богатство. Уже после замужества, на пелене, вышитой ею в дар монастырю, Софья не стала величать себя «Великой княгиней московской», но назвалась «царевною цареградской». Так она сама назвала свое великое приданое... Последняя наследница великих византийских императоров передала их державность (уже не в легенде) Московскому царству.

Разве мог после этого дед, наследник великой Византии, оставаться данником татарских ханов? И он отказался платить дань.

И было «великое стояние» на реке Угре. Дед встал с войском с одной стороны реки, с другой – хан. Долго стояли, ибо Иван еще не решался напасть первым, а хан – уже... И длилось «стояние» до поры, пока лед не покрыл реку. Теперь ханская конница, столько раз побивавшая русские полки, могла перейти на другой берег. Опасаясь этого, Иван дал сигнал отступить, но его воины, помня об ужасах татарских конных атак, попросту побежали. И тогда татары... побежали тоже: решили, что хитроумный московский князь заманивает их на другой берег. Так бежали друг от друга эти два войска, никем не преследуемые. Так смехом закончилась кровавая история татарского ига.

Теперь дед стал воистину кесарем. Церемонии византийского двора вошли в жизнь двора московского. Наследник Византии воздвигнет в Кремле новый каменный дворец, где родился Иван – его внук. И Грановитую палату, и главный собор державы – Успенский... Свергнув иго хана, он стал именовать себя «самодержцем» (византийский «автократор») и «Государем всея Руси».

Так ожила величавая мистическая идея... Был первый Рим – Рим кесарей. Погиб. Потом была Византия – наследница того Рима. Погибла. А теперь есть град Москва, где правят наследники властителей обоих павших империй. Москва – третий Рим и последний, ибо четвертому Риму уже не бывать. И «венец Мономаха», лежавший в сокровищнице его предков, ждал великого властителя, который первым будет венчаться в нем на царство, первым объявит себя царем Руси.

И вечно полуголодный, заброшенный мальчик знал: этим первым венчанным московским царем будет он. И он вернет на Русь время великих воинов, древних князей-завоевателей!

С детства он «стал святыней для самого себя»...

Время летит незаметно. Занятые сражениями друг с другом бояре и не заметили, что мальчику стукнуло тринадцать лет – отрок! Проморгали...

«Волчонок вырос», – говорили они потом. Не понимали: совсем другой зверь появился во дворце. Жестокость и властолюбие византийских императоров, коварство хитроумных московских князей, темперамент и отвага литовских кондотьеров – гремучая смесь... Не волчонок – тигр! Кошачья любовь к игре с жертвой, прежде чем отдаст она свою кровь... и страсти, бешеные страсти! Распался – и тогда действовал! В ярости – хитроумен, талантлив... В ярости – в речах убедителен...

Тогда-то он и показал боярам, кто вырос во дворце. Накануне нового, 1544 года посмел обычным языком повелителя заговорить при нем самый наглый и влиятельнейший из Шуйских – князь Андрей, и Иван, «приведши себя в бешенство», повелел своим псарям схватить думного боярина. Не увидел нового года гордый князь – 29 декабря 1543 года труп потомка Александра Невского валялся на заднем дворе... А Иван, усмехаясь, объяснял бледным боярам: случилась-де досадная ошибка, он повелел отвести в темницу возомнившего о себе боярина, да глупые псари почему-то не поняли, до темницы его не довели – зарезали... И велел, чтоб усвоили: ему уже минуло тринадцать и править теперь будет – он!

И бояре мигом вспомнили грозного деда...

«Вот тогда-то бояре и начали иметь страх Государя», – напишет современник. Их наглость, небрежение как по волшебству сменились лизоблюдством и угодничеством.

Ко дворцу тотчас вернули любимого Иваном с детства боярина Федора Воронцова, сосланного Шуйскими...

Но он знал: чтобы стать грозной, Власть должна быть и ветреной. Тогда она родит истинный Страх, а следовательно, и повиновение... И уже вскоре, в порыве так ценимого им гнева он казнит любимого Федора Воронцова. Те, кто вчера в опале, сегодня в милости, но уже завтра – наоборот. Сегодня он ненавидит бояр, а завтра прослышавшие об этом псковичи приходят с жалобой на очередного наместника, обобрававшего город, князя Ивана Турунтая-Пронского. И вдруг бешеный гнев царя обрушивается на них. Как смеют они бить челом на его наместника! На князя! И летописец рассказывает, с каким упоением молодой Государь «палил жалобщикам бороды... сам свечою их поджигал... и повелел класть нагими на землю и топтал их...» Кто знает, куда поведут его страсти, тигриные игры, – и бояться, трепещут... Власть!

Своими тогдашними забавами напоминал он юного Нерона. Орава всадников – Иван, окруженный толпой молодых собутыльников, – с гиканьем несется по Москве. Играют – стараются раздавить попавших под копыта горожан. Как на охоте, загоняют молоденьких женщин и, привезши во дворец, насилюют. Это тоже игра... И вмиг ставшие холопами бояре угодливо славят страшные забавы – пусть веселится Государь!

Как напишет князь Курбский: «Эти карлы, эти угодники говорили: «Ох, как будет храбр он и могуществен!»

Преображение

Но происходит чудо. На семнадцатом году жизни Ивана следуют два венчания.

16 января 1547 года произошло великое. В Успенском соборе митрополит возложил на него венец – ту самую легендарную «византийскую» шапку Мономаха. Мечта сбылась. На Руси появился первый царь.

Но титул Великого князя всея Руси он себе тоже оставил. Царь и Великий князь... Так он обвенчался с Русью.

И уже через полмесяца – второе его венчание. Не чужестранку взял, как дед и отец... Он хорошо выучил русскую историю: иноземцев на Руси бояться, с ними суеверно связывают все несчастья, от них непременно ждут нарушения старых обычаев, которые так ценит его

народ. Русскую девушку решил взять в жены! И бояре, и митрополит славили эту неожиданную осмотрительную мудрость юного царя...

Сотни кроватей поставлены в Кремле. Со всех концов Московии свезены красивейшие девушки, лекарь осмотрел их... А потом пришла его очередь – избирать жену. Он выбрал Анастасию – дочь покойного московского боярина из рода Романовых.

«Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами...» Он наизусть знал Библию – образованнейший был царь...

Анастасия – первая из Романовых, взошедшая в царский дворец...

«Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви...» Испуг и радость ее тела... сладость единственной, которую он любил... «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня...»

Но оба не знают – свершилось! Там, во тьме их брачного ложа уже появился призрак – будущая трехсотлетняя династия, которой суждено будет окончить свои дни в грязном подвале Ипатьевского дома...

Летом того же года загорелась Москва, и пожар был под стать году – великий, невиданный. Много раз полыхал огнем деревянный город с беспечными жителями, но такого не помнили даже летописцы.

Первый пожар был в апреле. А потом случился тот, самый страшный – в жарком июле... Митрополит, на коленях моливший Бога пощадить людей, чуть не задохнулся в Успенском соборе – на веревке спустили его в Москву-реку. Крепко зашибся тогда владыка, долго болел...

После пожара и наступило то, что должно было наступить. Потерявшие кров, все нажитое, люди с проклятиями искали виновных. Вот тогда и прошел слух: город подожгли колдовством, и не кто-нибудь, а родственники царя – иноземцы-ляхи. Вышедшим к народу боярам взбунтовавшаяся чернь прокричала, что княгиня Анна, мать Глинских, вырезала сердца у мертвых, клала их в воду и водой этой кропила город. Поняв, что ему грозит, Георгий Глинский, дядя царя, бросился в Успенский собор. Озверевшая толпа свершила святотатство: несчастного князя растерзали прямо в Божьем храме...

А потом толпа пришла в сельцо Воробьево, где спасались от огня царь с молодой царицей, и потребовала крови Анны и остальных Глинских. Жалкие бояре умоляли: «Отдай их!» Но он уже знал разгадку Власти... Распустились людишки, разгулялись кроваво! Разве, жертвуя новую кровь, усмиришь их? Истинный внук Ивана Третьего, он уже понял свой народ: царство без грозы, что конь без узды...

Сначала толпе сказали, что царя в Воробьево нет. А когда страсти поутихли и стали расходиться люди, пришло время дать ему волю своему гневу. Гневу, от которого всю его жизнь в беспамятстве от страха будут пребывать его бояре...

Радостно Иван дал вырваться ярости, в неистовстве кричал повеления: стрелять в толпу, вязать зачинщиков. И стрельцы весело палили в народ, догоняли и вязали разбегавшихся. Царь повелел их казнить. И вмиг все успокоилось – повинились мятежные. Крестьясь, прося прощения у царя, шли виновные на плаху...

Именно в те дни, как потом будет вспоминать князь Курбский, из пламени страшного пожара возник поп Сильвестр – священник Богоявленского собора в Кремле, домовая церковь московских владык. Там стояли иконы святых покровителей московских Государей, и среди них – суровая икона Иоанна Предтечи, его икона, где живописец изобразил топор, который лежал у корней дерева, не приносящего плода...

Сильвестр заговорил с молодым Государем, «как власть имеющий». Он объявил ему, что пожары – это небесный огонь, который брошен на город за грехи Государя, за его своевольные казни. И уже первый пожар был провозвестником гнева Божьего, но царь не понял, и оттого был второй пожар... И пока не поменяет царь свою жизнь, огонь небесный будет пожирать его город, и третий пожар испепелит самого Государя, ибо грозен Бог к нечестивцам...

Поп говорил предсказаниями... Как родитель пугает неразумного сына, он пугал семнадцатилетнего царя Страшным судом, грядущими карами, которые потом Иван насмешливо назовет «детскими страшилками». Но в тот момент, как сам Иван расскажет в будущих письмах к князю Курбскому: «Дух мой и кости вострепетали, а душа смирилась во время пожара и бунта».

Страх и трепет...

И Сильвестр, который не был даже его духовником, станет на тринадцать лет главным советчиком царя, царской Мыслью (а царь будет только Властью). Поп сумеет обуздать Ивана, буйная река его страстей войдет в берега. Все эти годы будет для него Сильвестр грозным напоминанием о Небесном суде, где Государя перед Всевышним дают ответ за народ, им вверенный...

Так смирил его поп в дни огня... Пока.

Помогла и молодая жена – счастливый выбор! Иван жил страстями, а тогда была страсть к юной жене, радостной, ровной и мудро религиозной. Она, жившая по-Божьи, помогла его душе. Ушли Нероновы забавы. Любовь, прощение, чтение Евангелия – тогда он этим жил. Тигр заснул. Был мудрый царь, ответственный за народ, прекрасный и чистый душой и телом... Брак с Анастасией, вся их тринадцатилетняя жизнь останется великим временем для Руси.

Бояре заседали в Думе, но не они управляли. Вокруг Ивана собрался кружок совсем молодых людей, который впоследствии князь Курбский назовет несколько на литовский манер – «Избранная Рада».

Поп Сильвестр, незнатный дворянин Алексей Адашев, взятый царем «из гноища», из ничтожества, и еще князь Курбский, потомок могучих ярославских князей, Рюрикович, – они вместе с ним принимали тогда решения. В Раде и были задуманы великие реформы...

И пришел прекрасный миг: в 1550 году вся Красная площадь была запружена народом – со всей Великой Руси собрали именитых людей на Земский собор.

Молодой царь вышел к людям. Не во дворце, окруженный сидящими по лавкам сонными бранчливыми боярами, но на площади, запруженной народом, – как бы перед всей землей русской говорил Иван.

Его облик можно представить по воспоминаниям современников, по одеждам, висящим в музейных витринах, по костям, оставшимся в его гробу: широк в груди и очень высок был Государь. Рыжеватая борода, голубые глаза и большой тонкий крючковатый нос орла, придававший его лицу опасное выражение...

Таким он стоял на Лобном месте перед людьми своими, и ветер трепал его длинные, рано пордевшие волосы.

Как всегда перед важным поступком, он подзадорил себя, вспомнил с гневом утеснения детства, ненавистных Шуйских и, распалившись до великого красноречия, обратился к митрополиту и народу.

«Ты знаешь, Владыко... сильные бояре расхищали мою казну, а я был глух и нем по причине моей молодости...» Возвысив голос, он говорил самым знатным, чьи шапки, высокие, похожие на митры, поднимались над толпою: «Лихоимцы и хищники, судьи неправедные,

какой дадите вы ответ за те слезы и кровь, которые пролились благодаря вашим деяниям?.. Я чист от крови... но вы ждите заслуженного воздаяния!»

Горели бешено глаза царя, и затаился народ на площади – ожидал великой расправы. Но он объявил, что мстить боярам и князьям не будет – пусть ответят они за все свои утеснения на Страшном суде, а сейчас... И голос его сорвался от волнения...

Он повелел всем забыть обиды и соединиться – в любви и прощении. Он объявил себя защитником людей от несправедности сильных мира сего... И опять в глазах его были слезы, когда он обратился к иерархам и митрополиту Макарию: «Достойные святители церкви, от вас, учителя царей и вельмож, я требую: не щадите меня в преступлениях моих. Гремите словом Божиим, и да жива будет душа моя!»

Сын жалкого служилого человека Алексей Адашев был пожалован им тогда же в окольные нищбы. И царь сказал ему: «Взял я тебя из нищих... пожелал я не тебя одного, но других таких же... Поручаю тебе разбирать челобитные... принимать их от бедных и обиженных... Не бойся сильных, похитивших почести и губящих бедных...»

И народ плакал от радости и славил царя. И царица была счастлива. И бояре были довольны: пронесло...

Но они не знали его. Они не поняли – это была уже программа будущего.

«Пожелал я не тебя одного, но других таких же...» Призвать новых людей, обязанных не знатности и славе рода, но безвестных, вознесенных его милостью людишек...

Нет, он ничего не простил: ни убийства матери, ни утеснений детства. Хорошо помнил расправу с Глинскими, и подозрительнейший его ум тотчас подсказал тогда: и это сделали они, бояре! Через холопов своих натравили толпу на родичей его, мстили за падение Шуйских! Он не умел забывать...

В это же время по Москве начинает распространяться удивительная челобитная. Некий Ивашко Пересветов, служилый человек, про которого никто на Москве не знал, с какой-то удивительной, дерзостной свободой давал в ней советы самому царю... Впрочем, в челобитной было всему этому объяснение. Оказывается, не знали Ивашку потому, что служил-де он королям – польскому, литовскому и чешскому. А смелость его оттого, что происходил он будто бы от славного монаха Пересвета, погибшего геройски в битве с татарами на Куликовом поле.

Но какие удивительные советы давал таинственный Пересветов! Вся челобитная – одно яростное требование к царю: расправиться со знатными, приблизить к себе простых воинов вместо вельмож, «которые крест целуют, а сами изменяют, которые по лености и трусости ни воевать, ни управлять не умеют...» Крови бояр, грозу против вельмож требовала дерзкая челобитная. «Нельзя Государю без грозы быть...» Царю нельзя быть кротким. Царьград пал из-за кротости Константина... Быть мудрым Государю – значит быть грозным!

Подозрительно предвосхищала «челобитная» и будущие письма царя к князю Курбскому, и Опричнину, и боярские казни...

Неужели тайные царские мысли и будущие дела были продиктованы безвестным и вскоре забытым Ивашкой Пересветовым?

Скорее всего, нет. Это он сам, царь Иван, постарался. Сам и написал челобитную как своеобразный глас народный. Он великий царь Иоанн Васильевич, он и жалкий Ивашка Пересветов – его любимое раздвоение личности. Он обожал писать под чужими именами. За подписями своих бояр – Мстиславского, Вельского, Воротынского и прочих – оставит свои творения царь...

Это актерство жило в нем до смерти: прикинуться жалким и объявиться грозным. Любимые тигриные игры... Но тогда его смирили – Сильвестр и кроткая жена смогли удержать его

от желанной крови. Тогда им было легко: ему было всего двадцать лет, и он был счастлив. Десятилетие будут тлеть подавленные ярость, гнев и месть. Но когда вырвутся...

А пока шли его реформы. Вместо устаревших неясных законов вместе с «Избранной Радой» он создавал первый Судебник – свод законов Государства Московского.

Отныне всякому поместью, которым владел знатный человек, по закону соответствовала определенная служба. С каждых пятидесяти десятин землевладелец должен был выставить ратника на коне, да еще и запасную лошадь в придачу, или откупиться. Теперь, уже по закону, все знатные люди были объединены главным – военной службой Государю.

Попытался он урегулировать и отношения с церковью. Только в некоторых городах монастыри в случае войны выставляли ратников. Между тем земли у церкви становилось все больше – уже треть государства находилась в ее руках. Умирая, грешные люди старались замолить свои грехи и часто отдавали монастырям свои владения.

Спор об этих землях резко разделил русскую церковь. Знаменитые «нестяжатели» во главе со старцем Нилом Сорским, человеком святой жизни, выступали за возвращение к временам апостолов и древнего христианства – за аскетизм церковной жизни. Они проповедовали отказ от землевладения, от крестьянского труда – чтобы в монастырях трудились только сами монахи. Церковнослужители, принадлежащие к кругу Великого старца, обличали распутство, которое царило порой в обителях, особенно в тех, «где купно проживали монахи и монахини», лихоимство, и главное – невежество, эти бесконечные апокрифы, басни, сочиненные и переписанные полуграмотными попами...

Но церковь от земли не отказалась. Собор 1531 года объявил «нестяжателей» еретиками. Сторонники Нила Сорского подверглись суровому наказанию, в темницу Симоновского монастыря отправился знаменитый Максим Грек.

Это был великий подвижник и церковный мыслитель, объездивший в юности всю Европу, друживший с гениями Возрождения. Проповеди Савонаролы перевернули его душу. Он постригся в монахи, жил в знаменитом Афонском монастыре, где прославился великой ученостью. Из Афона и был отправлен на Русь по просьбе отца Ивана, Василия, который просил «прислать ему ученого грека». Максима встретили ласково, поселили в Чудовом монастыре в Кремле. Он перевел множество богословских сочинений из библиотеки Великого князя, проверял церковные книги, где нашел множество ошибок, – «разжигаемый божественной ревностью, очищал плевелы обеими руками».

Но «многие нестроения» московской жизни он стерпеть не мог. Он объявил, что «неприлично, бесполезно и опасно» владеть монахам землею, вызвав ненависть тогдашнего митрополита Даниила. И когда он посмел выступить против греха – расторжения брака Василия с Соломонидой, – чаша терпения переполнилась... Так начались страдания Максима Грека.

В 1551 году по просьбе молодого царя был созван новый Собор для обсуждения церковной реформы. На него съехались иерархи со всей Великой Руси. «Предметы рассуждения» Собора разделены были на сто глав, и прозывался он с тех пор «Стоглавым собором». Остались вопросы царя Собору и ответы на них. Царь говорил о дурном употреблении церковных земель, о грешной жизни многих священников. С изумлением выслушали иерархи знакомые им еретические рассуждения Нила Сорского и воложских старцев из уст царя... Ответы их были ловко-уклончивы, менять свою сытую жизнь они не собирались. И великий книжник митрополит Макарий занял свою обычную позицию в споре – не занимать никакой позиции. Благодаря этому он и оставался митрополитом во все годы изменчивого Иоаннова правления.

Когда Максим Грек из темницы своей умолял Макария о помощи, митрополит отвечал классической фразой: «Узы твои целуем... яко одного из святых, но помочь тебе не можем...»

Но все-таки в чем-то им пришлось уступить царю, «многоумудру и искусну в споре», – церковь лишилась права приобретать вотчины без согласия светской власти. Рост церковных земель замедлился.

Иван навсегда запомнил, как они ловчили, как изводили его уловками и, главное, не боялись его гнева. Хотя все было так ясно – он требовал от них вернуться к праведной жизни и отдать такую нужную государству землю! И когда в нетерпеливом бешенстве он захотел обличить иерархов – Сильвестр не дал. Поп стал объяснять ему сложности церковной жизни, требовать терпимости: «Церкви нельзя грозить!» Сильвестра поддержали царица и Адашев.

Он часто оставался один против них всех. И он сдался... Пока.

Сильвестр написал для молодого царя бессмертную книгу – «Домострой». Эта книга (которая на самом деле есть компиляция из древних рукописей) была создана по образцу «Поучения Владимира Мономаха», одного из любимых предков Ивана.

«Домострой» – удивительное зеркало, в котором застыло изображение исчезнувшего мира. Мира религиозной и житейской мудрости, семейного благочестия Древней Руси, мира Рабства и Власти.

Во второй половине XIX века наш великий драматург Островский откроет перед русским обществом заповедный мир купеческой Москвы. И страна поймет с изумлением: оказывается, древний мир, описанный в «Домострое», жил и заботливо сохранялся в России – в приземистых каменных домах московских купцов...

Рабство и Власть повелевают всей жизнью семьи и жизнью главной героини «Домостроя» – знатной женщины, боярыни или княгини.

Проклятиями «вкусившей от змия» наполнены переводы множества церковных византийских книг в монастырских библиотеках: «Женщина есть существо двенадцать раз нечистое... сеть для мужей...» и прочее, и прочее, включая знаменитый рассказ о древнем философе, который предпочел жениться на лилипутке, сказав знаменитое: «Я лишь выбрал наименьшее зло». (Кстати, множество таких же цитат приводят авторы «Молота ведьм» – этой беспощадной инструкции инквизиции по охоте за «ведьмами». Весь XVI век в просвещенной Европе горели костры, на которых были сожжены тысячи женщин.)

В Московии «женский вопрос» был решен менее радикально. «Опасный сосуд греха» было решено усердно прятать – и боярыня «сидит за двадцатью семью замками и заперта на двадцать семь ключей...» В терем знатной затворницы ведет особый вход, и ключ от него у господина – мужа. Из теремного окна видит она только двор, обнесенный высоким забором. Она не может увидеть даже самое себя, потому что в доме времен Ивана нет зеркал – они объявлены «грехом», ибо через эту лазейку в женскую душу, столь склонную к соблазну, может войти дьявол...

День затворницы начинается рано. Не слуги должны ее будить – она будит слуг и следит, как они работу свою исполняют. «Сама никогда бы не была без дела... и если муж придет, сама бы за рукодельем сидела...»

И все время ей следует думать, как угодить мужу – Власти! Ибо жизнь внутри дома есть зеркальное отражение жизни за окном. Вертикаль Власти пронизывает московский мир. Государь – это Бог для подданных, муж – государь и Бог для жены и слуг. «Жены мужей обо всем спрашивают и во всем им покоряются...»

Как Государь строго, но по-отечески должен наказывать подданных за проступки и неповиновение, так и государь-муж должен карать нерадивую жену. И «Домострой» подробно описывает, каким должно быть наказание. Бить боярыню следовало не перед слугами, но наедине.

Стегать надо плетью, не забывать «полезные правила битья»: «По уху и лицу не бить, и по сердцу не бить... не бить ни кулаком, ни посохом, ни железным, ни деревянным» (не знающие полезных правил, видно, часто бьют и кулаком, и посохом). Но люди разумные и добродетельные, «сняв с нее рубашку» (эротика тут ни при чем, так добро сохраннее), умеют «вежливенько побить плеткой», а потом простить жену и помириться...

В темной карете, пряча лицо, ездит теремная затворница по городу, через пузырь окна видит жизнь простого народа. Она совсем иная – разнузданная, пьяная жизнь людей, которые не очень-то опасаются дьявола. У них общие бани – там вместе моются голые, распаренные, часто подвыпившие мужики и бабы... «Руси есть веселие пити» – так сказал не кто-нибудь, сам Владимир Святой! И иноземец Олеарий, дивясь, описывает: из кабака вышла пьяная женщина, упала на мостовую, на нее набросился пьяный мужик, и все непотребство случилось на глазах хохочущей толпы...

Среди этой нищей, пьяной и срамной толпы ходили юродивые – эти живые святые Московской Руси...

Вот он, нагой человек в веригах, зашел в лавку, забрал, чего хотел, и пошел прочь. Хозяин вослед ему только низко кланяется – большая честь, коли зашел к тебе юродивый. Но и большое испытание: если намешает чего в тесто ловкий купец или еще как словчит, юродивый есть не будет, Божьим даром все почувствует и молча пирог в снег выкинет... Однако на этот раз дело чистое: пироги поел и прямо по снегу, шепча и выкрикивая нечленораздельные слова, пошел этот удивительный святой.

Юродивые... «безумные Христа ради», чьими грозными словами, а порой открыто срамными поступками Бог обличает наши пороки, которые мы стремимся держать в тайне. Этим странным подвижникам ниспослано великое чудо – пророчествовать. Знаменитый юродивый Василий Блаженный, живший на Москве, предвидел великие пожары и горячо молился накануне... И сам царь Иван говорил о Василии, подвергавшем себя постоянным мучениям и отягчавшимся тяжелыми веригами: «Провидец и чтец мыслей человеческих».

Один из псевдонимов, которыми любил подписываться обожавший самоуничтожение царь, – «Парфений Юродивый»...

Когда Москва будет хоронить Василия, царь с боярами понесет его одр. В чудном храме, построенном на Красной площади, упокоятся его мощи, и народ будет звать этот храм именем жалкого нищего – Василия Блаженного.

Сам Сильвестр сочинил в «Домострое» лишь одну, последнюю главу – «Благословение от Благовещенского попа Сильвестра моему единокровному сыну Анфиму». В ней загадочный поп, возникший из московского огня, упомянул о своей прежней жизни (оказалось, до Москвы служил он в Новгороде): «Видал ты, сколько сирот и рабов убогих мужского и женского пола в Новгороде и Москве я вскормил до совершенного возраста...» Поведал он и о своих правилах жизни: «Ты, сын, всякую обиду на себе носи и терпи, терпи... Если случится общая брань, лучше ударь своего, только чтоб брань утолить...»

Но соблюдение правил христианской жизни, как учит своего сына Сильвестр, важно прежде всего потому, что... «приносит выгоду»!

Впрочем, вряд ли сам Сильвестр так думал. Скорее, это была единственная и самая легкая возможность доказать сыну, что надо выполнять христианские заповеди. Ибо, к сожалению, как справедливо отмечал наш великий историк Соловьев, русский человек не слишком изменился с X века, со времен силой уничтоженного язычества. Людям было трудно понять, почему надо возлюбить ближнего, как самого себя. Приходилось доказывать по-язычески – выгодой.

Поразительное сочетание христианства с язычеством в душах людей отражает нравы Московии. Именно поэтому столько внимания и уважения здесь уделяли церковным обрядам – это были своеобразно преломленные в сознании вчерашние языческие заклинания.

Эту слабость душ и докажет Смута...

Заканчивая «Благословение», Сильвестр подвел итог – о выгоде своей праведной жизни: «Подражай мне. Смотри, как я почитаем и всеми любим... потому что я всем уноровил...»

Но это – грех! Невозможно «всем уноровить», если хочешь прежде всего «уноровить» Богу, – об этом столько сказано в Евангелии, которое так любил цитировать поп. И скоро придется узнать Сильвестру эту Божью правду на собственном опыте...

Чаша крови

Пришло время похода на Казанское ханство. Рядом с Иваном скакал его двоюродный брат, последний удельный князь, оставшийся в живых, – Владимир Старицкий. Отца его погубила в тюрьме мать Ивана... И вот царь по молению Сильвестра искупил грех – выпустил из темницы Владимира и по-братски около себя держит... Пока.

Великий день Руси приближался.

Сперва Иван обратился к хану и казанцам – просил их сдаться, но они, как и подобает храбрым воинам, ответили: «Умрем или отсидимся в крепости!» И тогда царь сказал своей рати: «Изопьем общую чашу крови, братья!»

Наступило то утро. В благостной тишине звучали только бубны и трубы, когда грянули два чудовищных взрыва и стены казанские, и обломки строений, и останки людей поднялись в воздух и пали на город. Это взорвался порох в подкопах, и в проломы стен ринулась рать.

Уже теснили казанцев к ханскому дворцу, когда началось постыдное... Богат и велик был город Казань, и царские ратники, забыв о битве, начали грабить. Царь знал слабости своих воинов, он все предусмотрел – за ратью шли царевы люди с обнаженными мечами, чтобы не допустить «опасного срама». Но не знал он, что и надзирающие тоже радостно примут участие в грабеже.

И вот уже потеснили его рать, уже татарские сабли рубили русские головы, уже слышался крик страха и боли: «Секут, секут!» – когда Иван показался у городских ворот с новой ратью, которая решила исход сражения. Его воины были беспощадны – «трупы лежали ровень со стенами»... Но оставшиеся в живых казанцы отказались сдаваться. Они пытались вырваться из горящего города и все погибли. Только своему хану не позволили умереть – выдали его живым.

Иван крестил татарского повелителя – это был символ победившего православия. Крест воссиял над поверженной Казанью.

Величественное послесловие к татарскому игу!

Надо было жить в то время, чтобы понять впечатление победы. Ржанье татарских коней – страшный голос набега, за которым следовали кровь, пожары и рабство, могущество кривой азиатской сабли – все становилось историей. Осталась только татарская кровь в жилах потомства изнасилованных женщин, и вчерашние завоеватели будут еще долго напоминать о себе – узкими глазами рождавшихся русских младенцев.

Впервые Запад пошел на Восток. Впервые Азия отступала. Впервые после татарского рабства на Руси явился молодой царь, который вернул великие времена князей-завоевателей. И со слезами умиления его любимец и бесстрашный воевода князь Курбский, заслуживший в кровавой сече прозвище «бич Казани», славил царя...

А потом пришла очередь Астраханского ханства. И он завоевал его.

К Астрахани его воины плыли по великой реке Волге. И они видели развалины Старого Сарая – заброшенной древней столицы Золотой Орды. Сколько лет в эту татарскую столицу, «горький памятник русского стыда», приезжали на поклон, а часто и на смерть, русские князья... Но это был прошлый стыд, впереди была слава – плен Астрахани.

Между завоеванием Казани и падением Астрахани произошло тревожное событие, впрочем, скоро забытое. Между тем оно оказалось впоследствии роковым для многих... Все началось с того, что Иван внезапно заболел и хворь его была объявлена смертельной.

Все были уверены, что душа его готовится отлететь. А в это время князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя, выпущенный им из темницы, и мать его пиры устраивали! Будто не Государь и родич их на смертном одре лежит, а радостное происходит...

Он был великим актером, как и многие деспоты. Заболел ли он или только сделал вид, что заболел, – мы никогда не узнаем, тайна погребена вместе с ним.

Во всяком случае, внезапная болезнь, столь же внезапно завершившаяся благополучным выздоровлением, дала ему возможность многое проверить.

Со «смертного одра» он призвал бояр целовать крест его малолетнему сыну – и вмиг осмелели вчерашние рабы, раздались непокорные голоса: «Не хотим пеленочника, а хотим князя Владимира Старицкого!» И многие бояре целовать крест сыну Ивану не захотели. В темных переходах дворца, под низкими сводами палат толпились, шептались, плели заговоры те, кто втайне ненавидел его и весь род московских Государей. И были с ними даже те, кто любил его, ибо страшились они, что при малолетнем его сыне власть опять захватят временщики – родичи царицы, не жаловавшие Адашева и всю «Избранную Ряду». Потому-то отец Адашева, царского любимца, вознесенного им из ничтожества, захотел присягнуть Старицкому. И казначей его верный, Фуников, тоже решил к Владимиру перейти. Они отдавали на гибель царского сына, ибо хорошо знали: удавят младенца бояре, как только отец глаза закроет.

Так свершился этот, как впоследствии назвал его сам Иван, «мятеж у царевой постели»... Но самые умные были молчаливы – они знали, как надо действовать: «Заметь их имена и запиши». Хорошо выучили их отцов московские Государя...

Сильвестр метался между ним, умирающим, молившим присягнуть сыну, и мятежными боярами.

Поп всем пытался угодить, всех примирить, вместо того чтобы стыдить тех, кто законному царю крест целовать не хотел. Всех уговаривал – и тех, кто царю хотел быть верен, и тех, кто сомневался... Так он о пользе государства заботился, забыв о верности ему, царю.

Сам Иван писал потом о взбунтовавшихся боярах: «Восшатались они, как пьяные... решили, что мы уже в небытии... забыв присягу нашему отцу: не искать другого Государя, кроме наших детей... задумали... посадить на престол князя Владимира... а младенца нашего погубить...»

С великим трудом усовестили их тогда немногие верные царю бояре, заставили образумиться. Но те лишь вид сделали, что образумились. Решили обождать, пока царь не преставится.

А Иван выздоровел. Однажды застали его бояре сидящим на ложе, и царь объявил им со смешком, что Бог исцелил его...

Сразу после болезни он отправился на богомолье с женой и сыном в Кирилло-Белозерский монастырь – по случаю своего чудесного выздоровления. Из паломничества он привез рассказ о встрече с бывшим коломенским епископом Вассианом Топорковым, когда-то в миру

верно служившим его отцу Василию, а после его смерти лишенным епархии боярами. Дескать, монах сказал ему: «Никому не позволяй учить себя – будь сам всем учителем.

Ибо Государь должен учить, а не учиться, повелевать, а не повиноваться».

И неподвижно, мрачно было лицо царя, когда он пересказывал соратникам из «Избранной Рады» слова старца. Будто завет отцов, забытый им, пересказывал...

Но еще силен авторитет Сильвестра, еще верит царь в адашевский ум, еще ценит Анастасия и попа, и Адашева, прощая окольному нелюбовь к своим родичам. Нет, не смеет еще Иван против них выступить. Но внутри него уже разгорается пламя... Дуб растет медленно, но живет века – так и гнев, и зломыслие великих тиранов. До смерти он им не забудет «мятеж у постели» и потом напишет князю Курбскому: «Вот каким вашим доброжелательством насладились мы от вас во дни болезни».

Так прозвенел первый удар колокола. А бояре не услышали. Не поняли...

Впрочем, его сыну-младенцу жить суждено было недолго. По дороге в Кириллов была у царя еще одна встреча, о которой он не любил рассказывать: в Троице-Сергиевой лавре встретился он с Максимом Греком, которому разрешено было наконец покинуть заточение. И праведник осудил Ивана за его паломничество. Он посоветовал ему, вместо богомольного усердия, «благодворить на престоле», позаботиться о многих сиротах и вдовах, льющих слезы и в нищете пребывающих после «избиения войска в Казанском походе», чтобы Господь не разгневался и не отнял у него собственного младенца.

И вскоре кормилица глупая в реку уронила его первенца – застудили сына. Скончался младенец уже в дороге... Но судьба была тогда милостива к нему. Еще двоих сыновей родит ему любимая Анастасия – Ивана и Федора.

Минуло пять лет после болезни. Уже пало Астраханское ханство, а он все продолжал свои великие завоевания. Сильвестр предложил ему завоевать Крым – и вся «Избранная Рада» решила так. Они говорили: страна желает покончить с татарским унижением.

В Крыму, за Перекопом, сохранялся злой остаток татарского пленения Руси – разбойное Крымское ханство. По дикому Муравскому шляху – на маленьких быстрых лошадях, не разжигая костров, без еды – молниеносно пересекали крымцы всю Русь, сжигая и грабя города. И возвращались обратно с ременными корзинами, привязанными к седлам, откуда высывались светловолосые детские головы. Историк напишет: «Невольничьи рынки в Турции задыхались от белокурых красавиц с голубыми глазами и мальчиков с льняными волосами». А купцы, глядя на бесконечную процессию русских невольников, вопрошали: «Остались ли еще люди в той стране?»

Но Иван выбрал Ливонию – выход к морю, путь в Европу, на Запад. Ливония (нынешние Эстония и Латвия) принадлежала когда-то его великим предкам и была завоевана рыцарями Тевтонского ордена.

Однако от древних воинственных традиций ордена остались только предания. Обильные пиры, потаскухи и отсутствие войн сделали свое дело – рыцари превратились в сытых феодалов. Потомки воинов жили в неге и роскоши, долгий мир, превративший Ливонию в земной рай, отучил их от сражений. Теперь их земли стали лакомым кусочком, о котором мечтали и Речь Посполита, и Дания, и Швеция.

Иван решил вторгнуться в Ливонию первым.

Отказ от нападения на Крым он объяснил своим сподвижникам тем, что, дескать, опасается войны с Турцией, которая поддержит Крымское ханство. Члены «Избранной Рады» изу-

мились его строптивости. Они считали дело решенным, ибо отвыкли от того, что царь может их не послушать. Они начали убеждать Ивана, говорили: если напасть на Крым, выступить может одна Турция, а если воевать с Ливонией, встанут и Речь Посполита, и Дания, и Швеция – европейское войско, с которым не сладить хоть многочисленной, но плохо обученной его армии...

Соратники громко сердились. «Поп... с вами, своими советчиками, жестоко нас порицал», – писал Иван потом.

Он знал: они правы! Но это был главный миг его жизни, давно задуманный бунт против непрошенных советчиков, похитивших его волю. Хватит! То, что позволял он им в свои юные годы, теперь, в годах мужества, не позволит! Они, как ровня ему, смели высмеивать его решения. Теперь многолетнее унижение закончено!

«На меня вы смотрели, как на младенца... Взрослый человек, я не захотел быть младенцем... и если смел я возразить самому последнему из советчиков, меня обвиняли в нечестии, – писал он впоследствии одному из главных «советчиков», князю Курбскому. – Не как к владыке вы ко мне обращались... с надменными речами».

Все, что копил он в себе, прорвалось! И они увидели царский гнев и услышали его яростный голос: «Ливония!»

Ливонцы предвидели войну. С тех пор как русский царь покорил татарские ханства, ждали они неотвратимого. И оттого постановили: не снабжать Ивана оружием, не пускать к нему мастеров-оружейников.

Решив начать войну, царь-актер устроил представление: позвал на пир ливонских послов. Но на щедром царском пиру, где лилось рекой вино и ломился от яств стол, ливонцам ничего не дали. Они сидели, окруженные пьющими и едящими, но их обносили едой и чашами. А потом голодных послов выгнали прочь с пира.

Вослед отъехавшим оскорбленным послам Иван послал «ужасный поход». Огромная разноплеменная армия (русские, покоренные татары, послушные ногайцы) вторглась в Ливонию. Рыцари заперлись в своих замках, бросив городские посады и беззащитное население на произвол судьбы. И полудикая азиатская орда жгла, грабила, убивала, насиловала женщин и тут же вспарывала им животы...

Так началась Ливонская война, которая продлится два с лишним десятилетия.

Грозный Иван

А потом пала последняя узда, сдерживавшая его страсти, – умерла Анастасия. Ее смерть разделила Иваново царствование: как когда-то женитьба на ней была началом великого и светлого, так сейчас ее уход стал началом явления нового царя.

Анастасия умерла от болезни. Но он, видевший столько боярских злодейств, должен был заподозрить (и охотно заподозрил) – бояре отравили! Хотя, когда Анастасия закрыла глаза, никаких обвинений никто от него не услышал.

Тогда он не посмел... Тогда была только скорбь – нечеловеческая, яростная. Ушла единственная, которую он смог полюбить, которая его понимала и любила. Не боялась – любила. Следующие будут бояться...

Ее прах в белом саркофаге (вместе с прахом матери Ивана и бабки, знаменитой Софьи Палеолог) лежит сегодня под сводами подвала Архангельского собора. После уничтожения в 1929 году большевиками Вознесенского монастыря (там хоронили московских цариц) через Соборную площадь на телегах повезли древние гробы к Архангельскому собору. И Софью Палеолог, и жену великого Дмитрия Донского, и Елену Глинскую, и Анастасию – всех ждало страшное переселение. Через пробитое отверстие саркофага были спущены в подвал собора...

Мне удалось их увидеть. По крутой лестнице, держась за выбитые в камне перила, я спустился в подвал, заставленный белыми гробницами. Стоя над разбитым саркофагом матери Ивана, Елены Глинской, где видны были кости и остатки истлевших одежд отравленной красавицы, смотрел я на стоявшую у самой стены мраморную гробницу Анастасии. Там, под плитой, лежала она, чья смерть перевернула историю Руси...

Впоследствии, решив обвинить врагов своих в отравлении Анастасии, Иван напишет князю Курбскому: «За что с женою вы меня разлучили?.. Если бы не отняли юницы моей... Кроновых жертв бы не было».

Кронос – кровожадный отец Зевса, пожиравший своих детей... Теперь и он будет пожирать вверенных ему детей – потомков великих родов.

Уже вскоре после ее смерти начались Кроновы жертвы...

Первым пал Сильвестр: надоел он царю. Как писал сам Иван: «Грянет ли гром, заболит ли ребенок – во всем учил видеть поп наказание Божье». В семнадцать лет он еще боялся, но теперь, в тридцать, ему были смешны поповы «детские страшилки».

Падение временщиков обычно означало их казнь. А он Сильвестра не тронул – помнила еще царская душа «страх и трепет» в дни пожара. «Отнесся к попу милостиво» – просто прогнал из Москвы, сослал в белые ледяные ночи: сначала в Кирилло-Белозерский, а потом в Соловецкий монастырь. Пусть учится, постигает – нельзя «всем уноровить».

Алексея Адашева он отправил в Ливонию – сначала воеводой, затем наместником. Но потом не выдержал – повелел взять под стражу и учинить суд над вчерашним любимцем. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь...» Но не захотел он казни Адашева на глазах у радостных бояр, и вчерашний царский любимец подозрительно скончался в одночасье.

А вот брата его он казнил... Ибо вскоре детская мечта его осуществилась: он стал грозным, и таким грозным, что дедово прозвание потомки навсегда забудут. Грозным в русской истории останется он один – царь Иоанн Васильевич.

Все сподвижники Адашева отправились кто на плаху, кто в монастырь – закончилась «Избранная Рада»... К 1560 году только один из ее членов по-прежнему жил во славе и на свободе – князь Андрей Курбский, потомок владык когда-то великого Ярославского княжества, воевода, прославившийся во многих битвах, «добрый и сильный», сподвижник вчерашних Ивановых реформ... Царь отправил его на Ливонскую войну главнокомандующим – Первым воеводой Большого полка...

Похоронив любимую жену, Иван скорбел, но по-царски. Новый брак открывал великие возможности венценосному вдовцу...

Начиная войну с Ливонией, он понимал, что Речь Посполита в стороне не останется. Брак с польской принцессой мог бы ее нейтрализовать... И уже через несколько дней после смерти Анастасии русское посольство отправилось к польскому королю Сигизмунду Второму, у которого было две сестры. Послам было велено посмотреть, какая из них краше, здоровее и, главное, дороднее. (Изобилие трапез, обязательный долгий сон после обеда и отсутствие движения у людей знатных порождали тучность, дородность, которые у мужчин были признаком человека важного, имеющего право на уважение, а у женщин – необходимой частью красоты.)

Пока послы описывали в подробных донесениях, кто из принцесс дороднее, Сигизмунд отказал Ивану. Польский король предпочел получить Ливонию и вскоре выступил войной против Государя всея Руси.

Но Иван нашел себе пару. Когда-то страх и трепет перед Богом помогли ему обрести любовь и согласие с Анастасией, теперь требование абсолютного подчинения, ненависть к любому прекословию, жажда отмщения, казалось, породили вторую Иванову жену.

Новой владычицей царской постели стала черкесская царевна Мария Темрюковна – дочь кабардинского князя Темрюка, который должен был теперь помогать ему в защите от набегов крымского хана. «Черная женщина» – с черными волосами, с глазами словно горящие уголья, «дикая нравом, жестокая душой»... Восточная красота, темная чувственность и бешеная вспыльчивость... Во дворец пришла Азия. Восточная деспотия, насилие – азиатское проклятие России... «Пресветлый в православии», как называл Курбский молодого Ивана, навсегда исчез...

Теперь вместо прежних любимцев, мыслителей из «Избранной Рады», во дворце – иные люди. Беспробудно пьют, веселятся... непрерывный пир, точнее – оргия. На многочасовое царское застолье приглашаются скоморохи, шуты и даже колдуны, которые нынче – в царевой свите.

Колдунов и колдуний из Лапландии держит теперь православный царь у себя во дворце! Впрочем, и русские скоморохи считались не только лицедеями, но и кудесниками. Это была потаенная, языческая Русь, все время существовавшая рядом с православием... В ворчанье прирученного медведя, которого скоморохи водили по городским дворам для забавы народной, в звуках ветра и даже в человеческом следе на песке читали они судьбы людские. Скоморох мог взять горсть земли из-под ног прошедшего человека, прочесть заговор и сгубить его. Опасны были эти люди – языческая смесь актеров и колдунов...

Во время пиров с шутами и скоморохами, плясавшими в древних потешных масках, полюбил Иван кроваво потешаться над гордыми боярами.

Когда начались поражения в Ливонии (битвы под Улой и Невелем), царь не мог признать неудачи своей армии. Всем бедам в государстве, как и положено деспоту, знал он всегда только одно объяснение – заговор и измена боярская... Так погибли два знаменитых воеводы из славного рода Оболенских – князь Михаил Репнин и князь Юрий Кашин, участвовавшие в ливонских баталиях.

Гибель Репнина царь-актер поставил театрально... Во время пира, когда с гиканьем и свистом у царского стола плясали любимые царем скоморохи, Иван повелел славному воеводе натянуть скоморошью маску и тоже плясать. Но князь отказался присоединиться к «проклятым церковью колдунам», с достоинством отшвырнул прочь маску, протянутую царем.

И царь разрешил этот спор между повелением Государя и религиозными установлениями. Во время всенощной за Репниным пришли в его домовую церковь. Осанистый боярин стоял на коленях – молился. Близ алтаря его и убили... Зарезали в ту же ночь царские слуги и родича Репнина, князя Кашина, – тоже подождали, когда он пойдет на молитву, и убили, «наполниша кровью весь помост церковный».

Пусть знают: Бог не спасет от гнева Государева. Все должны по-холопы чтить отныне одну волю – его, царскую. Она теперь – воля Божья.

И убивал теперь царь в церквах, со скоморошьей шуткой, скаля зубы над человеческой смертью. Боярин Никита Казаринов-Голохвастов бежал от царского гнева в монахи и даже принял схиму, «ангельский чин». Но царь велел казнить его, сказав, усмехаясь: «Он у нас теперь ангел, и подобает ему на небо взлетети».

Пришла первая опала на князя Владимира Старицкого и его старуху мать – царь начал платить по давним долгам, за далекий «мятеж у царской постели». Но пока он оставил их в живых. Пусть поживут в страхе ожидания кары – это куда хуже смерти...

Между тем в Ливонии оставался последний призрак ненавистной ему теперь поры – князь Андрей Курбский. В то время Ивановы войска одержали славную победу под Полоцком – пожалуй, последнюю великую победу.

Из-за раны князь Андрей не участвовал в битве, и это тоже показалось Ивану подозрительным...

Вскоре князь был отозван из войска и послан наместником в Юрьев (ныне – эстонский город Тарту). Курбский помнил: гибель Адашева началась с назначения наместником именно в этот город. Слышал князь и обо всем, что происходило на Москве, где споро работали топор и плаха...

Была ночь, когда князь позвал жену и спросил: чего она пожелает – остаться с будущим мертвецом или расстаться с живым? И выбрала княгиня... Расставание было кратким. Он поцеловал маленького сына, и слуга Василий Шибанов помог дородному князю перелезть через городскую стену, где ждали оседланные лошади. И Курбский поскакал к Иванову врагу – польскому королю.

Уже из Литвы князь Андрей отправил свое первое послание Грозному. По рассказу «Степенной книги», слуга Курбского Василий Шибанов доставил это знаменитое письмо в Москву и прилюдно вручил царю, когда тот стоял на Красном крыльце. Как равный равному писал потомок ярославских князей потомку московских «кровопийственных», по выражению Курбского, князей, которые не ратными подвигами, но «скопидомством и хитростью, прислуживая неверным» захватчикам-татарам, завоевали русскую землю...

На глазах народа Иван взял письмо, а потом молча пробил ногу посланца острым концом своего посоха. И, опираясь на посох, неторопливо читал царь послание князя Андрея, а Шибанов терпел нечеловеческую боль. Истекая кровью, уже умирая, верный слуга славил пославшего его на смерть господина...

Кстати, царь в ответном письме своем Курбскому, укоряя князя за то, что нарушил крестное целование служить ему, Ивану, писал: «Как же ты не стыдишься раба твоего Васьки Шибанова? Он ведь сохранил благочестие свое и перед царем, и перед всем народом... стоя на пороге смерти, не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя и вызываясь за тебя умереть...»

После гибели Шибанова следующие письма от Курбского доставлялись царю проверенным способом XVI века: их тайно подбрасывали в Кремль. Назывались такие письма «подметными»...

«Приняв и прочитав внимательно» послание Курбского, царь пришел в бешенство. Князь хорошо его изучил, стрелы попали в цель – все укоризны в избиении «добрых и сильных» бояр, имена погубленных им воевод, напоминания о том, чего он будет страшиться до самой смерти: о Страшном суде, о безвозвратно ушедшей праведной жизни, а главное – об угрызениях совести, с которыми Грозный всю жизнь будет бороться. Он будет молиться, простаивая часы на коленях, молиться яростно и страстно, чтобы потом... безудержно грешить. И вновь молиться.

«Твои страсти тебя терзают, – торжествуя будет мучить его Курбский и в следующих письмах. – Ты страдаешь днем и ночью. Тебя измучила совесть... страшат видения Суда и Закона... и, словно звери, окружают тебя твои злодеяния...»

Царь спешит ответить. Ноют раны от ядовитых стрел князя... И он сам торопится заклеить обидчика. Писать – это его стихия. Не был бы Иван царем, стал бы первым великим русским публицистом. Анонимный автор, излагавший прежде свои мысли под именами Ивашки Пересветова, своих бояр и даже Юродивого, наконец-то говорит во весь голос от своего имени.

Это был его ответ не только опальному князю, но всем тайным изменникам, «во все царство письмо на крестопреступника князя Андрея Курбского со товарищи». Впрочем, и первый

русский диссидент, получивший возможность публично спорить с властью, Андрей Курбский тоже распространял свои послания по городам. Оба хотели, чтобы об их словесной битве знала вся земля русская.

Как всегда, в гневе Иван гениален. Его письмо – это страстный монолог. Он, видимо, диктует – льется его живая речь.

На небольшое письмо князя царь отвечает на множестве страниц. То крик боли и покалывания, потрясающая искренность, страстное желание оправдаться... нет, не перед Курбским – перед собой! («Как перед священником изливаешься», – напишет насмешливо князь о царском ответе.) Но искренность сменяется любимым Ивановым актерством – послание пересыпано бесконечными ироническими вопросами к князю. Царь обожает публичные диспуты, но умеет сражаться и на бумаге.

«Не узришь ты моего лица до Смертного суда», – пишет ему Курбский. «А кому захочется твое эфиопское лицо увидеть?» – парирует Иван и тотчас срывается на вопль ярости – следует поток поношений князя: «дерьмо смердящее», «псово лаяние», «бешеная собака», «бесовское злохитрие»... Но ярость сменяется печалью: «А спрашиваешь меня, почему чистоту не сохранил? Все мы есть человеки...» И тут же – презрительное высокомерие недостижимого владыки...

Все перепутано в царских ответах, как и в душе царя.

В их переписке – первая русская полемика о свободе, о власти и всеобщем холопстве на Руси. Причем, согласно традиции наших полемиков, это спор глухих – каждый пишет только о том, что его интересует, старательно не отвечая на конкретные доводы и вопросы оппонента.

Курбский упрекает Ивана в бессмысленном истреблении бояр и воевод, которых царь заменил «жалкими каликами и угодниками нечестивыми». Иван же отвечает о своем: царь, как Бог, «даже из камня может воздвигнуть чада Авраама», и вообще, «с Божьей помощью найдутся вельможи у меня и опричь вас, изменников».

Курбский пишет о том, что «прелюбые и прегордые русские цари... советников своих за холопов держат, а в иных государствах просвещенных вельможи не холопы, но советники», и живут там они «под свободами христианнейших королей и много пользы приносят державе...» А Иван отвечает: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить».

Он искренне не понимает князя. У подданных есть только одна свобода – повиноваться. И у царя есть свобода – повелевать, казнить и миловать.

Бегство Курбского завершило переворот в душе Ивана. Как всегда, он сумел заглушить в себе мучения, рожденные письмом вчерашнего друга, и оставил себе один желанный вывод: все бояре – изменники. Если лучший из них нарушил крестное целование – никому нет веры. Топор и меч – только эти лекарства излечат их бесовские души...

В конце 1564 года из ворот Кремля выехал целый поезд саней и возов. Объявлено было, что царь едет на богомолье, но прежде он «никогда так на богомолье не ездывал»... Бесконечные сани везли царское имущество, казну, и главное – государственный архив. В царских санях сидел Иван со своей «черной женой». Мария Темрюковна пугала людей огненными глазами и смуглым лицом – рядом с белолицыми теремными боярынями она и впрямь казалась «эфиопкой». С ними ехали: ее брат, князь Михайло Темрюкович, дети Ивана, немногие приближенные к царю бояре и многочисленные служилые люди, дворяне, которым было велено взять с собой жен, детей, коней, оружие и слуг.

Среди отъезжавших были и новые любимцы царя, отец и сын – Алексей и Федор Басмановы. Алексей Басманов – воевода, не раз спасавший Русь от набегов крымских татар, уже успел печально прославиться усердием царедворца – он исполнял теперь самые страшные

поручения своего Государя. Его сын Федор стал первым любимцем у Ивана – без него царь «не мог ни веселиться на пирах, ни злодействовать». С Федором, как утверждали молва и летописцы, «царь предавался содомскому греху...»

Уезжали с царем и оскудевший князь Афанасий Вяземский, и мало кому тогда известный Григорий Вельский по прозвищу Малюта Скуратов (этот безродный человек никакого отношения к великому роду князей Вельских не имел). Малюте суждено будет стать символом страшного дела, ради которого и покидал царь Москву. И его, и многих жалких вчера людишек готовился поставить Иван в задуманном им деле превыше «добрых и сильных». Им он верил, ибо ему они были всем обязаны.

Поезд из саней и возков, покинув Москву, выехал на ярославскую дорогу и после остановки в Коломенском прибыл в Троице-Сергиеву лавру. Царь долго молился, но потом, вместо ожидаемого возвращения в Москву, поехал далее...

Двигались неторопливо. Только через месяц пути царский поезд достиг старого охотничьего села московских Государей – Александровой слободы. Здесь царь и остановился. Отсюда отправил он в Москву сочиненные им в пути две грамоты.

Уже целый месяц в Москве не было от Государя никаких известий, когда пришли эти царские грамоты. Их зачитали, как и было велено царем, на площади – перед всем честным народом.

Будто продолжая свой спор с Курбским (или с самим собой?), Иван огласил в первой грамоте список измен князей и бояр, воевод и дьяков (министров), архимандритов и игуменов – на них он «положил свой царский гнев». Среди бесконечных, старательно перечисленных обвинений были страшные: в отравлении Анастасии, в том, что замыслили бояре убийство детей его...

Вторая грамота была к простым людям московским, где царь объявлял, что зла на них не держит, «ибо вин за вами нет никаких». А вот с изменниками-боярами он жить на Москве не желает, отчего и пришлось ему бросить «возлюбленный град» и уехать скитаться.

В страхе слушал простой народ царские грамоты. Бояре, которых должно было уважать, объявлялись изменниками. Но ужас был в том, что царь покинул их – народ лишился священного деспота, заступника перед Богом и угрозой нашествия иноземцев. Кто их защитит?

В Московском государстве людям, по словам историка, «легче было представить страну без народа, чем без царя». И народ в страхе требовал возвращения Государя. Иван все рассчитал точно...

К нему отправилась депутация священнослужителей. Долго молили вернуться, и наконец он сменил гнев на милость. Но с условием, чтобы духовенство более не чинило ему «претельных доук» – скучных запрещений карать изменников.

Согласились. Со всем согласились, только бы царь вернулся. Хотя и понимали, что согласились на великую кровь.

Вернувшись в Москву, Государь объявил невиданное: едва успевшее сложиться объединенное государство он делил вновь – на Земщину и Опричнину.

Опричнина – загадочное слово... Так на Руси называлась «вдовья доля». Ее положено было после смерти князя выделять его вдове.

Это была все та же любимая игра царя-актера: представиться униженным, чтобы потом восстать страшным и грозным. Сейчас он играл несчастного, гонимого изменниками-боярами, вынужденного просить в своем собственном государстве жалкую «вдовью долю» своей матери.

Однообразные царские игры... Впоследствии, решив казнить боярина Ивана Федорова, он заставит его надеть царские одежды, посадит на престол и, униженно кланяясь, скажет ему:

«Видишь, ты на троне сидишь моем. Говорят, мечтал ты об этом, заговоры строил...» И грозно добавит: «В моей власти мечту твою исполнить – посадить тебя на трон... Но в моей власти и снять тебя с трона!» Ударом ножа он повергнет несчастного с престола, и будет лежать великий боярин в луже крови – в царском одеянии, у подножия трона...

Вскоре в особом указе царь объявил: по всей стране лучшие земли отдавались ему, в его «вдовью долю» – Опричнину, а все остальные он оставлял боярской Думе – в Земщину. Делилась и столица: по одну сторону, к примеру, Никитской улицы начиналась Опричнина, а по другую – Земщина.

Так делилось не успевшее окрепнуть, великой кровью народной недавно объединенное государство. Вся страна – делилась! Из Опричнины изгонялись бояре и не взятые в опричники служилые люди. Им давались другие вотчины и поместья – в Земщине.

Опричнина – это жизнь без изменников-бояр, без «добрых и сильных». Недаром в письме Курбскому Иван грозил: «Найдутся вельможи у меня и опричь вас...»

Впоследствии историки увидят в этом главный смысл Опричнины – в изгнании бояр. Дескать, отбирая лучшие земли, изгоняя с них прежних владельцев на места пустынные и бедные, царь подорвал боярское землевладение, разорил потомков удельных князей и княжат... Но удивительная вещь – все оказалось совсем иначе! Александр Зимин и другие блестящие наши историки доказали: большинство ненавидимых царем князей и княжат «благополучно перешло в следующий, XVII век... богатыми землевладельцами!» А казни и конфискация земель коснулись лишь одной, но очень определенной группы знати – бояр и князей, связанных с удельным князем Владимиром Старицким.

Неужели Опричнина, это «странное учреждение», вся кровь, все разделение земли было задумано, чтобы посчитаться с безвластным, жалким князем Владимиром? Тогда Иван воистину «безумный мятежник в собственном государстве!» Но нет, не тот характер, и ум другой – пытливый, изощренный и страшный. Тут своя задумка была... И нелегко Опричнина далась царю – недаром по возвращении из Александровой слободы «неузнаваем стал». Все волосы потерял, будто нервное потрясение пережил – от тяжелого решения...

Избиение страны

Сделав Александрову слободу столицей Опричнины, царь вернулся в Москву. И начались обещанные казни...

Пошли на плаху знаменитый воевода князь Шуйский-Горбатый и его сын (царь полюбил казнить – с потомством). На помосте отец и сын просили друг друга уступить место под топором – князь не хотел увидеть сына мертвым, и тот не желал смотреть на казнь отца.

Но эти первые казни в недалеком будущем покажутся истинным благодеянием! Скоро царь потребует «изыска в расправах» – и будут сжигать живьем, резать кожу на ремни, варить в кипятке... Много чего придумает для подданных изобретательный Государь всея Руси.

Создавая Опричнину, царь придумал для нее мрачные символы: к луке седла опричника привязаны были собачья голова и метла. Это значило – вынюхивать измену и мести ее вон из государства! И охранять царя от заговорщиков-бояр, как охраняет хозяина верный пес. Опричники стали и тайной полицией, и государевой охраной.

Просил царь сначала для себя в Опричнину «тысячу защитников против изменников», но набрал шесть тысяч. Отбирал со строгостью, чтобы, не дай Бог, не был связан опричник родовыми узами с Земщиной. А кто родство утаит, отправится на плаху, когда придет час казнить опричников...

Иностранные государства не должны были знать о начинавшейся крови, которую уготовил Государь своей истерзанной стране. На вопросы об Опричнине послы Ивана должны были отвечать, что ничего такого в их государстве нет, что все это «мужичьи бредни», а «мужичьим речам нечего верить». Но в опричниках служили и чужеземцы – авантюристами, искателями кровавых приключений Иван не брезговал. Один из них, мерзавец и палач Генрих Штаден, с искренним восторгом расскажет изумленной Европе о своих подвигах.

Но в основном служили в Опричнине русские дворяне, удалые, неродовитые и бедные. Как известно, жаднее богатых – только бедные, так что сразу начался грабеж Земщины опричниками. И царь отлично знал, что он начнется, более того – желал его. Штаден писал о царском указе судьям: «Судите праведно, чтобы наши виноваты не были».

Грабеж опричники вели беззастенчиво и насмешливо – удалые были! Подсылали часто к купцу слугу, который подбрасывал какую-нибудь вещь или сам оставался с нею в лавке. И тогда опричник объявлял: мой слуга обокрал меня и бежал, а купец укрывает его и краденое имущество. За это забирали у купца все его добро – судили судьи «праведно», ибо выступить против опричников значило пойти против Государя (а точнее – на плаху).

Теперь любой опричник мог обвинить любого земского в том, что тот ему должен. И земский обязан был платить немедленно – иначе били его кнутом прилюдно на торговой площади, пока не заплатит...

Князь Курбский, играя словами («опричь» значит «кроме»), справедливо назвал Ивановых любимцев «кромешниками» – людьми из кромешной адовой тьмы. Адовым воинством.

Почему Иван поощрял это грабительское удалство? Резон был – хотел всем показать: наступило новое время. Ни заслуги прежние в боях за Отечество, ни знатность рода – ничто не спасет. Есть только одна защита – служение Государю...

И еще: с Опричниной Власть обрела главное свойство, делающее ее абсолютной, – Страх перед непредсказуемостью и тайной. Никто не знает, за какие вины придет в голову царю казнить... или миловать? Никто не понимает, зачем нужна эта таинственная Опричнина, кровь и зверства.

И что за странные дикие слухи ходят: говорят, будто царь стал монахом... Все ждут и дрожат – что-то еще будет?

Царь-актер придумал в Александровой слободе игру в «монастырскую братию». Ее составили самые близкие, любимые опричники, а царь был у них игуменом.

Особая была братия... В ней был, к примеру, красавец Федор Басманов, с которым, как писал Курбский, Иван «губил душу и тело» (то же писал в своих воспоминаниях опричник Генрих Штаден). Однажды на царском пиру князь Овчинин обличил Федора «за нечестное деяние, которое творит он с царем», – и тотчас пошел на плаху...

Как и положено братии, с солнцем вставали, в колокол звонили, в простых рясах ходили. Но под грубыми рясами скрывались расшитые драгоценными камнями кафтаны. Как когда-то у варяжской дружины его предков, был у царя с опричниками общий стол. Но эти «монастырские трапезы» походили более на безумные оргии.

Постоянно читал он «братии» вслух святые книги. Правда, прерывал порой чтение – отлучался в подземелье. Туда, в устроенные им пыточные камеры, привозили опальных людей, там пытали их отец и сын Басмановы, князь Вяземский – отцы Опричнины...

Вскоре они сами займут места в пыточных камерах.

Иванов «монастырь» в Александровой слободе, хотя и сильно перестроенный, дожил до наших дней. В подвалах его, по уверениям старожилов, до сих пор бродят призраки несчастных...

В эти подвалы и шел Иван поглядеть, что делают с опальными умелые палачи. И, как писал современник: «Радостный возвращался».

Но тот же современник расскажет, как истово молился грешный царь: лоб расшибал в молитвах, наросты на коленях нажил от долгих молений на каменных плитах. Деньги посылал в монастыри на помин душ, убиенных им, и «синодики» – списки с именами погубленных. Всех имен своих жертв назвать не мог, писал глухо и страшно: «А имена же ты их, Господи, веси...»

«Синодики» он рассылал потому, что боялся, ибо души, загубленные им без покаяния, могли мучить его на том свете... Но боялся он только того, что убивал без покаяния... А того, что убивал, совсем не боялся, ибо считал себя хозяином жизни подданных. Все, как писал Курбскому: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить».

В убийствах своих царь видел только исполнение задуманного трудного дела: создать великое послушание, покорное государство – через Кровь. Не так, как «Избранная Рада» советовала, долгими убеждениями, а революционно – швырнуть вперед, через столетия, страну, обессиленную казнями и страхом. Страну, беспрекословно послушную воле царя.

В 1563 году умер митрополит Макарий – человек выдающийся, великий книжник, начавший книгопечатание на Руси. Иван начинает искать ему подходящую замену и совершает шаг, с первого взгляда весьма странный: просит Филиппа Колычева, знаменитого игумена Соловецкого монастыря, стать митрополитом.

Филипп Колычев принадлежал к древнему боярскому роду, был известен своей праведной жизнью, и странно было приглашать его митрополитом среди вакханалии опричных убийств, тем более что на Руси хватало иерархов, готовых быть сговорчивыми и послушными. Сам Колычев долго отказывался – просил сначала отменить Опричнину, но царь уговорил его. Непонятно было царское упорство – хорошо знавший людей, он должен был теперь приготовиться к долгим «докукам» от нового митрополита.

Все так и случилось. Не выдержал Колычев обещания не вмешиваться в опричные дела, и начался его нескончаемый и опасный диалог с царем по поводу каждой боярской казни. И всякий раз, выслушав митрополита, царь с трудом сдерживал гнев, только хрипел: «Молчи, чернец!» Но как молчать? Коли митрополиту смолчать о невинной крови, возопиют камни! И Филипп не молчал.

В 1568 году – свершилось... В черной рясе, окруженный «братией», царь вошел в Успенский собор и привычно попросил у митрополита благословения. Но Филипп при всем народе отказал в благословении православному царю. «Потому как не узнаю, – сказал он, – Государя ни по одежде, ни по делам его».

Далее все шло так, как было заведено в дни Опричнины. На церковном Соборе послушные иерархи осудили митрополита за придуманную вину (особенно усердствовал новгородский владыка Пимен).

Колычев сам предложил царю сложить с себя сан митрополита. Но Иван слишком любил театр – он попросил Филиппа отслужить обедню в Успенском соборе. В разгар церковной службы опричники во главе с Басмановыми ворвались в собор, сорвали с Колычева облачение, одели в рваную рясу и увезли в дальний монастырь.

Царь повелел истребить весь род бояр Колычевых. Вдогонку мятежному Филиппу отправил он отрубленную голову его любимого племянника. И павший иерарх целовал и крестил голову юноши».

История с митрополитом Колычевым отнюдь не была странной ошибкой царя – наоборот, она полна глубокого смысла. Теперь уже всем стало ясно: заступничества не будет нигде, даже сам митрополит не сможет помочь ни людям, ни себе, ибо есть только один закон и одна воля – царская. «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить...»

Люди вроде князя Репнина, который когда-то отказался надеть скоморошью маску, или смелого боярина, обличавшего содомские игрища Басманова с царем, уходили в прошлое. Наступало всеобщее Молчание...

Но Государь все испытывал свой народ: крепко ли Молчание, все ли боятся. И однажды опричники вошли в Москву и забрали молодых жен у людей знатных – бояр и дьяков. Теремных затворниц, которые, кроме супругов и слуг, мужчин в лицо не видели, увезли за Москву. Навстречу им двинулся царь с сыном из Александровой слободы. Началась оргия, которой мог бы позавидовать Нерон... Самых красивых насиловали сначала царь с сыном, потом отдавали опричникам. После чего жен вернули. Как напишет Карамзин: «Вскоре умерли они от стыда и горести». Мужья скрежетали зубами, но молчали.

Все то же безумное Молчание...

А потом он принялся и за свою семью...

Среди Молчания гибель Владимира Старицкого прошла как-то незаметно. Недаром обстоятельства убийства источники излагают глухо и по-разному. По самой правдоподобной версии, позвал царь последнего удельного князя с женой и детьми в Александрову слободу. И здесь «Государь и брат их», усмехаясь, предложил им чашу с ядом: «Слыхал я, хотели вы меня отравить, а теперь вот сами пейте». И семья молча выпила чашу.

Жену своего покойного брата, монахиню Александру, которую за праведность звали «второй Анастасией», царь повелел умертвить. И другую его родственницу, старуху мать Владимира Старицкого, убили вместе с нею по приказу царя...

Государевы «испытания» не имели конца. Пришла очередь уже не людей, а целых городов...

Он выбрал Новгород – город, который основал его прародитель Рюрик («Пошел Рюрик к Ильменю и срубил город и назвал его Новгород») и где он был похоронен. Когда на месте Москвы еще непроходимые леса стояли, Новгород был уже великим городом. И не просто великим, а Господином Великим Новгородом – господином собственной судьбы, невиданной на Руси республикой, вольной и славной, существовавшей триста пятьдесят лет и пресеченной его дедом... Еще живы были люди, помнившие битвы с московским князем, и колокол на Софийском соборе гудел, напоминая о днях вольности. И много было в Новгороде сторонников Владимира Старицкого и князя Курбского. Не крепка была там власть царя, и он это знал. И решил укрепить ее проверенным способом...

Для похода на собственный город нужен был повод. Так появился донос о том, что Новгород «сносится с польским королем, и хочет от Московского государства отложиться, и еще хочет известить царя и посадить на царство князя Владимира Старицкого». Как можно сразу иметь эти весьма противоположные цели, уже никто не спрашивал. Царь добился своего – в смысл доносов уже не вникали.

Так появился первый повод к расправе. А уже после смерти Владимира Старицкого в Новгороде была найдена за иконой грамота к польскому королю. Как она туда попала, нам, живущим в XXI веке, объяснять не надо. Впрочем, это было понятно даже в XIX веке Карамзину...

Задумав великое избиение, царь захотел заручиться благословением святого человека и отправил к низложенному митрополиту Филиппу палача своего, Малюту Скуратова.

Как и все деспоты, Иван ценил зрелище человеческого падения, любил наблюдать, как простые низменные чувства – страх, тщеславие, жажда мести – движут людьми... Недаром он держал в опричниках родного брата убиенной жены Владимира Старицкого – Никиту Одоевского, и племянников убиенного, князей Петра и Семена Пронских, и дворецкого его, Андрея

Хованского... Радостно было наблюдать ему их жалкое рвение на службе у него – убийцы их родича и господина.

Посылая к Колычеву кровавого Малюту, царь очень рассчитывал на страх Филиппа и ненависть к предавшему его новгородскому владыке Пимену, который должен был пострадать в грядущем избиении. Но царь обманулся – Филипп отказался благословить будущую кровь, сказал: «Благословляют только на доброе дело».

И тогда Ивановы подданные получили очередной урок: Филипп был тотчас удушен спорым Малютой.

С великим опричным войском выступил Иван на Новгород. Начиная от Клина, он все превратил в пустыню, Тверь сжег дотла...

Новгород окружили. Сначала ограбили близлежащие монастыри. Монахов ставили на «правеж» – избивали до смерти, а тех, кто выжил, по дальним монастырям разослали. Потом «начал великий царь громить Новгород».

Бесстрашно потопил он в крови беззащитный город. По тысяче человек в день привозили на суд к нему и любимому сыну его, Ивану, который во всех злодеяниях был рядом с отцом. И судили они людей, и мучили их перед смертью. Сжигали заживо, секли и на кол сажали, в Волхове топили, а кто всплывал, тем опричники головы разбивали баграми.

По летописи, шестьдесят тысяч новгородцев истребил Государь. Истребляя, не забывал молиться: «А имена же ты их, Господи, веси...»

А потом он собрал жалкую кучку оставшихся в живых горожан, у которых отняли все имущество, и попросил их «молиться за державство наше... А что касается крови вашей, то пусть она взыщется с изменников».

И потянулись возы с награбленной добычей вслед за уходящим опричным войском. Генрих Штаден рассказывает: когда он в поход пошел, была у него одна лошадь, а вернулся он с двадцатью – запряженными в сани, наполненные добром. И как он добро это добывал, Штаден тоже поведал, не таясь: в богатый двор новгородской княгини заехал и хозяйке, в ужасе попытавшейся бежать от него, ловким броском всадил топор в спину. Потом, перешагнув через окровавленное тело, пошел «познакомиться с обитателями девичьей». Хорошо познакомился... Но от грабежа и любовных утех так утомился, что «не стало больше сил» насиловать и грабить, – офаничился двадцатью возами...

А новгородского владыку Пимена Государь пощадил, но по-своему – веселое представление устроил. Напялили опричники на владыку скоморошью маску и сыграли его свадьбу с... кобылой! И велел царь Пимену на той кобыле в Москву ехать, по дороге играя на дудке. И ведь поехал! Поехал владыка, выкупая позором жизнь...

Впереди был Псков. В городе молились и ждали расправы. Но казни и грабеж только начинались, когда город был спасен. Не жителями – они безропотно покорились подступившей банде головорезов во главе с собственным Государем. Город спас знаменитый псковский юродивый.

Царь захотел повидать его, и юродивый пришел с большим куском сырого мяса во рту. Иван смутился и спросил его: «Что ж ты мясо-то ешь, ведь нынче пост?» – «А ты еще хуже – человечье мясо в пост жрешь», – ответил юродивый. И испугался Государь всяя Руси. Никого не боялся – святого человека испугался. Ушел из Пскова...

Но в этом прекрасном летописном предании не вся правда. Царь понял: задача выполнена. Сама мысль о непокорности стала невозможна в опустошенных городах и душах. Теперь это были покорные рабы, которых осмелился защитить только юродивый.

Глядя на бесконечные возы с добычей, которые везли его опричники, и вспоминая грозные слова юродивого, понял царь, что превысил меру разбоя и крови. И тут же подумал об «ответчиках». Так всегда у тиранов: кто-то должен стать виновным за пролитую ими кровь...

И еще: при виде своих гордых, веселых опричников он понял: перед ним последние люди, которые чувствовали себя вольно на Руси, забывшие, что такое страх. Страх перед царем.

И тотчас по возвращении он им напомнил...

Сначала состоялись следствие и розыск в Александровой слободе, где главные опричники были обвинены в том, в чем до этого обвиняли других, – в измене Государю. Им, расправившимся с Новгородом и Псковом, было вменено... пособничество Пскову и Новгороду в желании «отложиться к польскому королю»! Таков был царский юмор.

Под умелыми пытками сознавались в этом бреде опричники, еще вчера умело пытавшие других, – князь Афанасий Вяземский, отец и сын Басмановы. Отцы Опричины были беспощадно пытаны... опричниками.

Сотни плах были воздвигнуты в Москве, и сотни палачей встали у плах – Иванов «37-й год»... Виселицы выстроились вдоль всей кремлевской стены, но толпы не было, люди не пришли. Горожане затворились в домах, улицы опустели – Москва решила, что пришел ее черед, что царь задумал расправиться со своей столицей. Никто не шел на площадь, все в молчании и ужасе покорно ждали.

Но какое же царское представление без людей? Их согнали, и царь успокоил толпу: не на них, простых людей, его гнев, но на «добрых и сильных».

«Прав ли суд мой? Ответствуй, народ!» – вопрошал царь толпу. И народ привычно отвечивал: «Прав ты во всем, Государь! Пусть погибнут изменники!»

Показалась процессия – вели первых осужденных. Но виселицы у кремлевской стены были не для них, о виселицах они могли только мечтать. Царь позаботился, чтобы казни опричников не уступали по изощренности казням их жертв. И несколько дней длились их мучения, за которыми наблюдали главные палачи – оба Ивана, отец и сын.

Перед расправой «вычитывали вины» осужденных. Дьяк Висковатый, верный слуга Ивана, ведавший царской внешней политикой, был обвинен в том, что служил он польскому королю и хотел, чтобы тот забрал Новгород и Псков, а еще в том, что служил крымскому хану и звал его грабить Русь, и еще в том, что служил Турции и хотел «отложить» к ней Казанское и Астраханское царства... «Многогрешный изменник» стоял теперь у столба, и за эти его «измены» опричники весело отрезали у него куски тела.

А Иван уже знал: завтра многие из этих весельчаков будут качаться на приготовленных виселицах...

Висковатого разделали, как тушу: подвесили на крюк и четвертовали. Затем на площади был водружен кипящий чан. Пришла очередь казначея Никиты Фуникова, женатого на родственнице вчерашнего главного опричника, Афанасия Вяземского. (Самого Вяземского уже замучили. Не было на площади и Басмановых. Погибли они страшно: царь, как всегда, захотел увидеть человеческую подлость и повелел Федору убить отца, и тот убил. Потом умертвили и вчерашнего царского любовника. Щедро царь от грехов своих избавлялся...)

Фуникова, которому царь не простил участия в «мятеже у царской постели», облили сначала кипятком, а потом холодной водой, и кожа с него сошла. Жену дьяка раздели и «возили по веревке», пока не умерла. А юную дочь царь отдал своему сыну – пусть позабавится! Грозный был государь... Но как сказал историк: «Он мог губить, но не мог уже изумлять». К самым страшным злодействам, к самым нелепым обвинениям люди давно привыкли. О справедливости, о ближних уже никто не думал, все хотели только одного – выжить.

Третий Рим

Он устроил удивительный пир для своих приближенных (точнее, для тех, кто еще оставался в живых). Как всегда, на роскошных его пирах, поражавших воображение иноземцев, на золоте и серебре подавали до сорока разных блюд – баранину, телятину, дичь, гусей, уток... Как всегда, гостей потчевали драгоценным виноградным вином, привезенным из-за границы.

Разносившие блюда столтники по обычаю говорили пировавшим: «Это царь посылает тебе». Получивший блюдо вставал и благодарил батюшку Государя. Так же обносили пировавших вином: «Жалует тебе царь эту чашу». И так же вставали гости и благодарили щедрого хозяина.

Но вина на том пиру было куда поболее обычного. Бесконечно жаловал в тот день Иван пировавших своей царской чашей, много часов подряд пили гости. Ибо царь в тот день ждал, когда развяжутся боярские языки, и велел список пьяных речей составить...

Составили. И оказалось, как пишет летописец: «Всяким глумлением глумились бояре, песни срамные распевали и срамные слова говорили...» Но ничего запретного так и не услышал царь. Ни от кого не услышал, хотя у каждого он казнил родственника или друга.

Речи были неразумные, но смиренные.

Итак, цель была достигнута. Третий Рим, о котором он мечтал, был построен. То, чего добивались его предки – покорность бояр и народа, – он сумел сделать абсолютным. Уже некому было противоречить царю.

Да он и не был уже просто царем. Он стал Богочеловеком – Иваном Грозным.

В этом – истинная цель Опричнины, а не в какой-то жалкой мести жалкому князю... Теперь ему принадлежало все. Огромная страна стала его вотчиной, в которой он распоряжался как истинный владелец. И законом здесь была только его воля.

Теперь он мог осуществлять любые реформы – и незамедлительно, а не так, как советовали ему жалкие советчики из «Избранной Рады». Когда-то он не смог заставить Стоглавый собор ограничить рост монастырского землевладения – теперь он сделал это мгновенно. В 1580 году он попросту запретил духовенству впредь покупать новые земли, и ни у кого даже мысли не было обсуждать царское решение.

А в следующем году он сделал еще один шаг к окончательному прикреплению крестьян к земле: ограничил их право уходить от одного владельца к другому в Юрьев день. Теперь многочисленный класс новых рабов трудился на его служилых людей. Мирно, без всякого ропота отдали крестьяне свою свободу грозному царю.

Безумное Молчание...

Богочеловек... В этом обличье он принимал иноземных послов. В огромной палате, расписанной библейскими сценами, на золотом возвышении стоял его трон. Образ Спасителя – справа, лик Богородицы – прямо над троном. Множество придворных в парчовых платьях, подбитых соболем, осыпанных драгоценными камнями, толпилось в палате...

И вдруг наступала тишина, будто дворец вымер. Недвижно стояла стража вокруг трона – в атласе и бархате, с золотыми цепями на груди. Сверкали, отражая множество свечей, топоры стражников.

Появлялся он – в золотом одеянии с бриллиантовыми пуговицами. На голове – священная шапка Мономаха. В руке – золотой посох.

Послы вручали грамоты, и тотчас по его знаку удалялись придворные, чтобы сменить облачения и явиться в зал белыми ангелами – в белых одеждах, опушенных горностаем. Они переодевались в царском гардеробе, там оставляли свои прежние роскошные наряды. Ибо все эти блестящие одежды принадлежали царю – как и жизни людей, их надевавших.

Он показывал англичанину Горсею свою сокровищницу. До смерти не мог забыть потрясенный иноземец горы жемчугов, изумрудов, сапфиров, рубинов, золотой и серебряной посуды... Там было все, что накопили бережливые предки Ивана, все, что отобрал он у казенных князей, все, что награл в Великом Новгороде, веками создававшем свое богатство...

Он был богатейшим Государем беднейших подданных.

Теперь он выезжал окруженный огромной свитой, на лошадях в великолепной драгоценной сбруе. Впереди скакали по трое князья и бояре. В охране царя было до полутысячи стрельцов. Все то же явление Богочеловека...

Ни одно дело теперь не решалось без него – он сам читал все челобитные и сам вершил суд. Хозяин земли и холопов... Так возникла Иванова страна, где еще во времена его отца, как писал путешественник барон Герберштейн, «рабство, несовместимое с духовным благородством, было всеобщим... ибо самые вельможи назывались холопами Государя». «Мы служим Государю не по-вашему», – сказал барону один из этих вельмож-холопов.

Раздумывая над самодержавием в России, Карамзин задавался вопросом: «Не знаю, свойство ли народа требовало для России таких самодержцев или самодержцы дали народу такое свойство?»

«И то и другое. Ибо только абсолютное, Великое самодержавие способно создать Великую Россию». Так они ответили – сначала Иван, потом его Ученик всеми делами своими ответили!

Но абсолютная власть развращает абсолютно, и тиран обязательно заболевает последствиями тирании. Придумывая преступления, он постепенно сам начинает в них верить. Мания подозрительности – обязательная кара для тирана.

А существование Богочеловека непременно порождает болезненное одиночество...

Не прошло и года после массовых казней на Красной площади, как пришел на Русь крымский хан Девлет-Гирей. Царь выступил с опричным войском и... неожиданно бежал от хана, испугался дать сражение. Оставив Москву, он отвел войска в Коломну, оттуда в Александрову слободу и дальше – в Ярославль. Беззащитная Москва была брошена на произвол судьбы.

Так он боялся. Но не хана! Боялся изменников-бояр, которые могли выдать его хану. Поверил... В собственные басни поверил!

Хан подошел к Москве и зажег предместья. Много страшных пожаров знала Москва, но такого огня еще не было. Спасаясь, люди бросались в реку и там тонули. А когда пожар угас, некому было хоронить и оплакивать мертвых – не осталось жителей в великом городе.

Девлет-Гирей смотрел с Воробьевых гор на исчезавшую в огне Москву и понял, что делать ему здесь уже нечего. Города более не существовало. И хан вернулся в Крым, погнав туда тысячи русских пленников.

Из Крыма он отправил посольство в сожженную Москву. Он писал презрительно Ивану: «Я разграбил твою землю и сжег ее... Ты не пришел ее защитить, а еще хвалишься, что московский царь. Была бы у тебя храбрость или стыд, ты бы не прятался... Но я не хочу твоих богатств – верни мне Казань и Астрахань...»

В жалкой черной одежде встретил царь-актер послов. Долго объяснял им, что ничего у него не осталось: все татары сожгли и разграбили. Так он юродствовал, а потом предложил отдать одну Астрахань, чтоб хан посадил туда своего сына, но... чтоб рядом с ним сидел московский боярин. И дань хану предложил платить.

Послы оставили царю подарок – кинжал, чтобы он от нищеты и позора грядущей гибели закололся. Хан обещал опять прийти на Русь.

В то время Ивану должно было казаться, что тени ожили, – случилось все, о чем предупреждала «Избранная Рада». Швеция и Речь Посполита стали его врагами. Война с Ливонией грозила закончиться бесславно – вести войну на два фронта он не мог...

В следующем году Девлет-Гирей вновь пошел на Москву. На этот раз Русь и царя спас воевода Михайло Воротынский – опальный, ненавистный ему гордый боярин. Много лет провел прославленный воин в темнице и ссылке, а теперь Иван вынужден был вручить ему судьбу страны. Не было у него выбора: все остальные знаменитые воеводы уже оставили свои головы на плахе.

Воротынский не обманул ожиданий: на подступах к Москве, у Подольска, встретил войско хана и разбил его. Хан дал второе сражение, но и оно окончилось кровавым поражением крымцев. Войско Девлет-Гирея перестало существовать. Сил повторять набеги у хана уже не было.

Как и положено тирану, Иван не простил Воротынскому его победы после жалкой своей трусости. Воеводу обвинят в измене и подвергнут любимым царским пыткам – долго будут держать тучного боярина над горящими углями, потом убьют...

А Москву быстро отстроили. Умирали от голода и непосильной работы, но отстроили. Ибо так велел пресветлый Государь Иоанн Васильевич.

Царь-актер не забывает про игру: через несколько лет после того, как крымский хан сжег Москву, Иван вновь разделил государство. Теперь в Земщину он назначил... царя! И царем этим стал... татарин! Безвластный касимовский хан Симеон Бекбулатович, которого короновали в Успенском соборе!

Целый год, к изумлению будущих историков, Иван упоенно играл в эту загадочную игру. Он писал униженные челобитные Симеону, величал его «Великим князем всея Руси», а себя лишь «Великим князем Московским». Симеон сидел на золотом троне, а царь занимал на лавке место боярина...

Но это не было мазохистским безумием. Это было политическое шоу, полное смысла. Кланяясь этому жалкому татарскому хану, он как бы напоминал Руси, кто освободил ее от татарского ига, кто завоевал Казань и Астрахань, кто превратил некогда грозных ханов в жалкое посмешище, предмет для царских игрищ.

В следующем году игра наскучила, и царь убрал с трона ничтожного Симеона. Его дело было сделано: он напомнил о великих подвигах Ивана.

Разразилась катастрофа в Ливонии. После смерти Сигизмунда сейм избрал королем Стефана Батория – венгерского рыцаря, великого воина. Баторий нанес сокрушительные поражения ослабленной террором царя русской армии. Вскоре вся Ливония была покинута Ивановым войском.

Баторий пришел на Русь, осадил Полоцк. Царь с войском стоял недалеко от города, но (в который раз!) уклонился от боя. Полоцк пал.

Был осажден и Псков, но горожане героически оборонялись и не сдали город...

Начались трудные переговоры о мире. Баторий хотел получить уже не только Ливонию, но и русские города.

Враждующие стороны обменивались саркастическими письмами. Иван сообщал Баторию, что он, природный Государь, получил свой трон в наследство от прародителей, соизволе-

нием Божиим, а не «хотением многоятежной толпы». Так презрительно намекал он на избрание Батория королем. Но его противник тоже был силен в сарказмах – отвечал Ивану, что негоже тому гордиться и забывать, что он сын дочери польского перебежчика, изменника.

Так они и препирались. Иван корил Батория: дескать, вместо того чтобы договориться, он продолжает проливать кровь христиан. А Баторий отвечал ему, что знает способ немедля прекратить войну: пусть сойдутся они с Иваном один на один в битве рыцарской, кто выигрывает – тот и победит. Иван на вызов не ответил.

Наконец заключили мир. Доблесть защитников Пскова спасла русские города, но всю Ливонию, когда-то им завоеванную, Иван потерял.

Мир со Швецией был еще унижительней: Иван лишился почти всего побережья Финского залива, земель, принадлежавших Великому Новгороду. Таковы были плоды кровавого самовластия, уничтожившего славных воевод. Слабость грабительского, развращенного опричного войска была доказана.

Личную жизнь царя после смерти Анастасии отражают его собственные слова из послания в Кирилло-Белозерский монастырь: «Горе мне, окаянному!.. Горе мне, грешному! В пьянстве, блуде и прелюбодействе живу...» Так с упоением, но без всякого преувеличения клеймил себя царь.

Но «не согрешишь – не покаешься», и все продолжалось... В преданиях Александровой слободы остались и необычные воспоминания о голых девах, в которых опричная «братия» стреляла из луков, и рассказы о более привычном применении голых дев. Если сопоставить все это с предыдущей его жизнью, то царь имел право хвастаться англичанину Горсею, что он «растлил тысячу дев».

В 1569 году умерла опостылевшая Мария Темрюковна, с которой царь перед ее смертью сильно ссорился. Не болела – и вдруг умерла. И почему-то вослед за ней был торопливо казнен ее брат... Царь, естественно, обвинил бояр в отравлении жены.

В октябре 1571 года он женился на Марфе Собакиной из коломенских богатых вотчинников, но уже через три недели она умерла. Царь поспешно объявил, что она была очень больна, хотя и было это невероятно – царскую невесту осматривал опытный лекарь.

В четвертый раз жениться он не мог по церковному уставу, но иерархам пришлось смириться – наложили на царя епитимью и позволили... Уже в апреле 1572 года он женился на Анне Колтовской. Не прошло и полугода, как красавицу отправили в монастырь.

В 1575 году пятая жена, Анна Васильчикова, умерла всего лишь через год после свадьбы, и женолюбивый царь стал опять свободен. В шестой раз (уже без венчания) он взял в жены вдову дьяка Василису Мелентьеву. Ее он вскоре постриг в монахини, так как заметил «смотрящую на Ивана Девтелева, князя, которого и казнил». Василиса приняла эстафету смерти от предыдущих жен – вскоре умерла.

В седьмой раз неутомимый царь женился на Марии Нагой. Дружками на свадьбе были Борис Годунов и Василий Шуйский – будущие герои Смутного времени. Так призрак грядущей Смуты появился во дворце...

Под конец жизни он превратился в развалину. Антрополог Герасимов, изучивший его скелет, нашел мощные солевые отложения на позвоночнике царя, которые должны были причинять ему острейшие боли, вызывая приступы ярости. Дурные болезни, постоянное обжорство и пьянство на пирах, неподвижность (он уже не мог садиться на коня) его доконали. Это был старик, которого порой даже носили. Но все еще страшный, кровавый старик.

Бесконечно меняя русских жен, Иван не уставал мечтать о династическом браке. После неудачного сватовства к польской принцессе, решил он попытать счастья с принцессой шведской. Все та же мечта – породниться для союза в Ливонской войне.

Он захотел жениться... на жене находившегося в тюрьме шведского принца Юхана, вел переговоры с посадившим его туда королем Эриком. В Стокгольме на смотрины уже отправились русские послы, но в это время, к его сожалению, принц Юхан не только вышел из темницы, но и сам сел на трон, свергнув Эрика. Так что пришлось Ивановым посланцам объясняться с новым королем, заявлять, что невинного их Государя ввели в обман...

Пытался он породниться и с английской династией.

Все началось с попыток англичан захватить торговлю с Россией. В Лондоне была основана Московская компания, и, хотя несколько ее судов погибли (два потонули у берегов Шотландии и два – в Белом море), торговля началась.

Царь решил использовать этот великий торговый интерес англичан. Обожавший писать Иван начал забрасывать посланиями-предложениями английскую королеву Елизавету: «Отныне Англия и Русь должны быть во всех делах заодно». Он предложил заключить договор: королева должна запретить своему народу торговать с его врагами – поляками, позволить выехать в Московию корабельным мастерам «и везти им с собой на Русь пушки и оружие». И еще был примечательный пункт договора: «Если кто-нибудь, Иван или Елизавета, по несчастью своему вынужден будет оставить свою землю, то может жить в государстве другого без страха опасности, пока беда минует и Бог переменит его дела...»

Это был все тот же параноический страх возмездия...

Из Англии на Русь и прибыли двое, которым было суждено обратить на себя внимание грозного царя.

Один из них – некто Елисей Бомель (так его называли в Москве). На самом деле это был вестфалец Бомелиус, изучавший медицину в Кембридже и занимавшийся астрологией, да столь успешно, что лондонский архиепископ отправил его в тюрьму как чернокнижника. Откуда и забрал его на Русь Иванов посол, знавший любовь Государя к колдунам.

В Ивановом дворце астролог Елисей развернулся. Он готовил яды, которые избавляли Ивана от лишних казней (и, видимо, от некоторых из жен). Он стал царским любимцем и советчиком, его боялись и ненавидели... Но знавший толк в делах небесных вестфалец не понимал, как опасна любовь владык земных. В очередной раз муки царской совести потребовали жертвы – нужно было найти очередного виновника несправедливых казней... Во всем был обвинен Бомелиус – и в том, что изводил людей ядами, и в том, что «волхованием внушал царю убивать добрый народ»...

Летописец писал: «Был Елисей у него в приближенье любимцем... хотел отвлечь царя от православной веры... науськивал на убийство родов княжеских и боярских...» и колдовски внушал боголюбивому царю «бежать в Английскую землю, а остальных бояр побить».

И любимец царя Бомелиус был сожжен.

Другой пришелец из Англии был куда удачливей. Его звали Энтони Дженкинсон, и был он агентом Московской компании – одним из тех англичан, которые впоследствии завоюют для своей страны целый мир.

Европа, Африка, Русь – таковы маршруты путешествий этого неугомонного человека. Из Московии направился он в Азию: Бухара, Самарканд... Он принимал участие в сражениях, много раз был на волосок от гибели, но оставался жив. На сотнях верблюдов, без охраны, вез свои товары, разорялся и вновь обретал богатство. Только такую жизнь он ценил... В Лондоне он появился с черноволосой красавицей, которую представил дочерью хана и подарил королеве Елизавете.

Этого человека и выбрал Иван посредником в деликатном поручении. Елизавете шел уже четвертый десяток (она была тремя годами моложе Ивана), но могущественная правительница была не замужем... Не желая попасть впросак, гордый царь на этот раз решил избежать переписки и выяснить перспективы брачного союза через Дженкинсона.

Елизавета привыкла умело отказывать искателям ее руки. Она сообщила очередному претенденту, что решила остаться девственницей, ибо обручена со своей нацией. Пеликан, вырывающий из собственной груди куски мяса, чтобы накормить голодных птенцов, – вот символ ее жизни во имя своего народа... Логику королевы, любившей говорить подданным: «Может быть, у вас будет государь куда более выдающийся, но никогда не будет более любящего», – вряд ли возможно было понять Ивану, распорядившемуся жизнью и смертью своих подданных по собственному усмотрению.

От «королевиного отказа» Иван пришел в обычную ярость и отправил послание, где постарался объяснить ей, кого она отвергла! Он – природный Государь, владеющий людьми, как холопами, а «твой бояре с моим послом все о торговых делах говорили... неужели мимо тебя твои люди государством владеют?» – саркастически спрашивал царь и заканчивал письмо знаменитой фразой: «И ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая (обыкновенная – Э.Р.) девица». В этом обличении позднего девичества королевы звучала наивная злоба отвергнутого жениха.

Обиженный царь нанес ответный удар – все привилегии у английских купцов были отобраны. «Московское государство... и без английских товаров не скудно было», – писал Елизавете царь.

Умная королева могла только с улыбкой читать эти оскорбления – она уже поняла яростный характер царя-деспота. Но Иван думал о себе, ей же надо было думать об английской торговле и о прибылях «возлюбленного Отечества». И вскоре Иван получил миролюбивое письмо, где она писала: «Никакие купцы не управляют нашими делами, а мы сами о них печемся». И, умеряя Иванову спесь, сообщала, как непросто ей дружить с московским царем: «Многие государи писали к нам, прося прекратить с вами дружбу, но никакие письма не могли побудить нас к исполнению их просьбы».

В качестве доказательства дружбы королева послала в Москву своего медика Роберта Якоби, а также аптекарей и цирюльников, которые должны были печься о драгоценном здоровье царя. С медиком Иван тотчас завел любимый разговор: нет ли для него в Англии подходящей невесты – вдовы или девицы, родственницы Елизаветы?

И Якоби легкомысленно назвал имя племянницы королевы – Марии Гастингс...

Иван тотчас всполошился и повелел Афанасию Нагому, родному брату своей жены (!), подробно расспросить о возможной невесте, после чего в Лондон был немедленно отправлен на смотрины царский посол Федор Писемский. Он должен был привезти портрет невесты и подробно сообщить, в меру ли она дородна, бела ли... Послу были даны инструкции: если скажут, что Государь уже женат, отвечать, что взял он в жены дворянскую дочь, не по царскому своему положению. И если племянница королевы достаточно дородна и «великого дела достойна», то объявить, что Государь жену свою оставит и возьмет в жены Марию Гастингс.

Елизавета, наслышанная о любовных подвигах Ивана, решила спасти племянницу. Она сказала послу: «Я слышала, что Государь любит красивых, моя же племянница некрасива... Кроме того, девица лежала в оспе, и нельзя с нее писать портрет, ибо больна она сейчас...»

Писемский согласился ждать, пока Мария выздоровеет.

Елизавета задала ехидный вопрос: «Правда ли, что жена Государя, как мы слышали, родила сына?» (Мария Нагая действительно родила – царевича Дмитрия.)

Писемский ответил по инструкции: «Вздорным речам не верьте».

Посла попытались отвлечь охотой и всякими соблазнами, но он был непреклонен – он должен был увидеть не-весту и привезти портрет, ибо знал, чем кончается неисполнение царских желаний. Королеве пришлось показать Марию упрямому русскому. «Высока, тонка лицом, глаза серые, волосы русые», – в восторге отписал Писемский Ивану.

Но Елизавета решила закончить комедию. Вместе с Писемским, увозившим желанный портрет, в Москву был отправлен английский посол – объяснить жениху, что Мария его недо-

стойна, что она «очень больна по грехам ее, да и в вере своей не согласна перемениться» и потому не может принять ни православия, ни предложения царя...

Великая трагедия вскоре заслонила матримониальные заботы. Иван убил собственного сына. Страшнее возмездия быть не могло.

Рассказ о том, как Иван в порыве гнева смертельным ударом посоха сразил любимого сына, – легенда. Иван не просто убил – он убивал... Боярин Борис Годунов, который пытался вмешаться, был весь изранен, а сам царевич несколько дней болел после зверского избиения и только потом умер. Вскрытие могилы это подтвердило: череп молодого Ивана был так разбит, что восстановить лицо оказалось не под силу Герасимову.

Это зверское избиение опровергает известную версию, будто убийство случилось из-за пустячной ссоры: царь сделал замечание жене Ивана за неподобающий туалет, сын вступился, а отец в припадке ярости ударил его... Чтобы так убивать, нужны были серьезные мотивы.

Впрочем, из того глухого времени дошли до нас иные версии – о них писали современники. Постоянный маниакальный страх, владевший деспотом, заставил его подозревать даже сына. Царя пугало, что сын так похож на него, что смеет он осуждать сдачу Полоцка и даже хочет возглавить войска в Ливонии. Он уже носил в тайниках души ужасную мысль: его сын замышляет против него...

И оттого ничтожный повод – ссора из-за жены – вызвал бешеный гнев.

Кровь покорно умирающего сына вернула несчастного царя к реальности: его безумие оставило страну без наследника. Младший сын Дмитрий лежал в колыбели, а на трон после него теперь должен был сесть второй сын Федор – жалкий карлик с «семейным» крючковатым носом...

Теперь он видел убитого сына во сне, просыпался с мыслью о нем, кричал и плакал. Таково было Божье наказание.

Он объявил, что править более не хочет и пострижется в монахи. Но наученные прошлыми играми царя-актера бояре ему не поверили. Умные придворные дружно кричали: «Нет, нет – хотим тебя царем!» И он остался...

На закате жизни, в 1583 году, ему удалось услышать и радостное: он сумел пережить своего врага – Курбский умер за год до его смерти. Князь Андрей жил в большой печали в Польше. Женился, но радости все не было: он тосковал по Руси... Как сказал польский поэт: «Родина – как здоровье: когда она есть, ее не ценишь».

В том же году отряды казаков под водительством атаманов Ермака Тимофеевича и Ивана Кольцо заняли столицу сибирского хана Кучума. К Московскому царству присоединилась Сибирь. Он пожаловал Ермаку дорогую броню с золотым орлом, но будто проклят был царский подарок – в этой тяжелой броне и утонул Ермак Тимофеевич...

В 1584 году пришла смерть за Иваном. Он вдруг весь распух, и внутренности у него начали гнить. Но и на смертном одре он продолжал свое актерство, эти «карамазовские» выходы... Недаром Достоевский так внимательно читал историю грозного царя.

Накануне его смерти жалкий и очень добрый сын Федор послал жену свою утешить отца на смертном одре. И летописец расскажет: «Она в ужасе бежала от царского сладострастия». Как хохотал Иван, представляя постное лицо сына-святоши, которого он жалел... и ненавидел.

В это время над Москвой появилась комета – вечная предвестница смерти кесарей. И он понял: умрет. Но все цеплялся за горестную свою жизнь. Во дворец были собраны астрологи, но и они предсказали смерть Государя.

Однако 17 марта наступило облегчение. Он принял ванну и сел за шахматную доску с верным Богданом Вельским. Царь уже подумывал о казни лжецов астрологов, когда внезапно его настиг удар...

Митрополит свершил последний обряд над потерявшим сознание Иваном. Согласно его же желанию, грешный царь был пострижен в монахи.

Его тело облекли в одежды схимника. В мир иной Иоанн Грозный отошел смиренным монахом Ионой.

Но даже видя царя бездыханным, бояре все медлили объявить о его смерти. Боялись: а вдруг это очередное испытание, придуманное царем, вдруг он снова «обрадует» их своим воскрешением? И начнется расправа...

Он был Грозным и после смерти.

Были и иные слухи: будто царь был отравлен уставшими от его злодейств боярами. Вскрытие гроба не подтвердило, но и не опровергло версию убийства. В останках царя было сильно повышено содержание ртути, но это могло быть результатом приема лекарств против дурной болезни, от которой, возможно, и сгнил грешный царь...

Ученик

В 1953 году, также в марте, умер тот, кто написал о нем: «Учитель».

Недаром написал Сталин это слово. Он странно повторил судьбу деспота. Так же, как у Ивана, у Сталина умерла любимая жена. Так же, как Иван, он возложил ее гибель на «кремлевских бояр». Только Иван был убежден, что жену извели ядами, Сталин же верил, что враги его отравили сознание жены клеветой на мужа, довели до самоубийства...

Так же, как Иван после смерти жены, он задумал великую расправу с «боярами», чтобы так же, на страхе и крови, создать Державу. Ибо, как и Иван, он верил: только абсолютное самодержавие должно править его народом. И, как Иван, Сталин поставил уничтожение врагов на самообслуживание – одни убивали других, чтобы вскоре самим разделить их участь.

И тактику игр Учителя-актера он применял – и часто. В первые дни войны, когда его войска откатывались к столице и он испугался бунта соратников, Сталин, как Иван накануне Опричнины, вдруг исчез из Москвы – чтобы его «бояре» поняли, как они беспомощны без «царя», и сами пришли на поклон, и просили его вернуться. И они пришли, просили, умоляли...

И так же, как Иван, незадолго до смерти, в дни последнего для него съезда партии он попросил отставку. И так же перепуганные соратники, «осознавая смертельную опасность», единодушно кричали: «Нет! Нет! Просим остаться!»

И так же, как Иван, он чувствовал перед смертью параноический страх и безумное одиночество. «Даже чаю выпить не с кем», – сказал он о себе...

Сталин как будто и вправду был неким перевоплощением страшного царя. Умирая, он загадочно поднял руку, будто «погрозил всем нам», как напишет его дочь Светлана. И рука Ивана Грозного при вскрытии его гроба оказалась таинственно поднята вверх. Герасимов считал, что это была часть погребального обряда, исчезнувшего во тьме веков и, возможно, что-то означавшего...

И так же вскоре после смерти Сталина начались слухи – те же, что после смерти его Учителя: убили...

Накануне потопа

Когда Иван умер, он оставил великую бескрайнюю державу. Оставил он и нищее закабаленное крестьянство – как всегда на Руси, мужик и земля заплатили за все его войны.

Это была мощная деспотия: Страх и Повиновение царили внутри великой державы. Но уже вскоре великое его государство потонет в Смуте.

Впрочем, англичанин Флетчер, приехавший на Русь сразу после смерти Ивана и заставший там еще могучее государство, отчего-то предрекал, что непременно возникнет здесь вскоре гражданский пожар. И Курбский в одном из писем царю писал: «И обагрённый христианской кровью, погибнет весь дом твой».

И мудрейший Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиева монастыря, раздумывая о причинах падения великого государства, обращался ко временам Ивана. В его правлении отыскал он причину, породившую Смуту: «Безумное молчание людей, не смеющих глаголити истину своим царям...»

И дьяк Иван Тимофеев и князь Катыврев-Ростовский в Ивановы времена глядели, ища корни Смутного времени.

«Мучитель» – так звали они царя Иоанна Васильевича.

Кстати, и грозный Ученик грозного царя, говоря о причинах Смуты, обращался к царствованию Учителя: Сталин считал, что его любимый царь «недорезал до конца» мятежных бояр...

Дорезал! До того дорезал, до того довел Иван свою «селекцию топором», что остались вокруг трона одни жалкие молчальники, способные лишь к подковерной борьбе, забывшие навсегда, что такое достоинство, могущие лишь угодничать и предавать, предавать...

И наследники эти доведут страну до такого срама, такое разрушение государства устроят, что страшные Ивановы времена покажутся людям благодетельными. И уже в XVII веке кровавого царя будут звать «Благочестивым, Храбрым» и почтительно – «Грозным».

Но история, как говорил русский писатель, «памятливей людей». История запомнит – «Мучитель»...

Тайна Иоаннова сына

«Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваши погибнете».
(Первая книга Царств, 12 25)

«И как было во дни Ноя... ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как... пришел потоп и погубил всех».
(Евангелие от Луки, 17 26–27)

Умирая, царь Иоанн Васильевич оставил царство сыну своему Федору.

Понимал он, что немощный сын не в силах будет один удержать царский венец, и оставил он при нем могучих советчиков: родного брата его матери Никиту Романовича Юрьева (еще один шаг к престолу сделал род Романовых), шурина Федора, боярина Бориса Годунова, и первого в Думе по знатности рода князя Ивана Мстиславского. Просил помогать сыну и доблестного защитника Пскова – князя Ивана Шуйского, одного из немногих Шуйских, которых не уничтожил казнями и не изгнал опалами.

Другому сыну, Дмитрию, двухлетнему младенцу, он назначил в удел богатый город Углич и поручил последнему своему любимцу, Богдану Вельскому, охранять жизнь сына. Понимал грозный царь, что должно было случиться с царственным младенцем.

Уже в ночь после смерти Ивана началось шатание умов – кому присягать. Иные бояре вместе с Вельским заговорили о немощах убогого Федора и предложили целовать крест малолетнему Дмитрию. Но назначенные усопшим царем советчики Федора – «начальственнейшие бояре» – авторитетом своим ночной мятеж легко подавили и уже утром приставили стражу к вдовствующей царице Марии Нагой и ее младенцу. А потом из ворот кремлевских выехало множество саней, охраняемых стрельцами, – Марию с братьями и Дмитрием отправили в удел их, в Углич. Так что церемония целования креста Федору прошла с малыми происшествiями...

В отличие от отца и убитого им брата Ивана, новый царь «наружность имел не царственную». По сравнению с Грозным короткий и тучный Федор казался нелепым карликом. На уродливом теле торчала крупная голова с ястребиным носом Палеологов и слюнявым ртом – в постоянной, не к месту радостной улыбке. Он трудно передвигался, «скорбел ножками», как писал летописец, и страдал одышкой... И когда, волоча ноги, дыша с хриплым свистом, жалко улыбаясь, в нелепо сидящих на нем золотых одеждах и венце на трясущейся голове появлялся он в Думе, бояре старались опустить головы.

Впрочем, в Думе нового царя видели редко...

Детство несчастного Федора прошло в Александровой слободе – между кровавыми пытками, буйными пирами опричников и страстными отцовскими молитвами. На его глазах отец убил старшего брата и потом бродил бессонными ночами по дворцу... И в этой «карамазовской» семейке произошло то, что описано в великом романе: Федор вырос глубоко религиозным человеком и, говоря словами современника, «подходил более для пещеры и кельи, чем для трона».

Он просыпался в четыре часа утра. В опочивальню входил духовник с крестом для целования, и с этой минуты начиналась ежедневная непрерывная молитвенная жизнь царя: вносили икону святого, которого праздновали в тот день, царь становился на утреннюю молитву, потом шел поздороваться с возлюбленной супругой... Звонили к обедне. Отстояв службу, он шел

к трапезе, а затем следовал знаменитый полуденный сон, в который погружалось все Московское государство. Сон этот был обязательным для людей благонамеренных и религиозных... После – время идти к вечерне. Царь переходил в Благовещенский собор, соединенный с дворцом, стоял службу и усердно молился, окруженный ближайшими боярами, а там и ночь наступала, и молитва на сон грядущий...

«Начальственнейшие», стоявшие с ним в церкви, много думали о царских ночах, ибо Федор, женатый на красавице сестре Бориса Годунова, был пока бездетен. Это означало, что единственным наследником трона оставался сосланный ими в Углич младенец Дмитрий...

К делам государственным Федор никакого отношения иметь не хотел.

Нет, он не был слабоумным. У него просто был другой ум – ум юродивых, этих странных святых Древней Руси. Как-то, разговаривая со своим шурином, Борисом Годуновым, Федор вдруг сказал ему: «Когда это случится, тогда ты поймешь, что все суета и миг единый».

Через много лет, когда «это» случилось – Годунов стал царем, – он понял, о чем говорил Федор...

Летописи приписывали Федору пророчества. Когда хан напал на Москву и люди в ужасе наблюдали со стен Кремля за готовившимися к битве татарами, он оставался совершенно равнодушным и вдруг сказал: «Завтра ни одного татарина здесь не будет». Так и случилось – хан сам ушел от московских стен.

Но царство безвластного царя обещало великие сражения за власть между «начальственнейшими», ибо сразу составились две партии.

Партия «новых людей» была наследством преобразований времен Ивана. В нее входили бояре, заслужившие свое положение не знатностью рода, но милостями умершего грозного царя. Главным из них стал царский шурином Борис Годунов.

В Разрядной избе заботливо велись родословные: предки Годунова происходили по младшей линии от татарского мурзы, перешедшего в начале XVI века на службу к московскому князю и принявшего православие. Сам Годунов делал карьеру стремительно. С юности преуспевший в дворцовых интригах, он вовремя породнился с самым страшным человеком в царском дворце, Малютой Скуратовым, – женился на его дочери.

И другой брак обеспечил Годунову великое влияние – незадолго до смерти царя Ивана сестра Бориса, Ирина, набожная красавица «с голосом нежным, как свирель», вышла замуж за наследника московского трона Федора. Теперь Годунов стал неотлучным человеком в царских палатах.

Он с юности понял, что при дворе Грозного ум состоял в том, чтобы его не показывать, – надо было лишь выказывать исполнительность и преданность. Годунову выпала страшная честь – закрывать своим телом сына царя, когда Иван убивал его посохом, после чего Бориса долго не видели во дворце – оправлялся от полученных тяжелых ран. Услужливые бояре полагали, что царь вряд ли будет милостив к свидетелю своего зверства, и поторопились сделать донос на Бориса. Но великий царедворец Годунов рассчитал верно: царь в неминуемом раскаянии еще более приблизил его...

Предками Годунова был основан Ипатьевский монастырь в Костроме, откуда придет на царство династия Романовых. Сами Романовы, московские бояре, также пришедшие во власть лишь во времена Ивана Грозного, примыкали к партии «новых людей». Но самый могущественный из них, Никита Романович, дядя царя Федора, скончался уже в начале его царствования. Перед смертью он взял крестное целование у Бориса – опекать его семью, после чего многочисленные Романовы примкнули к Годунову. Так он возглавил партию «новых людей».

Входил в нее и Богдан Бельский – тоже родственник Малюты и, следовательно, Бориса. Личность знаменательная: бесстрашный, невиданной силы богатырь, участвовавший во многих кровавых битвах минувшего царствования. В последние годы жизни Ивана «неотлучный хранитель» царя Бельский даже ночевал в царской опочивальне. Мятежный и необузданный, он стал «заводчиком», когда бояре пытались устроить мятеж в пользу малолетнего Дмитрия. Но Годунову легко удалось образумить строптивого родственника: Дмитрию, сыну седьмой жены Ивана (великий грех перед церковью), нельзя править, коли Бог и царь дали им в Государя старшего в роде – Федора. Им ли, холопам, мешать изволению царскому и промыслу Божию? И Богдан Бельский в Углич с Нагими не отправился, но остался в Москве с Годуновым, предоставив младенца Дмитрия неминуемой его участи...

На Вельского и начала свое наступление другая партия – «добрых и сильных», как называл их князь Курбский, потомков властителей великих княжеств, завоеванных Москвой. Первым по знатности рода здесь был князь Иван Мстиславский, возглавлявший боярскую Думу, но он был уже стар, любил покой. Тон в партии задавали князья Шуйские – «старейшая братия» среди потомков Рюриковичей, так что главой «добрых и сильных» стал прославившийся под Псковом воевода Иван Петрович Шуйский. В партию входили и потомки прославленных в русской истории боярских и княжеских родов: Головины, Колычевы, Голицыны...

Наметив жертву, подготовили бунт. Двадцать тысяч горожан подступили к Кремлю и потребовали выдать Вельского, который «умертвил царя Ивана, а теперь хочет извести царя Федора». Годунов вступил в переговоры с разъяренной чернью. «Сладкоречивый муж», как назвал его летописец, смог уговорить толпу согласиться на высылку Вельского и разойтись.

Вельского отправили наместником в Новгород-Северский. Борис потерял сторонника, но в долгу не остался. Уже вскоре он слезно попросил защиты у царя и сестры, показал донос – дескать, на пиру у князя Ивана Мстиславского задумали его, Годунова, убить. Федор, не желавший омрачать гневом покой души, отдал расследование в руки самого Годунова, и знатнейший боярин Мстиславский был пострижен в дальний монастырь, где и умер.

Шуйские тотчас приготовили достойный ответ. Митрополит московский Дионисий, великий книжник, конечно же, был на стороне «старины». Шуйские уговорили его действовать – вместе с богатейшими московскими купцами и высшим духовенством явиться во дворец и передать царю «моление народное». В нем говорилось, как обеспокоен народ, что у царя нет потомства и грозит пресечься на престоле великая Рюрикова династия. Оттого и молят люди Федора сослать» неплодную супругу в монастырь, как поступил дед его Василий с бесчадной Соломонидой, а в жены взять молодую боярышню – внучку погибавшего в ссылке Ивана Мстиславского.

Так они придумали избавиться от сестры Годунова. Но у Бориса уже была целая армия доносчиков, и о заговорах он узнавал вовремя. Ему удалось усюветить митрополита разумными доводами: Ирина-де «находится в летах цветущих» и вполне может еще родить наследника.

Утихомирив митрополита, Борис тотчас сообщил царю, как его задумали разлучить с любимой женой. Вечно улыбающийся Федор в первый раз в жизни пришел в гнев – он обожал Ирину. Дионисий понял, что проиграл, и поспешил во дворец – покаяться пред царем, и Федор его простил.

Но царь не посмеет возражать Годунову, когда тот распорядится прогнать Дионисия с митрополичьего престола и заменить на ростовского иерарха Иова. Так у Годунова появится могущественный сторонник, всем ему обязанный, которому не раз придется доказывать в грозных обстоятельствах свою верность.

Главных заговорщиков, Шуйских, тогда не тронули, и показалось им, что пронесло. Они не знали Бориса...

Страдавший от всех этих ссор Федор потребовал мира меж «начальственнейшими», и Годунов с готовностью поцеловал крест – обещал забыть прежние обиды, не мстить Шуйским... И тут же потерявшие осторожность Шуйские получили от Бориса смертельный удар: их слуга составил нужный донос, и достойный зять Малюты Скуратова немедля отправил прославленного воеводу в темницу. Там Иван Петрович Шуйский, знатнейший боярин, национальный герой, был попросту задушен. Естественно, было объявлено, что злополучный князь «в раскаянии от вин своих» сам удавился... Удушен был и двоюродный брат его Андрей Шуйский, внук того самого Шуйского, которого когда-то убили псари молодого Ивана Грозного.

Итак, все кончилось обычным финалом – из всех «начальственнейших» остался один Годунов.

Ему было чуть за тридцать, когда он фактически стал неограниченным властителем при беспомощном царе. Впоследствии Федор дал ему беспрецедентный сан Правителя (и это при живом, находящемся в зрелых годах Государе!). Постановлениями боярской Думы, рабски подчинявшейся всемогущему временщику, Годунов получил право сношаться с иностранными государями, подписывать указы и грамоты...

Впрочем, успехи Правителя были неоспоримы. После казней и войн Ивана, при жалком его сыне, Московия впервые наслаждалась покоем. Из темниц были выпущены уцелевшие жертвы Грозного, топор и плаха после расправ с Шуйскими отдыхали. Везло Годунову и в делах военных – великий воин Баторий, создавший самую мощную армию в Европе и готовившийся после смерти Грозного напасть на Московию, внезапно умер. Так удалось без крови покончить со смертельной угрозой – недаром Карамзин писал: «Если бы жизнь и гений Батория не угасли, то слава России могла померкнуть уже в первом десятилетии нового века».

Более того, теперь Годунов мог рассчитывать на польскую корону для Федора – вечно мятежный Сейм ценил слабых королей, при которых ясновельможные паны могли оставаться независимыми. Недаром был слух, что великого Батория они попросту отравили... Годунов, зная эти настроения, уже считал дело решенным... и поскардничал. Русские посланники прибыли на Сейм с пустыми руками, и корону паны вручили тому, кто смог дать большие деньги. Королем стал шведский принц Сигизмунд.

С новым королем Сигизмундом Третьим Годунову удалось заключить выгодный мир. Польский посланец Лев Сапега, канцлер литовский, после многих препирательств подписал двадцатилетнее перемирие с Московией.

Во время заключения мира и было положено начало тому, что в дальнейшем станет причиной гибели Бориса. Возненавидев Годунова, переигравшего его по всем статьям мирного договора, Сапега встретился в Москве с остатками партии родовитых московских вельмож.

В этих разговорах, вероятно, и родилась некая опасная идея...

Удачными и, главное, кратковременными были войны Годунова. После двух походов в Швецию ему удалось отвоевать несколько городков, потерянных Грозным, и заключить выгодный мир. И очередное нашествие крымского хана закончилось бесславным бегством татар и брошенными обозами с богатой добычей. Во всем ему было счастье: Грузия, теснимая врагами, предалась под власть и защиту московского царя, и без того безграничная Московия пришла и на Кавказ.

Годунов добился и великого триумфа – на Руси появился первый патриарх.

После падения Царьграда, еще при прадеде Федора, Иване Третьем, вместе с идеей вселенской миссии Москвы – третьего Рима – возникла и мечта о русском патриаршестве, о «патриаршем великом чине».

Патриаршество в Московии не только подтвердило бы великий авторитет русской церкви в православном мире. Оно должно было положить конец вечным попыткам константинопольских патриархов вмешиваться в дела русских епархий, назначать митрополитов.

Впрочем, все трения между спесивым Константинополем и фактически автокефальной церковью Руси сглаживались щедрыми дарами, которые привозили нищим восточным патриархам послы Государства Московского. Когда Иван Четвертый стал первым Государем всея Руси, константинопольский патриарх тотчас написал ему, что его венчание, совершенное митрополитом Макарием, «некрепко», ибо по закону венчать на царство мог только он, патриарх. Спор привычно разрешился отправкой в Константинополь архимандрита Феодорита с богатыми дарами из царской сокровищницы. Феодорит вернулся с грамотой – Ивану «зваться царем и Государем православных христиан всей Вселенной... законно и благочестно».

Но Годунов знал, что отсутствие патриарха на церемонии венчания московских царей порождает печальные размышления у людей образованных, помнивших, что византийских владык благословлял на царство патриарх. И, раздумывая о будущем, правитель понимал, как важен будет на Руси свой патриарх, коли придется благословлять на царство новую династию...

И вот – словно Божий подарок – впервые за всю историю русской церкви в Московию прибыл один из восточных патриархов – Иоаким Антиохийский.

Годунов обставил его приезд великими почестями. В золотых царских санях волоком (был конец июля) Иоакима привезли в Кремль. В роскошной Подписной палате его принял царь Федор, окруженный боярами. Нищего патриарха, терпевшего на родине унижения от завоевателей-турок, осыпали дарами.

Начались переговоры Иоакима с правителем – «ближним боярином, конюшим и воеводой, наместником Казанским и Астраханским» – о введении патриаршества на Руси.

Но бывший тогда митрополитом московским враг Годунова Дионисий понимал, что в случае успеха переговоров патриаршества ему не видать.

И всеми силами старался оттолкнуть Иоакима – «никакого привета патриарху не делал». Когда же патриарха привели в Успенский собор, Дионисий, окруженный синклитом в сверкавших золотом парчовых ризах, первым благословил оторопевшего Иоакима, который лишь сказал печально: «Негоже это... митрополиту следовало от меня благословение получить...»

Годунов, следуя традиции, «подсластил пилюлю» богатыми подношениями. Иоаким отбыл на родину, обещав правителю посоветоваться с остальными Святейшими о патриаршестве в Московском государстве.

А потом в Московию прибыл сам патриарх константинопольский Иеремия. Его встречал (уже с великим почетом) новый, поставленный Годуновым митрополит Иов.

И – свершилось! Сумел Годунов уговорить Иеремию!

26 января 1598 года в седьмом часу утра начался колокольный благовест по всей Москве.

Посреди Успенского собора на возвышении были поставлены три сиденья. На позолоченном, обитом лазоревым бархатом, сидел царь Федор, справа от него – патриарх константинопольский Иеремия, а третий стул, пока свободный, ждал первого русского патриарха Иова.

Иов стоял у помоста, где был изображен орел с раскинутыми крыльями и горели двенадцать свечей в золотых подсвечниках. Иеремия благословил новоявленного патриарха: «Благодать Пресвятого Духа нашим смирением имеет тебя патриархом богоспасаемого и царствующего града Москвы и всей великой Руси...»

А потом был пир в царских палатах. Сам царь вышел встречать патриархов в сени и принял от них благословение. Греки были поражены «богатой трапезой, где все до единого сосуда на столе были золотые». И певчие в драгоценных одеяниях пели духовные стихи...

В мае греки с почетом уезжали из Москвы, увозя множество даров – золотые и серебряные кубки, меха, парчу и украшенную драгоценными камнями митру. Иеремия оставил свою подпись на «Уложенной грамоте» об учреждении патриаршества на Руси.

Борису и его сторонникам, участвовавшим в переговорах с Иеремией, казалось тогда, что умом, хитростью и богатыми дарами добились они выгоды в делах своих. И только потом, когда патриаршество окажется последней силой, к которой обратится власть, пытаясь удержать государство, низвергающееся в Смуту, поймут люди промысел Божий, давший стране великую духовную опору накануне гибельных потрясений...

Успешный и всевластный правитель, Годунов позволял себе быть милостивым. Когда-то он отправил в ссылку двух братьев погубленного им Андрея Шуйского – Василия и Дмитрия. Василию шел уже пятый десяток, был он малорослый, подслеповатый, незаметный на фоне блестящих Шуйских, сгинувших в темницах. Годунов, зная холопий характер бояр, их вечную готовность поменять опалу на угодливую службу вчерашнему обидчику, вернул этого жалкого человека в Москву, тем более что женат Василий был на княгине Репниной – родственнице Романовых, которых Борис по-прежнему числил в своих союзниках. (Дмитрия Годунов женил на своей родственнице и дал ему сан боярина.)

Василий со всем пылом начал прислуживать Годунову и был назначен воеводой в Новгород... Не понял завороченный собственными успехами Борис характер незаметного боярина, не знал, какой ад был в душе Василия, какая ненависть к выскочке, погубившему их семью, заставившему прислуживать потомков Рюрика ему, безродному боярину. Забыл Борис главное правило грозного царя Ивана: врага можно простить, но сначала его надо убить.

Не понял он и Романовых, которые после смерти Никиты Романовича считали себя обиженными, несправедливо отодвинутыми от власти забывшим крестное целование Борисом...

До 1591 года его правление протекало безоблачно и благодатно. Но неумолимая угроза должна была терзать всемогущего правителя, ибо топор уже висел над ним...

Федор по-прежнему был бездетен, а между тем царевич Дмитрий подрастал в Угличе. В Москву к Годунову приходило множество доносов: как семилетний отрок по наущению родственников своих, Нагих, хвастается, что, когда царем будет, по заслугам расправится с теми, кто выслал их в Углич. И достойный сын Ивана Грозного показывал, как расправится: вылепил из снега людей и, раздав им имена тех, кто сослал его семью, беспощадно порубил их саблями...

В то время «начальственнейшие», отправившие Нагих в ссылку, уже гнили на кладбищах или сами были сосланы. Оставался один Годунов. Он должен был стать первой жертвой, если умрет бездетным Федор... А надежд на рождение ребенка от слабосильного царя становилось все меньше, так что у Годунова оставались две возможности: ждать, когда Федор умрет, и самому принять смерть от руки мальчика или начать действовать. Тем более что честолюбивого Бориса должна была греть мысль: если Федор умрет бездетным, а Дмитрия к тому времени уже не будет, престол станет свободным. Свободным для достойнейшего... А кто может поспорить с ним?

Мог ли этот деятельнейший человек не избрать второй путь? Что же касается жестокости, то у человека, сформировавшегося при дворе царя-убийцы Ивана, зятя палача Малюты Скуратова, государственного деятеля, столько раз беспощадно расправлявшегося со всеми соперниками, были свои представления о зле.

Вот почему англичанин Флетчер, побывавший в Москве в дни царствования Федора, с такой легкостью предсказал: «Дмитрий будет убит». Флетчер понимал неотвратимость его судьбы, ибо в те жестокие времена мальчик был обречен на гибель и на Руси, и в Англии, и во Франции – где бы он ни родился. Дмитрий не мог жить, ибо одним своим дыханием угрожал сильным мира сего.

В мае 1591 года из Углича пришло ожидаемое страшное известие – погиб царевич Дмитрий. По слухам, дело обстояло так: убийство задумали приказные люди, присланные Годуновым наблюдать за хозяйством Нагих: дьяк Михайло Битяговский с сыном, его племянник Никита Качалов, а также сын няньки царевича Осип Волохов.

В тот майский день нянька Василиса Волохова, несмотря на противление кормилицы Ирины Ждановой, повела Дмитрия во двор. Убийцы ждали их. Волохов попросил царевича показать ему новое ожерелье и, когда мальчик поднял голову, ударил его в горло ножом. Но рана оказалась легкой – Дмитрий упал, нянька бросилась ему на грудь, закрыла его и стала кричать. Волохов побежал прочь в страхе, но Битяговский-сын и Качалов оторвали Василису от мальчика и зарезали царевича.

Было время священного в Московии послеобеденного сна. Родственники царицы почивали, но сторож церкви Спаса увидел все с колокольни и ударил в набат. Собравшаяся на звон колокола толпа бросилась на убийц. Все они были растерзаны – Битяговский, и с ним еще 11 человек...

Таковы были слухи из Углича. А во всполошившейся Москве все недруги Бориса, пересказывая эту историю, твердили в один голос: он убийца! И тогда Годунов сделал беспроигрышный ход – отрядил в Углич следственную комиссию. Вместе с митрополитом Геласием и окольным Андреем Клешниным он включил в ее состав того, кто должен был казаться беспристрастнейшим в глазах Москвы, – князя Василия Шуйского, брата злейших своих врагов. Теперь стало понятно, зачем Борис возвратил его из ссылки...

В Историко-архивном институте я изучал следственное дело, которое привез в Москву из Углича Василий Шуйский. По делу выходило, что царевича Дмитрия зарезал... сам царевич Дмитрий!

Как объявил князь Шуйский, у Дмитрия была падучая болезнь, которой он занемог как раз накануне происшествия. «В субботу после обедни вышел он гулять во двор с нянькой, кормилицей и товарищами... и начал играть с ними в тычку (в ножички – Э.Р.)... и в припадке черного недуга сам проткнул себе горло ножом, долго бился о землю и скончался... Узнав о несчастье, царица прибежала и начала бить няньку, твердя, что его зарезали Данило Битяговский со товарищи, из которых никого здесь не было». Но царица и пьяный брат ее Михаил Нагой велели умертвить их, и собравшаяся толпа их послушалась...

Следствие добилось того, что все, видевшие происшествие своими глазами – мальчики, нянька и кормилица, – дружно подтвердили невероятный оборот дела: сам себя зарезал... Только Михаил Нагой, объявленный следствием пьяным, упорно твердил об убийстве.

На совещаниях Думы и Священного собора во главе с патриархом Иовом выводы следствия были признаны правильными. Нагие были обвинены в подстрекательстве к мятежу и убийстве приказных людей и отправлены в ссылку. Вдовствующая царица Мария, мать Дмитрия, была пострижена в дальний монастырь и стала монахиней Марфой. Разослали по ссылкам и мятежных угличан, претерпел даже... колокол, в который ударил сторож! Подстрекателю-колоколу вырвали «язык», оторвали «уши» и выслали его из Углича в Тобольск.

Однако более коварного заключения Шуйский привезти не мог. Годунов конечно же ожидал, что тот сумеет найти «козла отпущения», не связанного с Годуновым, ибо убийство не может быть без убийцы. Мысль о том, что мальчик зарезал сам себя, выглядела дикой в глазах народа и неминуемо должна была порождать единственно возможный вывод: это Годунов послал убийц, это он зарезал...

Таков был подарок князя. Но Годунов не сумел оценить опасность «пороховой бочки», он продолжал верить в свое могущество, уже сулившее ему царство.

Между тем по возвращении князя Василия Ивановича в Москве стало ходить множество слухов. Рассказывали о широкой ране на теле Дмитрия, которую ребенок никак не мог нанести себе сам. Так что, видимо, хитроумный князь оглашал одно, а шептал совсем другое...

В то время Москву в очередной раз постиг страшный пожар. Множество людей осталось без крова, но правитель помог горожанам отстроить дома заново. И тотчас возник слух – город поджог Годунов, чтобы отвлечь умы от убийства невинного отрока.

Очередное нашествие крымского хана закончилось позорным бегством татар. И снова слух: сам Годунов позвал хана, чтобы народ забыл о Дмитрии.

Его дочь, красавица Ксения, готовилась выйти замуж за датского принца. Мечта Ивана Грозного породниться с европейскими дворами уже становилась явью, когда внезапно умер жених... И новый, уже безумный слух Годунов сам убил жениха собственной дочери.

У царя Федора наконец-то родилась дочь. И сразу же слух: родился сын, которого Борис подменил девочкой. Когда же дочь Федора умерла, естественно, появляется слух: Годунов извел ее.

Смута начиналась в людских умах... Получавший доносы об этих слухах Годунов должен был понять: без тайных боярских денег, без постоянного подстрекательства – такого не бывает. Значит, есть враги, которые все время действуют... Но, освобожденный от страха перед Дмитрием и зачарованный своим могуществом, правитель чувствовал себя неуязвимым. А это опасное чувство...

7 января 1598 года в час пополуночи в своей опочивальне скончался царь Федор. Уже в наше время при исследовании его останков обнаружат повышенное содержание ртути. Возможно, всесильному боярину надоело ждать...

Умер не просто очередной Государь – умер последний из Рюриковичей на московском престоле. Вместе с ним в могилу сошла великая династия, основавшая Московию. «Порвалась цепь времен...» Люди не знали, как теперь жить без Хозяина, кто защитит их, кто посмеет взять землю, принадлежащую московским Государям.

Смута в умах нарастала. Все понимали: на царство придет Борис. И должны были бы радоваться, ибо правление его при Федоре было благодатным в сравнении с ужасным прошлым. Но люди страшились – Годунов не только не был родовитым боярином, за ним не только не стояло мистическое «природное» право на царство, но он был еще и убийцей. «Природный» царь мог убивать и убийцей при этом не быть – ведь царь был Богом. Когда Иван Васильевич сажал на кол боярина, то, умирая в жестоких мучениях, тот не забывал славить и желать благоденствия мучителю, потому что наказание царя – Божье наказание (даже когда он убивает собственного сына). С кровавой помощью Ивана Грозного страна навсегда усвоила его закон: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить».

В глазах народа Годунов был не просто убийцей, но самым грешным из убийц, ибо руки его были обагрены священной кровью «природного» царевича. И оттого его приход к власти должен был навлечь неминуемый гнев Божий на Московское царство. Недаром один из трех участников Угличской следственной комиссии Андрей Клешнин тотчас после избрания Годунова постригся в монастырь – стал схимником...

Вот о чем шептались люди. Так что перед Годуновым стояла почти невыполнимая задача. Но он был великим правителем и все продумал лучшим образом.

В Московском царстве не было никакого закона о престолонаследии, что вполне соответствовало принципам Богоцарей. Единственным законом для них была их собственная воля. Иван Третий сформулировал это так: «Мне обычай не важен. Кому хочу, тому и отдам свое царство...»

Согласно воле умершего Федора, которую объявил патриарх Иов, престол передавался его вдове Ирине. Это было понятно народу. И люди целовали ей крест.

Так свершился первый этап задуманного Борисом: на трон села его сестра. Теперь возникало какое-то подобие преемственности – от Годуновой престол мог перейти к Годунову...

На девятый день Ирина отказалась от трона – ушла в монастырь. Не переставая рыдать после смерти Федора, она твердила: «Я царица бесчадная, я погубила корень царский».

Страной пока правят боярская Дума и патриарх Иов, всем обязанный Годунову и отлично понимающий: лучше Бориса правителя стране сейчас не найти. Дума тоже на стороне Бориса – бояре знают, какой дождь царских милостей посыплется на них после его избрания...

Сам же Годунов пока затворяется с безутешной сестрой в Новодевичьем монастыре, предоставив патриарху и Думе сыграть второй акт представления под названием «Моление о царе».

Иов и Дума собирают Земский собор. Другие кандидатуры на царство, вроде призрака Ивановых забав татарина Симеона Бекбулатовича, кажутся просто смешными по сравнению с мудрым правителем Годуновым. И Земский собор единогласно постановляет: призвать Бориса на царство.

Он неумолимо отказывается от царского венца: «Испуган я сиянием священной и великой власти... Не думайте, чтоб я даже помыслил о такой превысочайшей степени – быть великим и праведным царем...» И это не только игра. В его душе тоже – страх и смута. Он не чувствует «права на царство» и хочет, чтобы его просили не раз и крепко.

Впереди – апофеоз задуманного им представления.

Начинается великое моление народа о царе. Из кремлевских соборов вынесены священные иконы, не раз спасавшие Русь. Впереди процессии идет патриарх, за ним – высшее духовенство, следом – могущественные дьяки, за ними идут войска, за войсками – народ московский. Все движутся к Новодевичьему монастырю – молить, звать Бориса на царство. По знаку патриарха начинается «план неслыханный» – люди, вопя, падают на землю, женщины бросают детей своих оземь – согласись, жестокосердный!

Патриарх и бояре входят в келью вдовствующей царицы – в священных одеждах, с образами. Стоя на коленях, они умоляют ее отдать брата – заставить его сесть на трон.

И только тогда он решается на финал. Ирина объявляет: «Ради Бога... ради святых чудотворных образов, ради вопля вашего рыдательного... отдаю вам своего единокровного брата. Да будет он вам Государем».

Представление окончилось.

Правда, остались и глухие известия о том, что творилось за его кулисами. Сначала «добрые и сильные» просили Бориса согласиться с ограничениями его власти и целовать на том крест. Но он ловко уклонился. Что же касается народного «вопля рыдательного», то, как писал современник: «Народ неволею был пригнан, а не желающих идти велено было приставам бить без милости. Пристава же понуждали их громко кричать и слезы лить...»

Так Годунов стал царем Борисом. Но в сознании народном он все равно «не по чину взял». Общество было воспитано московскими царями в великом неуважении к собственному мнению и в великом уважении к «природным правам» и оттого не могло признать прав избранного им самим царя.

В сознании людей Московского царства царь выборный – «царь с маленькой буквы», не «природный», не настоящий. Об этом писал еще царь Иван польскому королю Баторию...

Так он явился – первый самозванец. Это был Земским собором и московским народом поставленный на царство Борис Федорович Годунов.

Смута началась.

При вступлении на престол в порыве чувств у Бориса вырвались слова, невозможные для «природного» царя: «Отче великий патриарх! Клянусь, что в моем царстве не будет ни бедного, ни нищего!» И, рванув на груди вышитую сорочку, царь прокричал: «Последнюю рубашку разделю со всеми!»

Слова эти люди слушали с великим смущением, ибо приучены были к иному: «природный» царь должен не отдавать – забирать последнюю рубашку у подданных...

Он обезумел от счастья – вчерашний потомок жалкого рода, а ныне владетель величайшего царства.

Благотельное правление Бориса продолжалось и в его царствование. Правда, голод был, но когда же не было голода в хлебной нашей стране? Даже в XX веке – и при последнем царе, и при большевиках – будет голод и вымрут миллионы...

Тогда же, в начале века XVII, голод случился, невиданный даже на Руси. Как расскажет летописец, родители пожирали детей, на рынках продавалось человеческое мясо, и люди боялись останавливаться на постоянных дворах – пропадали. Годунов раздавал деньги и даровой хлеб москвичам, но кончилось это драмой: толпы народа пришли в Москву со всех голодных областей. Войско защищало столицу от обезумевших людей...

И все-таки голод победили. Но народ говорил: «Нет счастья с царем Иродом». А когда вдруг умерла вдовствующая царица Ирина, народ повторил: «Это он... царь Ирод!»

А Борис все пытался устроить справедливое царство: строгостью и казнями начал бороться со взяточниками. Засылал в приказы тайных агентов, и те доносили о взятках. Виновных беспощадно наказывали кнутом, забирали имущество...

Но это была его ошибка. Взяточничество – не порок, но суть азиатской государственной системы. Еще восхищенный Генрих Штаден записал самую частую присказку людей в тогдашних приказах: «Рука руку моет» – круговая порука связывала приказных. И наступление на «святая святых» русского чиновничества вызвало лишь озлобление главной опоры Бориса – приказных людей, а взяточничество, естественно, процветало по-прежнему. Просто придумывали новые способы передачи денег – свали на Пасху вместе с крашеными яйцами или оставляли за иконами...

Борис воевал и с беспорядком – он ненавидел «всякое шатание», инстинктивно чувствуя великую угрозу со стороны Вольности. Он запретил метания нищих безземельных пахарей, пользующихся последней отдушиной – уходить от владельцев земель в Юрьев день. Еще в 1592 году он окончательно отменил это вековое право, и крестьяне стали собственностью хозяев земли. Теперь у них, прикрепленных к земле, оставалось последнее – бежать в степь, пополняя ряды вольных людей... И все чаще в грамотах писалось: такой-то «в бегах збрел».

Русская степь – бескрайняя, сухая, жаркая трава, где только скифские истуканы и остовы лошадей... Здесь, на границах, по берегам рек Волги, Дона, Днепра, Терека обитали казаки. В тюркских языках слово это означало «вольный искатель приключений, бродяга».

Казаками были обретшие свободу, бежавшие от хозяев вчерашние холопы и крестьяне, а также люди, нарушившие закон. Они добровольно несли сторожевую службу на границах Московии. Их атаманы наезжали в Москву – сообщали царям о передвижениях в степях татарских войск. Они гордо звали себя не «холопами царя», как все население Московии, но «воль-

ными казаками», служившими царю за «землю и воду». Не имея возможности смирить казаков, прежние власти «жаловали» их – посылали деньги, свинец, порох, вино и продовольствие.

Но Годунов начал борьбу с этой вольницей. Казацкой охране границ предпочел он укрепленные крепости, которые и начал возводить на окраинах Московии. Он запретил пускать казаков в приграничные города – велел ловить и сажать их, преследовал тех, кто посылал казакам «жалование». Так в борьбе с русским беспорядком формировал Борис армию своих ненавистников.

Но главными врагами оставались затаившиеся знатные бояре. Он знал, что они ненавидят его, но считал: пусть ненавидят, лишь бы боялись.

Он начал приглашать в страну иностранцев, отправил учиться за границу русских юношей (правда, никто из них оттуда не вернулся). Его послы появились при французском дворе, пугая и восхищая парижан азиатскими одеждами и высокими шапками.

Внешние дела по-прежнему шли хорошо. Два самых опасных соседа – Польша и Швеция – вступили в войну за шведское наследство, ибо у польского короля Сигизмунда Третьего, являвшегося и наследным шведским принцем, отнял принадлежащий ему престол его дядя, Карл Девятый. И Борис наблюдал, как изнуряли друг друга в кровавых сражениях вчерашние враги Московии.

В Сибири он продолжил великие завоевания, остановившиеся было после гибели Ермака. Азиатская Скифия – бескрайние сибирские леса и равнины – стала частью Московии. Теперь не доскакать до границ его царства...

Но скоро царь Борис начал странно меняться. Нежданно последовали жестокие расправы – пострадали вчерашние союзники, Романовы. При обыске в романовских палатах, в подвале, среди кованых дедовских сундуков, оружия и драгоценной конской упряжи были отысканы мешки с ядовитыми кореньями. Мешки привезли на Патриарший двор, где уже была собрана толпа. Туда же привели Романовых – Федора Никитича с братьями – и обвинили в злодействе: желании извести Государя. Бояре «как звери кричали на них», и Романовы не могли ничего ответить из-за «многонародного шума»...

Это была обычная провокация зятя Малюты, при помощи которой он и прежде расправлялся с врагами. Но то, что пришлось собирать толпу, показало, как неуверен стал он в себе, как жаждет поддержки народного мнения. Видно, многое услышал он от своих доносчиков...

В июне 1601 года боярская Дума вынесла приговор Романовым. На телегах повезли в монастыри и темницы родственников вчерашних царей. Правда, Борис вдогонку писал требовательно, чтобы «хорошо их кормили и железа на них не накладывали». Но ретивые его слуги понимали разницу между тем, что царь приказывает, и тем, чего он хочет. Они усердно заковали в цепи и не кормили опальных, так что из всех сосланных Романовых уцелели только двое: осанистый боярин Федор, постриженный в монастырь под именем Филарета, и Иван.

В Сийский монастырь, где заточен был Филарет, не пускали теперь даже богомольцев. Дочь Филарета и сын его Михаил были сосланы на Белое озеро, жена – в Заонежские погосты. Невольный инок тосковал о жене и детях и молил Бога о конце их бедственной жизни. Через три года Филарета посвятили в иеромонахи, удалив тем самым еще более от мира...

С сына зачехнувшего в монастыре Ивана Мстиславского – князя Федора – и с Василия Шуйского было взято обещание не жениться, чтобы не иметь потомства.

В ссылки отправили родственников и друзей Романовых – князей Черкасских и Сицких, Репниных и Карповых.

Внезапные преследования, которым вдруг подверглись вчерашние сторонники Бориса, историки назовут «необоснованными». Мы же усомнимся. Слишком холоден и рассудителен Борис, маниакальной подозрительности царя Ивана в нем не заметно. Скорее всего, зять Малюты Скуратова, создавший несравненный аппарат доносчиков, что-то узнал...

Именно во время расправы над Романовыми произошло некое незначительное событие, которое тем не менее перевернет историю России, – из Чудова монастыря, находящегося на территории Кремля, бежал монах.

До пострижения жил он в боярских палатах Романовых и князей Черкасских, был у них в услужении. В миру звался Юрием Отрепьевым, в монастыре принял имя Григория. Видимо, был он блестяще образован, ибо Чудов монастырь с XIV века был главным местом переписки богословских книг, а Григорий настолько выделялся в этом центре книжной премудрости, что сам патриарх Иов взял его к себе в келью. Вместе с патриархом посещал монах царский дворец.

И вдруг молодой инок будто обезумел – начал говорить, что скоро станет... царем на Москве!

Доносительство, отменно налаженное царем Борисом, тотчас сработало: ростовский митрополит (и, видимо, не он один) донес. Царь повелел схватить монаха и отправить под стражей в дальний монастырь, откуда даже сосланные вельможи не часто возвращались. В монастырской темнице должен был сгнить молодой монах...

Но происходит второе, совершенно необъяснимое безумие. Приказ царя на Руси – это повеление Богочеловека. И приказ этот... не был исполнен! Дьяк Смирный-Васильев «забыл про приказ царя!» Как напишет изумленный летописец: «Такое только дьявольским научением могло быть». Не выполнить приказ – это и значит обезуметь, ибо человек, осмелившийся на такое, сознательно обрекал себя на неминуемую смерть (что и произойдет впоследствии с несчастным дьяком).

Мы еще вернемся к причинам всех этих безумий. А пока монах Григорий преспокойно покинул гостеприимный Чудов монастырь. Осталась знаменитая челобитная монаха Варлаама Яицкого, где он описал все дальнейшие приключения Отрепьева.

Сам Варлаам шел из Москвы на богомолье. В Москве на Варварке нагнал его молодой монах, назвавшийся Григорием Отрепьевым, и вступил с ним в разговор. Григорий словоохотливо рассказал Варлааму свою жизнь: был он вхож к самому патриарху, тот ценил его, брал с собой в Думу, и вошел Григорий в великую славу. Но постыла ему стала слава и противна сама мысль о мирском почитании, и оттого решил он съехать с Москвы в какой-нибудь дальний монастырь.

– Хочу в Киев, в Печерский монастырь, там многие святые старцы души свои спасли.

– Но монастырь Печерский и Киев теперь за рубежами русской земли, – возразил Варлаам, – идти туда опасно.

– Ничего, – успокоил его Отрепьев, – Государь наш взял мир с Литвой на двадцать два года, и теперь никаких застав там нет...

Договорились сойтись завтра в Иконном ряду. С Отрепьевым был еще один монах, Мисаил, которого, как пишет Варлаам, он «знал еще у князя Шуйского».

Итак, оказалось, что все трое путешественников принадлежат к окружению Романовых – Шуйских, на которых и обрушились в это время будто бы необоснованные преследования царя Бориса.

В Новгород-Северском монастыре монахи нашли провожатого (или он ждал их?), который всю троицу благополучно перевел через границу. Они добрались до Киева, а оттуда пошли к князю Константину Острожскому в столицу его владений, город Острог.

Необозримы были владения князя Константина, страстного защитника православной веры в Речи Посполитой. Тридцать пять городов и местечек на Волыни и Киевщине, шестьсот православных церквей и множество монастырей находились в этой княжеской державе. Всякий, кто ненавидел «латинскую ересь», находил здесь прием. Великое хлебосольство и легендарный аппетит князя с благоговением описаны современниками: он «мог съесть за завтраком поросенка, гуся, кусок говядины, жареного каплуна и громадный сыр, запив все это восемью литрами меда... а после с нетерпением ждал обеда».

В Загоровской монастырской библиотеке осталась богословская книга с надписью: «Пожалована князем Константином Острожским в августе 1602 года монахам Григорию, Варлааму и Мисаилу».

И чьей-то рукой добавлено впоследствии: «Монах Григорий и есть царевич Дмитрий».

Восставший из могилы

Сначала монахи жили в Троицко-Дерманском монастыре, куда их отправил гостеприимный Константин. Но Отрепьев вскоре исчез из монастыря. Как напишет впоследствии в своей челобитной Варлаам, Григорий не просто ушел – «он скинул с себя монашеское платье и в Гоще начал учиться по-латыни и по-польски». Варлаам даже пожаловался князю, потребовал вернуть Григория и «сделать его по-старому чернецом», но дворовые люди князя отвечали ему: «Здесь земля вольная, кто в какой вере хочет, тот в такой и живет». Слова, непостижимые для московского монаха!

Бывший инок, а теперь расстрига Отрепьев зимовал в Гоще, но теплой весной после Светлого Воскресенья сбежал и оттуда. Стало известно, что ушел он к запорожским казакам и учился у них военному делу, овладел искусством пушечной стрельбы... А потом вернулся в пределы Речи Посполитой и стал служить у Вишневецких.

Буйный род Вишневецких происходил от литовского князя Ольгерда Гедиминовича. По обеим сторонам Днепра находились их замки и владения, и служили эти вольнолюбивые рыцари то московским царям, то польским королям.

Один из Вишневецких, Дмитрий Иванович, стал казачьим вождем, грозой татар и турок, потом перебежал к Ивану Грозному, но конечно же не смог прижиться при дворе, где князей считали царскими холопами. И ушел престарелый воевода – решил завоевать Молдавию, но был взят в плен турками и зверски убит в Константинополе, а казаки слагали песни, прославлявшие бесстрашного атамана... Так что не случайно маршрут Григория лежал от запорожских казаков к Вишневецким.

Вчерашний монах направился в Брагин – столицу владений князя Адама. Живя на границе Литвы и Руси, Адам Вишневецкий находился в постоянных спорах с московскими царями по поводу своих земель. Споры эти оканчивались кровью: то Вишневецкий захватывал земли у Государя, то он у Вишневецкого. И душой князь Адам как бы тоже существовал на границе – полурусский-полуполяк, питомец иезуитов, он был... ревнителем православия!

У князя Адама монах Григорий скромно служил до той поры, пока опасно не заболел. Ему грозила смерть. И тогда он открылся Вишневецкому, что он не кто иной, как спасенный сын царя Ивана Грозного – Дмитрий, а в доказательство показал дорогой крест, возложенный на него при рождении князем Иваном Мстиславским, тем самым, которого потом сгноил в монастыре Годунов. Знавший толк в драгоценностях князь был поражен – так великолепен был этот воистину царский крест.

Весть о «спасшемся царевиче» моментально распространилась. К изумлению князя Адама, в Брагин начали стекаться русские люди со всей округи. Все они радостно признавали «Дмитрия», хотя никто из них в Угличе не был и царевича никогда не видел.

Слух быстро достиг Москвы. Вскоре в Брагин прискакали посланцы Годунова – царь требовал немедленной выдачи «Дмитрия», а в награду обещал на выгодных условиях решить вечные земельные споры с Вишневецким.

Видимо, князю показались подозрительными и такая щедрость, и явная обеспокоенность царя – ведь речь шла всего лишь о жалком самозванце. Вишневецкий медлил с ответом, и, будто подтверждая его подозрения, последовали грозные «предупреждения» от русского царя – его войска разорили набегами владения князя Адама.

Вишневецкий понял: в Москве к его вчерашнему слуге относятся весьма серьезно. Он тотчас отправил письмо в Краков Великому канцлеру Замойскому, где подробно изложил (со слов «Дмитрия») обстоятельства чудесного спасения царевича от злодеев в Угличе. Оказывается, лекарь царевича проведаль, что мальчика хотят убить, и подменил его другим ребенком, который и пал жертвой злодеев. Дмитрия же увезли из Углича, долго прятали, а теперь он явился в Литву, чтобы собрать людей и отвоевать свое царство.

В Кракове ко всем этим фантастическим слухам отнеслись с холодным изумлением. Никто не захотел всерьез разбираться с каким-то лжецом, рассердившим могущественного русского царя, с которым у Речи Посполитой был заключен крепкий мир.

Вишневецкий начал думать, как избавиться от опасностей пребывания у него новоявленного «Дмитрия», но все-таки не выпустить его пока из сферы своего влияния. Для начала он отвез его в Заложнице – имение своего двоюродного брата Константина, который был женат на Урсуле, старшей дочери сандомирского воеводы Юрия Мнишека.

В Заложнице «Дмитрий» увидел Мнишека и его младшую дочь Марину.

Роковое знакомство состоялось.

Марина слыла красавицей, однако ее лицо на гравюрах – острый нос, тонкий волевой рот – отнюдь не поражает красотой. Но изображения не могли передать повелительную гордую грацию, обольстительное изящество польской аристократки – все то манящее, женское, заставлявшее не видеть эти опасные мужские черты.

И когда ее миндалевидные глаза взглянули на него, все решилось – и будущая смерть сотен тысяч, и катастрофа великой державы, и огонь казацких набегов, и призрак кровавого венца...

Ее отцу Юрию Мнишеку было за пятьдесят. У него была не лучшая репутация: хранитель Самборского королевского замка и сандомирский воевода «прославился» тем, что привел к королю Сигизмунду Второму, горько переживавшему смерть жены, девицу из монастыря бернардинок. Похожая на покойницу королеву, юная красотка свела с ума Сигизмунда, и Мнишек теперь неразлучно сопровождал их во всех поездках. Одна из них оказалась роковой для короля – после ночи любви он скончался. На следующий день Мнишек вывез из замка множество набитых сундуков, так что для подобающего погребения Сигизмунда не нашлось даже достойной одежды. Скандал, разгоревшейся после этого на Сейме, и приход к власти Батория удалили Мнишека и его брата из Кракова. Но смерть великого полководца и восшествие на трон нового короля, Сигизмунда Третьего, вернули их ко двору: люди исполнительные и желающие служить были нужны польским королям, окруженным гордыми, независимыми панями...

В 1603 году Мнишек остро нуждался в деньгах – пиры и роскошная жизнь в королевском замке, который так редко посещал король, требовали огромных трат, к тому же надо было

подумать и о приданом красавицы дочери... Именно в это время и возник этот человек из небытия.

Рангони, папский нунций, составил его описание для папы: «Небольшого роста, но хорошо сложен, со смуглым цветом лица (видимо, от запорожского солнца. – Э.Р.), с большой бородавкой на щеке в уровень с правым глазом... Белые длинные кисти рук обнаруживают благородство его происхождения... говорит смело, походка и манеры носят величественный характер...»

Ощущение царственности, удивительного достоинства покоряет Мнишека. И вот уже гордая Марина, мечта многих знатнейших молодых людей, всерьез выслушивает признания вчерашнего слуги, подозрительного человека, вызывающего презрительные улыбки в Кракове.

Что знал вчерашний чернец? Неподвижных, дородных боярынь, которых видел в Москве, крепких и грубых девок, которых встречал у казаков. Обольстительная маленькая полячка должна была заморозить недавнего монастырского затворника...

Но что увлекло ее? Сила его любви, пыл, страсть? Бешеный темперамент, который еще не раз себя проявит?

Она уже знала: ночь гасит самые пылкие страсти, но была для нее и страсть негасимая... Будущее царство! Марина с рождения верила – быть ей королевой. Недаром ее гордость пугала даже отца, недаром она презрительно отказалась присутствовать на свадьбе короля. И вот явился он – царевич! Его вера заражала, искренность, с которой он рассказывал о событиях своей жизни, не оставляла сомнений в его правдивости. Даже Юрий Мнишек – лукавец, хитрец, проныра – поверил! Отец и дочь начинают строить фантастические планы...

«Дмитрий» обещает вернуть себе царство. Только завоевав его, завоеует он неземную, гордую красавицу. Он сулит ей будущую корону, он уверен: Бог за него!

Мнишеки уже всерьез обсуждают брачный контракт. Брак должен произойти только после того, как «Дмитрий» сядет царем на Москве. Он щедро обещает русские земли и города в дар дочери и отцу.

Власть – только эту плату принимает Марина за свое девство. Всем ее женихам отказано. Безумные мечты витают в покоях Самборского замка – Мнишеки делят бескрайнюю страну, которую не смог с великой армией завоевать сам Баторий! Таков гипноз веры, исходивший от этого человека.

Но он оказывается и тонким дипломатом – вчерашний православный монах принимает католичество. Теперь он может писать в Краков, к папскому нунцию, обращаться к самому папе. Он предлагает осуществить вселенский план Ватикана: объединить христианский мир. Огромная православная страна под властью бывшего монаха перейдет в лоно Римской церкви. Папа станет главой всего христианства. Рим победит Византию!

Он жаждет денег и польской поддержки. Он пишет бесконечные письма королю, но тот хранит молчание. Слишком известны истории самозванцев... В 1578 году был убит португальский король Себастиан, и с тех пор в стране появлялись самозванцы. В Молдавии прекратилась династия Богданников – и тотчас объявились самозванцы.

Молчит и папский нунций. Однако скоро в замке Мнишека появляются отцы-иезуиты. Это посланцы нунция, точнее – проверяющие. Они верно оценили молодого человека, который, кстати, сообщил им, что на Руси его «очень ждут».

Иезуиты в силах наладить сношения с далекой Москвой – их агенты разбросаны по всему свету. И они с изумлением убеждаются, что «Дмитрий» прав: в Москве о нем не только знают, его действительно ждут! Ждут очень влиятельные люди... Возможно, этим объясняется распоряжение дотоле молчавшего нунция, посланное в Самбор: воевода Мнишек должен привезти в Краков таинственного «царевича» – его ожидают при королевском дворе.

Так он оказывается в Кракове. Нунций принимает его ласково, и «Дмитрий» подтверждает свое обещание – отречься в Москве от греческой веры.

Он встречается с Сигизмундом Третьим и опять заявляет: знатные бояре ждут его в Москве. Он отвоюет свое царство! Русь поднимется за него! И вновь удалось – его вера увлекает! Он щедро обещает королю часть смоленской земли, многие пограничные города... Вельможи в один голос советуют гнать «проходимца», но осторожный король, хоть и боится разгневать могущественнейшего русского царя, все же решается действовать. Вопреки мнению советников, он тайно назначает «Дмитрию» содержание.

Итак, свершилось! Король признал его, пусть пока тайно. Он – «московский царевич». Теперь паны имеют дозволение помогать ему (конечно, не от королевского имени, от себя лично).

Дело сделано. На большее он и не смел рассчитывать.

В мае 1604 года подписан брачный контракт с сандомирским воеводой и его дочерью. Заверенную печатями бумагу можно принять за игру безумного воображения... Марина обещает выйти за него замуж, а он обещает сесть на престол и отдать ей в полное владение Новгород и Псков. Тогда же Мнишек получит миллион золотых для торжественной поездки с невестой в Москву и уплаты долга войску в 1600 человек, которое воевода обязуется собрать и снарядить для «царевича»... Множество щедрых посул Мнишкам было в договоре, но поразительно главное условие: если в течение года он не завоюет престол, Марина имеет право расторгнуть брачный контракт.

В течение года он с горсткой солдат берется завоевать Московию! Такова была его вера.

Мнишек перевыполнил свое обещание. 2000 шляхтичей собрались под знамена «Дмитрия» – закованные в броню знаменитые польские гусары на огромных конях, сокрушившие недавно шведов. Во Львов, где формировалось войско, пришли и 2000 донских казаков. Польский вольный дух, русский разгул и безумная, бесшабашная отвага соединились в этом войске, причудливо сочетавшем и рыцарские традиции, и нравы разбойничьих шаек. Мнишек был избран гетманом.

Жители Львова, напуганные приходом казаков, Сейм, влиятельнейшие польские вельможи – все требуют от короля прекратить формирование странного войска. Даже канцлер Лев Сапега (на него по причинам, о которых мы поговорим в дальнейшем, очень рассчитывал «Дмитрий») заявил королю: «Сандомирский воевода поссорит вас с царем прежде, чем достигнет удачи».

Был подготовлен самый суровый указ о немедленном роспуске воинства. Но... Сигизмунд отнюдь не торопился его подписывать. И 7 сентября, когда армия «Дмитрия» выступила в поход, на указе так и не было королевской подписи...

Так началась эта фантастическая эпопея. Вчерашний монах, явившись из небытия, с горсткой польских авантюристов и бандой казаков отправился сокрушать величайшее государство во главе с правителем, заставлявшим трепетать Европу и Азию.

Мир знает не много подобных историй. Возвращение Наполеона с острова Эльба... Пожалуй, все.

Крушение Московии

Все это время царь Борис с большим удивлением выслушивал сообщения своих тайных агентов из Речи Посполитой. С изумлением узнал он, что появившийся самозванец – тот самый жалкий монах из Чудова монастыря, которого он велел в свое время схватить. Оказывается, его царский приказ не был выполнен и Отрепьев беспрепятственно переехал в Литву...

Умный Борис не мог не оценить этого человека без роду и племени, который сумел заставить поверить в себя польских вельмож и вовлечь их в свое явно безнадежное дело. Естественно, Годунов ни на секунду не верил в чудесное спасение царевича.

Дмитрий был зарезан днем, при свидетелях, его тело лежало в церкви, куда приходило множество людей, часто видевших мальчика. Никаких сомнений никто тогда не высказывал...

Но бояре отметили: могущественный Борис сразу занервничал. И верно – слух о призраке его пугал, ибо он тоже был плоть от плоти московского царства и ощутил вдруг простой и ужасный смысл происходившего: «природный» царь объявлял, что возвращается! А он, Борис, – царь выборный, ненастоящий!

Дьяка Смирного тотчас взяли, пытали с усердием – Годунов хотел узнать, кто уговорил его не исполнять царское повеление. Но дьяк упрямо твердил о «забывчивости своей». Так ничего и не узнав, засекли его до смерти. И понял царь, что кто-то из «добрых и сильных» повелел Смирному принести себя в жертву. Все исполнил послушный дьяк, пошел на верную смерть, как когда-то холоп князя Курбского Василий Шибанов...

Борис теперь знал: Самозванец не одинок, за ним стоят могущественные силы. Впоследствии он скажет: Самозванца впустили на Русь бояре, и добавит таинственное: «Они подставили его...»

В октябре 1604 года воинство «Дмитрия» перешло Днепр и вторглось в пределы Руси. И началось невероятное: вмиг без сопротивления отложились от царя Бориса все северские города. Жители укрепленных Чернигова и Моравска сами отворили ворота – без боя предались «Дмитрию». Крохотная армия его стремительно росла: население и казаки непрерывно пополняли войско «природного царя».

Великий Государь Борис Федорович впадает в панику. В Москву спешно привозят из монастырского заточения бывшую царицу, монахиню Марфу. Царь просит ее объявить народу, что Дмитрий мертв, но Марфа отвечает весьма странно: «Ведать не ведаю, может, и не зарезан он вовсе, потому как люди, теперь умершие, говорили о спасении ребенка и о том, что за рубежами русской земли он...»

Марфа явно намекала на покойного князя Ивана Мстиславского. Она, видно, уже слышала историю «Дмитрия», передававшуюся из уст в уста, перекатывавшуюся по всей Московии, – историю о спасении «природного» царя!

Царица Марья, истинная дочь Малюты, не снесла вероломного ответа и бросилась со свечой на нечестивицу – выжечь ей глаза. Борису пришлось разнимать цариц – прежнюю и нынешнюю, инокиню и жену...

Пришла очередь Василию Шуйскому исполнить царский приказ.

Князь послушно объявил с Лобного места, что видел собственными глазами мертвого царевича и весь Углич видел его мертвым во время отпевания в церкви, а взявший себе его имя расстрига Гришка Отрепьев – попросту вор. И патриарх Иов вслед за боярином тоже убеждал людей, что расстрига и вор ведет своих людей на Русь...

Но толпа угрюмо молчала – хотела чуда! Народ шептался: «Что их слушать! Они подневольные, что царь приказал, то и говорят. А Борису надо живот свой спасти – идет на него рать царевича...»

Так говорили люди... Годунов знал – подосланные боярами люди.

Весь январь 1605 года патриарх рассылал по городам грамоты с «историей беглого монаха, вора и расстриги Гришки Отрепьева»... А к «Дмитрию» все это время приходили

письма из Москвы. Кто-то старательно оповещал его обо всем, что делается в великом городе, так что он знал, как отчаянно и нервно борется с тенью царевича Годунов.

Поляки еще раз убедились: он не одинок, его ждут в Москве.

Борис посылает огромное войско против «Дмитрия». Как и положено, царскую рать возглавляет самый родовитый боярин – Федор Мстиславский, сын Ивана, умершего в царской ссылке.

Пятнадцать тысяч войска «царевича» стоят против пятидесятитысячной армии царя. По сигналу боевых труб начинается сражение. Удивительно ведет себя «Дмитрий» в этой битве: бесстрашно возглавляет атаку, скачет впереди дрогнувших было кавалеристов, будто абсолютно уверен, что не доступен ни для пуль, ни для секир, ни для копий. И князь Мстиславский, опытный воевода, странно легко проигрывает битву – будто напоминает Годунову о погубленном отце...

Как напишет летописец, казалось, что русские «сражаются не руками и мечами, а ногами». Войско царя бежит, оставив тысячи убитых на поле. И опять удивительно ведет себя «Дмитрий». Он обходит поле и рыдает над телами русских воинов – как истинный царь над погибшими солдатами своей армии. Более того: он может уничтожить бегущее в беспорядке русское войско, но, к изумлению польской кавалерии, отдает приказ прекратить преследование, ибо «не желает убивать своих подданных». И вожденный главный обоз уходит от панов...

Борис предпочитает не думать об измене. Он осыпает милостями разбитое войско, посылает сказавшемуся раненым князю Мстиславскому своего медика, лекарства для «увечных воинов»...

В это время воевода Петр Басманов, сын казненного Грозным Федора, заставляет отряды «Дмитрия» снять осаду с Новгород-Северского. Царь чествует его в Москве как великого героя. Басманова жалуют деньгами, во время торжественной встречи везут по Кремлю в царских санях.

За этим заискиванием все чувствуют великую неуверенность некогда сурового царя Бориса.

Но победа над Мстиславским оказала «Дмитрию» и дурную услугу: герои-шляхтичи потребовали жалованья, а денег у него не было. Паны негодовали: ни обоза не захватили, ни денег не получили! А впереди была зима, и рыцарству не хотелось проливать кровь в жестокие русские холода за будущие посулы, тем более что «Дмитрий» запрещал грабить население – «подданных».

И вообще вельможным панам наскучила вся эта русская история. Вместе с Мнишеком они покидают войско. Но места ушедших поляков занимают со всех сторон сбегавшиеся к «Дмитрию» казаки.

Уже в следующей большой битве при Добрыничах случилось неминуемое. Опять он возглавлял атаку, опять был бесстрашен, будто уверен, что неуязвим. И чудо – его даже не ранили! Но другого чуда не произошло: без польской кавалерии войско казаков было разбито князем Василием Шуйским.

С жалкими остатками армии «Дмитрий» затворяется в Путивле. Царь Борис уже ждет нетерпеливо, когда добьют Самозванца, уже готовит великолепные дары победителям. Но происходит странное: царские воеводы будто застыли в нерешительности. Армия Шуйского неподвижна, воевода медлит... В окруженных Кромах заперся один из отрядов «Дмитрия». Уже были сожжены деревянные стены города, когда воевода Михаил Салтыков вдруг приказал вой-

нам прекратить штурм и отойти от города... Меж тем в Путивль со всех сторон стекаются отряды казаков и перебежчиков из царских войск.

В Москве Борис уже узнал о мятежных настроениях в Смоленске, главной крепости – защитнице Москвы, и о странном бездействии своих воевод. Но царская рука, уже занесенная, чтобы покарать изменников, бессильно пала.

13 апреля стало роковым числом для Годунова и его потомства. Когда царь поднялся из-за пиршественного стола, случилось ужасное – кровь хлынула у него изо рта, ушей и носа. Борис умер в мучениях. Патриарх Иов едва успел постричь царя в монахи. В царском гробу в одежде схимника лежал инок Боголеп.

«Короновался, как лисица, правил, как лев, и умер, как собака», – зло сказал о нем современник.

На престол вступил его сын Федор. Был созван Земский собор. Грамота о вступлении Борисова сына на трон была составлена по примеру отцовой: в ответ на моление народное соглашался Федор быть царем.

Молодой царь получил отличное воспитание – знал языки, был просвещен в науках. Отец рано начал брать его с собой в Думу. Мудрый, ровный и миролюбивый властитель – вот идеал, к которому вел Борис блестяще одаренного сына. Первый европейски образованный и обещавший воистину просвещенное правление царь вступил на русский трон.

Распоряжения нового царя мудры: вместо знатнейших Федора Мстиславского и Василия Шуйского Федор решительно отдает командование войсками Петру Басманову. «Служи нам, как отцу моему служил», – напутствует он полководца.

Под колокольный звон Басманов покидает Москву. Воевода уже знает, что будет, и безнадежно прощается с царем... Смута окончательно овладела его армией. Страшная смерть Бориса, в которой народ увидел Божье возмездие, потрясла умы. Знатнейшие бояре, ненавистники Годуновых, уже действуют...

В Москве – всеобщее смятение. Люди открыто говорят о скором приходе «природного» царя: Федор для них – самозванец и сын Ирода. Только жестокость, кровавая и беспощадная, смогла бы удержать бразды правления в молодых руках. Но внук Малюты... не умеет быть жестоким. Он мог быть мудрым и справедливым, но этого так мало, когда конь рвется из узды...

В басмановской армии воеводы Салтыков и Голицын во всеуслышанье призывают сбросить Годуновых. И Басманов не захотел погибнуть – присоединился к бунтовщикам.

Князь Иван Васильевич Голицын поскакал в Путивль. Он вез грамоту от Басманова – царская армия перешла на сторону «Дмитрия». Тот, кого еще вчера именовали «расстригой и вором», теперь назывался в грамоте «Государем всея Руси Димитрием Иоанновичем».

Безнадежно сидевший в Путивле «Дмитрий» победил, не выиграв ни одного сражения. Получив великое известие, он отслужил молебен и приказал войску идти к Орлу. В его лагерь беспрестанно приезжали «виниться и каяться» представители знаменитых фамилий – Салтыков, Голицын, Шереметев... Всех он прощал и брал на свою царскую службу.

Прибыв в Орел, он разделил армию. Перешедшие на его сторону царские войска под началом Голицына он отправил к Москве. Но, не доверяя до конца изменившим Федору, сам со своими войсками пошел за ними следом, стараясь держать расстояние между обеими армиями на случай внезапного нападения...

Все это время его гонцы появляются в Москве. Он шлет грамоты знатнейшим – Василию и Дмитрию Шуйским, Федору Мстиславскому, – напоминает о присяге, данной «его отцу», и угрожает царским гневом, коли не возьмут они его сторону.

Уже на Красной площади, под одобрительные выкрики народа, читают гонцы «Дмитриевы» грамоты. Несмотря на все увещания патриарха, стрельцы не хватают гонцов – они более не слушают приказов.

И вот уже князь Василий Шуйский с того же Лобного места, где столь недавно объявлял, что Дмитрий мертв, бесстыдно и громогласно объявляет, что на самом деле убит был другой, а царевич спасся!

Патриарха Иова, пожалуй, единственного не забывшего крестное целование, молившего народ быть верным молодому Государю, с бесчестием вывели из Успенского собора во время службы. Когда с него начали рвать святительские одежды, он сам снял с себя панагию, положил под икону Владимирской Божьей матери и стал жарко молиться... Мучители надели на него рваную рясу и клобук и таскали Святейшего по площадям, а потом на простой телеге свезли в Старицкий монастырь... Патриархом стал рязанский архиепископ Игнатий.

Покончив с Иовом, отправились в старый дом Годуновых, куда из царских палат уже перевели царскую семью...

Через триста с небольшим лет великий князь Николай Михайлович Романов сделал горькую запись в дневнике о том, как в течение сорока восьми часов буквально все предали Государя всея Руси – вельможи, военачальники и даже двор, еще вчера угодничавший и льстивший...

В то июньское утро 1605 года некому было сделать подобную запись... Но изменили так же – все. Все и сразу. И свершили зверство.

Князь Василий Голицын и князь Василий Мосальский с подручными и стрельцами пришли в дом Годуновых. Удалили царицу Марью и долго зверски убивали безоружного Федора. Молодой царь отчаянно сопротивлялся убийцам, и тогда могучий дьяк Шелефетдинов вырвал у него половые органы и размозжил ему голову. Казалось, ожил дух Малюты – отца Марьи и деда Федора, – все покои Годуновых были забрызганы кровью.

Тела царя Федора и царицы-матери отвезли в Варсонофьевский монастырь, где хоронили бедных и бездомных. Так свершилось на Руси первое и зверское убийство царской семьи, с которого началось Смутное время.

Будет и второе убийство, через триста с лишним лет, и с него начнется второе кровавое Смутное время. И снова будет зверство, и снова будет комната, вся обрызганная царской кровью...

Убийцы оставили в живых только Ксению, любимую дочь царя, белокурую красавицу, получившую, как и Федор, европейское образование. Ее ученость, красоту и ослепительно белую кожу, «будто из сливок», прославляли летописцы. Царевну, руки которой добивались шведский и датский принцы, убийцы решили принести в дар шедшему к Москве победителю. Князь Мосальский держал ее в своем доме, чтобы сохранить «для потехи» нового царя.

И когда «Дмитрий» займет Кремлевские палаты, ему привезут дочь врага его, Бориса. Победитель ее отца и брата лишит Ксению невинности и оставит у себя «любострастия ради». И народ еще раз признает: воистину он сын Ивана...

Грозный «природный» царь вернулся.

«Великий государь»

Въехав в Москву, «Дмитрий» осадил коня у храма Василия Блаженного, снял шапку, взглянул на Кремль и толпы народа, заплакал и стал благодарить Бога. И счастливый народ отвечал ему дружным рыданием. Свершилась великая мечта о победе справедливости над злодейством, которую довелось воочию увидеть людям.

Светило солнце. Перед народом предстал «природный» царь, вернувший отцовское наследство, – «красное солнышко» (так привыкли звать царей на Руси).

Впоследствии летописцы вспомнят об урагане, который вдруг налетел и черным облаком закрыл солнце. Но об этом они напишут уже после всех страшных событий... А тогда еще светило солнце.

Он расточал милости – возвратил немедленно из ссылки всех «своих родичей». Вернулся Филарет, которого он сделал митрополитом ростовским. И сына его, отрока Михаила Романа, он обласкал и оставил при своем дворе. Вернулись и стали заседать в Думе Нагие, осыпанные чинами и деньгами...

18 июля в подмосковном сельце Тайнинском состоялась умиленная встреча, заставившая трепетать чувствительные сердца. На лугу был поставлен шатер, выстроены войска. Народ в нетерпении ожидал, когда привезут мать Дмитрия – монахиню Марфу.

И не случайно за Марфой, как укор лжецам, был послан молодой князь Скопин-Шуйский – племянник Василия Шуйского, посмеявшего объявить когда-то, что Дмитрий погиб (правда, отрекшийся от этого недавно на Лобном месте).

Мать и сын долго беседовали в шатре. А когда они вышли, толпа увидела, как обнимала Марфа своего обретенного сына, как плакала от счастья и как почтительный ее сын и Государь шел пешком возле кареты, провожая любимую мать.

Марфу отвезли в Вознесенский монастырь в Кремле. Это был древний женский монастырь, воздвигнутый на месте терема славного московского князя Дмитрия Донского его вдовой, которая под старость сама постриглась в монахини. С тех пор эта обитель стала обителью царских вдов, а Соборная церковь в монастыре – усыпальницей русских цариц. Здесь похоронили и Софью Палеолог, и Анастасию – мать Федора.

Почтительный сын каждый день приезжал на свидание к матери в монастырь.

Так началось его царствование.

Его краткое правление поразит историков. С самого начала царствования и до самого конца он вел себя как истинный Государь. Загадка для психологов – никакого комплекса самозванца! Напротив: во всех поступках – природный повелитель!

В Думе он бывает каждый день и насмешливо выслушивает своих бояр, их бесконечные препирательства. А потом говорит, открыто смеясь над ними: «Удивляюсь я вам. Столько часов рассуждаете, и все без толку. А дело вот в чем...» – и объясняет решение вопроса, проявляя «великую начитанность», приводя примеры из истории.

Постоянно донимает он советников, упрекая их в невежестве, но мягко, без брани. Это разговор царя-батюшки с глуповатыми детьми. Он напоминает Петра Первого, но не жестокого, а ласкового: та же грешная для Московии любовь к чужеземным обычаям. Он не только хочет посылать молодых людей учиться в Европу, но и (страшно сказать!) обещает разрешить всем подданным свободно посещать чужие земли – то, что и потом, на протяжении почти четырехсот лет русской истории, будет запрещено. Он возобновляет книгопечатание, прерванное бегством из Московии первопечатника Ивана Федоровича Москвитина. Как и Петр, открыто потешается над дедовскими традициями – ест телятину в постный день и, издеваясь над него-

дующим князем Василием Шуйским, устраивает диспут, где блестяще доказывает правоту свою, ссылаясь на богословские сочинения. Он не ходит в баню и (что всех потрясает!) не спит после обеда. Когда Москва погружается во всеобщий сладкий сон, он занимается делами государственными! Как и Петр, устраивает «потешное войско», сам учит людей ратному бою, сам лезет на валы, штурмуя крепости, и в общей потасовке ему часто достается (и накануне своей гибели он будет учить воинов стрелять из пушки, демонстрируя удивительную меткость). В любимой на Москве потехе – «зверином бое» – сам участвует и бьет медведей...

Это отсутствие важности – продолжение самосознания «природного» царя, а презрение к любимым народом дедовским обычаям – результат все той же неколебимой уверенности в своем праве делать все, что ему заблагорассудится. Как учил «его отец»: «Жаловать и казнить мы вольны...»

Русский историк напишет: «Его беда, что он пришел слишком рано, на столетие раньше Петра». Думаю, его беда прежде всего в том, что в нем не было жестокости, необходимой на Руси Преобразователю...

Бояре эту слабость поняли и начали действовать открыто.

Василий Шуйский в третий раз изменил свое слово. Утверждавший при Годунове, что Дмитрий зарезан, и при Федоре – что он жив, боярин начинает повсюду шептать, что он сам видел убиенного царевича и что на троне сидит самозванец... Но традиция доносительства не погибла со смертью Годунова, доносы (как и взятки) бессмертны в Московии. И уже вскоре все становится известно «Дмитрию».

Что сделал бы Годунов, узнав о подобном? Тайно схватил бы князя и сгноил в далеком монастыре, ибо у Бориса никогда не было чувства «природного» Государя. И то же должен был сделать любой самозванец, любой лжец.

Однако «Дмитрий» требует гласного разбирательства, как человек, абсолютно уверенный в своей правоте. Он созывает Земский собор – первый, где присутствуют «выборные люди» от всех сословий – воистину прообраз парламента в России. И вызывает Шуйского на открытый словесный диспут. Но сражения не получилось – испуганный князь жалко винится, и Собор единогласно приговаривает его к смерти.

На Лобном месте должен погибнуть тот, кто видел мертвого Дмитрия... Боярин кладет голову на плаху, топор поднимается, но казнь останавливает гонец: царь милует Шуйского. Так и должен был поступить человек, совершенно уверенный в том, что Шуйский просто заблуждался. «Дмитрий» объявляет, что решил ограничиться ссылкой Шуйского, ибо дал обет: если Бог поможет ему вернуть отцовский престол – не проливать христианской крови.

Вскоре он вернет опасного Шуйского в Москву. Все та же беспечность уверенного в своей правоте «природного» Государя... Беспечность, которая будет стоить ему жизни.

Однако слухи о его самозванстве странно множатся, будто кто-то дирижирует ими. Уже задержали стрельцов, дерзнувших говорить, что на престоле «ложный царь». Великан стрелец просит «Дмитрия» отдать их ему. «Я у тех изменников не только головы пооткусаю – чрева зубами повыдергаю», – обещает он. Но «Дмитрий» их милует. Он не боится слухов. Добрый «природный» царь. Простодушный и... хитроумный.

Вместо исполнения обязательств (этого ждет от него Сигизмунд) он умело затеивает торг по поводу титулов «Император» и «Царь» – именно так он требует себя именовать. Сигизмунд отказывается, и «Дмитрий» получает законное право обидеться и... забыть про обязательства.

Нарушены и обещания, щедро данные папе. Вместо того чтобы немедленно привести Московию в католичество, «Дмитрий» вдруг просит у папы... разрешить католичке Марине во

время бракосочетания исполнять православные обряды. Одновременно «Дмитрий» вызывает иезуита патера Савицкого и говорит, что мечтает повсюду открыть иезуитские школы. Однако сейчас сделать это трудно, но было бы легко... если бы он был не только царем Московии, но и королем Речи Посполитой! После чего вдруг говорит с патером о военных приготовлениях – о том, что у него сто тысяч войска и он просто не знает, против кого их направить!

Так, он предложил иезуитам поменять бездарного скучного Сигизмунда на молодого романтического короля «Дмитрия». В то же время он призывает Сигизмунда и других христианских монархов к походу против Турции и помощи ему, «Дмитрию», в завоевании Крымского ханства. Он даже созвал войска в Москву и готовил их к походу на Крым...

А между тем к нему уже подкрадывалась смерть. Внешне все шло прекрасно. Народ, который он беспрестанно развлекал зрелищами, любил его. Но он не знал закона Московии: когда царь добр, не рубит голов, тотчас наглеют бояре...

Нетерпеливо ждет он ту, ради которой завоевал трон... Удалена из его опочивальни и отправлена в монастырь красавица Ксения – таково требование Марины и ее отца.

В Кракове должно состояться обручение «Дмитрия» с Мариной. В ноябре 1605 года в столицу Речи Посполитой прибыло его посольство во главе с дьяком Афанасием Власьевым, еще в царствование Годунова считавшимся самым хитроумным дипломатом на Руси. Дьяк представлял венценосного жениха. «Дмитрий» не пожалел сокровищницы московских царей, которой так гордился Иван Грозный. Марина осыпана драгоценностями – Власьев преподнес ей жемчуга, бриллианты, бесценные ткани и множество изумительных диковин, в числе которых был «инструмент музыкальный в виде слона с золотой башней»...

«Дмитрий» добился своего: поляки ослеплены роскошью – всё сравнивают щедрость московского царя со скарденостью своего правителя и скучную заурядность Сигизмунда с фантастической судьбой «Дмитрия».

На пышной церемонии обручения присутствовал весь цвет Речи Посполитой – сам король, его сын королевич Владислав, принцесса Анна Шведская, папский нунций... Невеста – в белом парчовом платье, покрытом жемчугами и сапфирами.

Во время церемонии Власьев держал себя с великим достоинством и... холопством. К изумлению поляков, он отказался танцевать с Мариной, объяснив, что не достоин чести не только танцевать, но и дотронуться до царицы. Он даже руку ей подать не посмел, прежде чем не обернул «недостойную длань» в чистый платок. Он даже от угощения на пиру отказывался, ибо не пристало холопу есть, сидя рядом с царицей (остальные люди из посольства, по словам изумленного поляка-очевидца, сидели за отдельными столами и «ели много и грязно руками»).

Впрочем, после пира пришла очередь изумляться Власьеву и его людям. По словам того же поляка: «Обнаружилось, что наши негодяи покрали у русских послов лисьи шапки, из них две – украшенные жемчугами, и срезали все ножи с драгоценными рукоятками». Но Власьев повелел своим товарищам не замечать случившегося.

Гибель

Марина и ее отец отправились через всю Русь в далекую Москву. Пока свадебный поезд в сопровождении блестящей польской свиты двигался по просторам Московии, в Кракове должны были задуматься...

В начале 1606 года к Сигизмунду прибыл от «Дмитрия» посол Иван Безобразов. Выполняя все формальности и вручив очередные грамоты королю, посол имел тайную беседу с канцлером Львом Сапегой и сообщил ему, что князя Василий Шуйский и Василий Голицын

желают переменить Государя, потому что он – самозванец, а они хотели бы видеть на престоле... Сигизмунда!

Доверительные отношения с Сапегой сложились у князей давно, когда он еще бывал в Москве во времена Годунова. Так что они не боялись сообщать ему свои смертельно опасные проекты.

Весной – последней в жизни «Дмитрия» – свадебный кортеж достиг Москвы, и состоялся въезд новой царицы в столицу.

У реки под самым городом были поставлены два шатра. Тысяча стрельцов и алебардчиков, выстроенных в два ряда, охраняли путь, по которому Марину провели в царский шатер. Там ждал ее вчерашний слуга Адама Вишневецкого.

Безумная, сумасбродная, фантастическая мечта стала явью.

Марина была в убранстве европейских королев – платье с длинной стянутой талией и огромным гофрированным воротником, взбитая прическа с поднятыми вверх волосами. Бояре и народ с изумлением смотрели на наряд, невозможный для московской царицы.

«Дмитрий» подарил ей карету, украшенную серебром и царскими гербами. Двенадцать белых лошадей в яблоках были впряжены в сверкающий экипаж. В этой карете Марина и въехала в Москву.

Так началось ее царствование, которое окажется всего лишь двухнедельной сказкой...

На следующий день в царском дворце ее гофмейстер пан Мартин Стадницкий обратился с речью к «Дмитрию». Он вспоминал о литовских женщинах – женах московских царей, о матери Ивана Грозного – красавице литовке Елене Глинской... «Бог обратил ваше сердце к тому народу, с которым ваши предки роднились. Пусть же прекратится наконец свирепое кровопролитие между нами. Пусть силы обоих народов обратятся против басурман (татар и турок – Э.Р.). Пусть ваша царская милость, свергнув полумесяц, из полночных краев озарит полуденные края своею славою».

Поляки с восторгом слушали эти слова. Сколько их, с отрубленными головами, будет валяться вскоре на улицах Москвы...

Марину поместили в Вознесенском монастыре, где она увиделась с Марфой.

Огромную свиту новой царицы с трудом разместили по разным концам Москвы. Множество горожан было выдворено из домов, чтобы дать приют полякам.

Уже вскоре начинается ропот. Кто-то продолжает пускать слухи: царь – расстрига и самозванец, он пришел предать православную веру и ограбить монастыри, за тем же приехала в Москву и «поганая полячка».

Шляхтичи сообщают «Дмитрию», что в городе неспокойно, но он лишь смеется им в лицо и упрекает их в трусости.

Свадьба Марины и «Дмитрия», а также все последующие события описаны и в летописях, и очевидцами. Шляхтич Рожнятовский, предводитель хоругви Юрия Мнишека, оставил подробный дневник о случившемся.

В день свадьбы царь преподнес Марине ларец с драгоценностями – «наказал дарить, кому она захочет», – а также сани, обитые бархатом и украшенные серебром. «У хомута саней были подвешены сорок соболей, конь в тех санях белый, а сбруя у белого коня в жемчуге и серебре...»

Бояре угрюмо смотрели, как пустела сокровищница московских царей.

Коронация царицы проходила в Успенском соборе. Впереди несли корону, за ней – драгоценную церковную утварь. Царь и царица шли по парчовому ковру навстречу патриарху. «Дмитрий» был в шапке мономаха, Марина одета по-московски в богатую одежду вишневого бархата, украшенную жемчугом и драгоценными камнями.

Он легко уговорил ее надеть наряд московской царицы. Марина уже почувствовала то, что происходило со всеми иностранными принцессами в Московии (и что впоследствии будет происходить со всеми женами Романовых), – она стремительно и с радостью становилась «теремной царицей».

Нос, похожий на хищный клюв, и тонкий властный рот были куда заметней на ее щедро (по-московски) набеленном лице. Не грациозная красавица панночка, но Государыня!

Горели свечи в Успенском соборе, с пола до потолка расписанном ликами святых и картинами на библейские сюжеты. Торжественное пение заменяло привычный Марине орган. Она становилась повелительницей бесчисленного количества холопов – так именовались в ее новой стране все царские подданные, даже самые родовитые князья. Как жалка должна была казаться ей власть польского короля! Византия захватила ее...

Наступила их ночь. Всего несколько ночей с нею – вот и вся плата, которую он успеет получить за свержение могучего правителя, за битвы, за фантастический, ни с чем несравнимый успех...

Он так и не узнает, что сделал чужое дело. Но те, кто позвали его, уже посчитали, что «мавр» пора удалиться».

Не знала и она, что сказка закончилась, – часы пробили полночь для Золушки...

Пока он пребывал в блаженстве во дворце, в боярских палатах шли непрерывные совещания.

Князья Василий Голицын и Иван Куракин – теперь частые гости у Василия Ивановича Шуйского. Здесь же и Дмитрий Шуйский, приходят все новые бояре... Еще до свадьбы «Дмитрия» они решили: надо убить «расстригу» (так отныне будет именоваться во всех грамотах и с амвонов церковей тот, кого они славили «великим Государем» и «красным солнышком»).

«А кто из нас станет царем, то по общему совету управлять ему государством», – так они уговорились. Боярская вековая мечта должна была наконец сбыться.

Под Москвой стоят псковские и новгородские войска, которые должны идти на Крым. Бывший во времена Годунова новгородским воеводой князь Василий Шуйский зовет к себе старых знакомых – начальствующих в полках, приглашает и именитых московских купцов. Он объясняет им, что бояре признали «расстригу» истинным Дмитрием только для того, чтобы покончить с Годуновым. Они надеялись, что «такой умный и храбрый молодой человек будет защитником православной веры», а он ее презирает, «женится на польке поганой и дома московские отдает иноверцам...»

И заговорщики во главе с князем Василием составляют азиатский план – убить «Дмитрия» его же именем...

Зная любовь народа к царю, они договариваются ворваться в Кремль с криком: «Поляки убивают Государя!»

Все эти дни к Юрию Мнишеку приходили жолнеры и говорили, что становится небезопасно. На каждом шагу они чувствовали теперь народную ярость. Какого-то пана обвинили в изнасиловании боярыни, и только вмешательство «Дмитрия» спасло его от самосуда...

Мнишек «имел большой разговор с царем», но тот только посмеялся над «малодушием храбрых поляков». Все то же самосознание «природного» царя! Оно не позволило ему всерьез

поверить в то, что холопы-подданные посмеют что-то замыслить против него – Государя, вернувшего себе отцовский престол.

16 мая он в высокой богатой шапке, в сапогах на высоких каблуках, в кафтане, усыпанном драгоценностями, гарцевал по кремлевским улочкам, потом участвовал в потешном бою – метко стрелял в цель из пушки...

Наступила ночь на 17 мая. Последняя ночь...

В мае в Угличе был убит царевич Дмитрий. Теперь в мае будет убит воскресший царевич...

Будто бы по приказу царя, из Кремля уже удалена его личная охрана, состоявшая из немцев – верных наемников, преданно служивших щедрому Государю. Из тюрем выпущены «воры» – преступники, – они должны составить ту оголтелую толпу, которая заполонит Кремль.

К рассвету заговорщики берут под свой контроль все входы в Кремль. Верховые бояре в доспехах встают у ворот, впускают отряды новгородцев и псковичей...

Рассвет. Теперь – пора!

Бьет набат, и с криками: «Поляки убивают Государя и верных бояр!» – в Кремль врывается чернь. По всему городу начинают убивать поляков.

Разбуженный колокольным звоном, выбегает на крыльцо Петр Басманов, как верный пес ночевавший у царской опочивальни. Толпа убивает «расстригина любимца».

Уже поняв, что произошло, «Дмитрий» выбегает на крыльцо с обнаженной саблей, кричит: «Я вам не Годунов!» Но под грозные вопли черни ему приходится отступить во дворец.

Толпа штурмует запертые двери. У него остаются минуты, чтобы спастись. Но он думает не о себе – бежит в покои Марины: «Сердце мое! Измена!»

Он умоляет ее спастись. Сам же возвращается в палаты – и видит в окно врывающуюся во дворец толпу...

Под окнами стояли высокие подмости, устроенные для брачного торжества. Он не растерялся – удачно прыгнул из окна на бревенчатый помост. Теперь оставалось вырваться из Кремля в город, там он спасен. Он знает: народ поддержит своего царя против изменников-бояр...

Но он забыл, что беда не приходит одна. Перепрыгивая с одних подмостков на другие, он остушился и полетел на землю с высоты пятнадцати сажен.

Он понял: конец. Он не мог двигаться – зашиб грудь и сломал ногу.

Брачные подмости оказались западней, как и весь его брак.

Его искали по всему дворцу, а он лежал на земле, потеряв сознание. Здесь и увидели его стрельцы...

Марина и ее свита – заспанные, простоволосые – металась по покоям. От дверей доносились крики и лязганье сабель – это ее камердинер сдерживал толпу. Он один отчаянно рубился с нападавшими – благо лестница, ведущая в покои, была узкая, и ему удавалось сдерживать яростных, озверевших от ожидания наживы людей...

Марина выбежала через потайную дверь на лестницу и, держась за каменные перила, стала спускаться в темный сводчатый подвал. Но камеристка, выбежавшая вслед, умолила ее вернуться – уже слышен был рев толпы, бежавшей навстречу из подвала.

Когда она поднималась обратно, толпа нагнала ее и столкнула с лестницы, но в простоволосой женщине никто не признал царицу. Она добралась невредимой до потайной двери, а чернь бросилась в соседние покои – грабить...

Уже трещали засовы парадной двери. От многочисленных ран камердинер потерял сознание. Обливаясь кровью, он лежал на ступенях, и его рубили саблями. Когда чернь ворвалась, придворная дама спрятала под необъятной парадной юбкой худенькую маленькую Марину.

Но толпа никого не тронула – занялась воровством. Тут подоспели бояре со стражниками и разогнали чернь, отстояли Маринины драгоценности.

Марина была спасена. Драгоценности бояре унесли.

Удачно отбилась на своем дворе и отец ее, Юрий Мнишек. Сдержали толпу польские жолнеры, дождались прихода бояр.

Около царского дворца разыгрался финал трагедии. Стрельцы, обнаружившие царя, отлили его водой, привели в чувство и перенесли на развалины разоренного годуновского дворца. И опять появилась надежда... Он пообещал им «имение и жен бояр-изменников», если они спасут его. Он умел с ними разговаривать. Стрельцы радостно согласились и, когда появились бояре со своими людьми, отказались его выдать.

Но бояре тоже умели разговаривать со стрельцами. Они закричали окружавшей их черни: «Что ж, тогда пойдем к ним в слободу Стрелецкую и истребим их жен и детей!» И стрельцы испугались...

Прибывавшая толпа, бранясь, кричала вчерашнему повелителю: «Кто ты? Чей ты сын?» А он твердил им: «Не верьте лжецам. Я – Дмитрий, царь ваш, сын царя Иоанна Васильевича. Пойдите спросите мою мать или отнесите меня на Лобное место, чтобы я мог поговорить с народом». И тогда стрельцы, обрадованные его словами, предложили спросить инокиню Марфу и так порешить дело.

Клятвопреступник, убивавший семью царя Бориса, Василий Голицын ушел, но быстро вернулся и прокричал, что Марфу уже спросили и она-де сказала, что сын ее Дмитрий еще в младенчестве был зарезан в Угличе, а этот – самозванец и расстрига.

И тотчас раздался любимый клич толпы: «Бей его!» Откуда-то выскочил человек с пищалю, прокричавший: «Вот я благословлю сейчас польского вряля!» И «благословил» – выстрелом.

Толпа добила несчастного. На годуновских развалинах погиб уничтоживший годуновское царствование «Дмитрий»...

Убитого сначала бросили на труп воеводы Басманова – пусть лежит со своим холопом! Затем с тела сорвали драгоценные одежды и потащили к Спасским воротам. Поравнявшись с Вознесенским монастырем, толпа все же отрядила людей спросить у Марфы: «Этот убитый – не твой ли сын?» Она ответила странно: «Спрашивать надо было, когда живой он был, а теперь он, конечно, не мой...»

Но дело было сделано. Они положили нагое изуродованное тело того, кого еще вчера звали «Государем пресветлым, благочестивым Димитрием Иоанновичем», прямо на площади и надели ему на лицо шутовскую маску.

Маску, которую историки не могут снять с его лица уже четыре сотни лет...

Когда нагое обезображенное тело вчерашнего царя еще валялось на Лобном месте и толпа чинила над ним свое поругание – оплевывала его, обмазывала дегтем и посыпала песком, в Думу доставили уцелевших польских послов, которых прислал на бракосочетание «Дмитрия» король Сигизмунд.

Послы громко возмущались убийствами поляков, но думские бояре обвинили... их короля. Дескать, его наущением и помощью пришел «расстрига», и оттого польская кровь – на польском короле. Однако послы лишь усмехнулись и напомнили боярам, что Сигизмунд

и сенаторы были против помощи убитому царю, а помогал ему по своей воле один воевода Мнишек со своими людьми и еще они – московские бояре...

«Это вы перед ним благоговели. Мы собственными глазами видели, как вы в этой самой палате рассуждали с ним о делах государственных и не изъявляли ни малейшего сомнения в его сани... Не мы – поляки, а вы – русские – признали этого бродягу царем... вы его встречали хлебом-солью, привели в столицу... вы его короновали и вы же его убили... Вы начали и вы кончили... так не лучше ли вам смолчать и не винить других? За что же вы убивали наших братьев?! Они не воевали с вами, но помогали вашему Лжедмитрию... И доколе вы будете вопреки праву международному удерживать нас, вы с вашим новым царем останетесь виновниками кровопролития».

Бояре слушали с великим вниманием и долго молчали. Но когда паны вышли, решили на случай будущих осложнений с поляками оставить их всех заложниками – послов, Марину, отца ее Мнишека и слуг, оставшихся в живых, – и держать их под стражей в Москве до переговоров с королем. И отобрать у них все подаренные «расстригой» царские драгоценности.

Маска мертвеца

Три дня труп в шутовской маске был выставлен на Красной площади.

Но скоро хохочущая личина, прикрывавшая его лицо, окажется великим провидением. Неправдоподобный, шутовской трагифарс предрекла эта маска – и Русь, умытую собственной кровью...

«Дмитрия» похоронили за Серпуховскими воротами... Но боярам надо было объяснить народу, почему они, «добрые и сильные», поверили «расстриге». Объяснили просто: колдун был и чародей великий, так что чародейством и дьявольским изволением все и произошло.

Зарытое тело даже обвинили в сильных морозах, пришедших на Москву в ту зиму 1606 года. И было решено избавиться от колдуна. Вырыли труп, протащили его для поношения, привязав к лошади, а потом на куски разрезали и сожгли, а пепел, смешав с порохом, зарядили в пушку и выстрелили в сторону Речи Посполитой – туда, откуда пришел.

Страшным окажется эхо этого выстрела...

На царство сел подслеповатый скопидом – старый князь Василий Иванович Шуйский. Тотчас замолкли бесконечные празднества, которыми чаровал столицу убитый таинственный человек, и люди, убившие его, задумчиво чесали головы и все чаще вспоминали, как отчаянно бросился он им навстречу, как повелительно крикнул, осаживая толпу: «Я вам не Годунов!» – слова, которые означали: «Я вам не самозванец, я ваш «природный» царь!»

Так кто же он был?

В 1605 году Годунов назвал его «Отрепьевым» в письме к польскому королю. Говорили, что он сын галицкого дворянина («сына боярского») Богдана Отрепьева, убитого каким-то литвином в Немецкой слободе.

Предки его вышли из старого дворянского рода Нелидовых. В XV веке один из них получил не очень благозвучную фамилию – Отрепьев.

В бесконечных разоблачительных обращениях хорошо его знавшего патриарха Иова, в письмах Годунова, в «Сказании о Гришке Отрепьеве» и «Повести, како отомстити», написанных по заданию Василия Шуйского после гибели «Дмитрия» (когда его предавали анафеме во всех церквах), и была создана официальная его биография – лжеца, хитреца, колдуна, черно-книжника, «вора». Впрочем, все эти эпитеты трудно вяжутся с человеком, которого мы уже знаем. Ну какой же он был хитрец, коли с самого начала открыто посмел объявить самое крамольное, за что жизни лишались: что «быть ему царем на Москве»!

Нет, это скорее – безумец.

Из враждебных выдумок о его жизни перед пострижением в Чудовом монастыре всплывает один несомненный факт, но факт поразительный: оказывается, до пострижения служил Отрепьев в доме бояр Романовых и князей Черкасских.

И еще одно со всей очевидностью следует из нашего повествования: во всех описываемых событиях монах Григорий Отрепьев вел себя так, будто был абсолютно уверен: он истинный царевич Дмитрий.

Между тем царевич, несомненно, был убит в Угличе в 1591 году. Как уже говорилось, тело его было выставлено в соборе, и люди могли его видеть. Углич – небольшой город, множество людей хорошо знали царевича, но никаких слухов о подмене тогда не возникло.

Следует также напомнить, что иноземец Буссов, свидетель событий, писал: «Годунов при появлении «Дмитрия» тотчас сказал, что это боярский заговор. И добавил: его «подставили».

Попробуем же проникнуть под шутовскую маску, которой было закрыто лицо убитого человека, вошедшего в русскую историю под именем Лжедмитрия Первого.

Сюжет для романа: средневековая интрига

После своего мирного восшествия на престол Годунов поверил, что ему удалось сломить «добрых и сильных» – великих бояр; что идущие от Рюриковичей Шуйские, родовитейшие Мстиславские и Голицыны и, наконец, Романовы (которым он при царе Федоре дал слово держать их у власти, но обманул, отодвинул в тень) смирились с его правлением – безродного Государя!

Конечно, правитель знал нехитрое правило: «Доверяй, но проверяй». Множество доносчиков окружало его потенциальных противников. Кнутом и пряником управлял он ими.

Уничтожив самых опасных Шуйских, он вернул самого ничтожного (так ему казалось) – Василия, приблизил его и жалкого брата его Дмитрия ко двору. Это была роковая ошибка. Василий, видимо, и стал главной пружиной всей интриги. Как впоследствии он успешно устроит заговор против «Дмитрия», так и тогда он успешно объединил бояр против Годунова. Но действовал куда более скрытно, ибо Годунов был куда более опасен.

Привлеченный к расследованию угличского убийства, он уже из бесед с Годуновым понял кровавую вину Бориса (и свою задачу). Великий интриган привез из Углича «бомбу». Он сформулировал нелепицу: царевич убил себя сам! Тогда и случилось то, чего он добивался, народ сказал: «Убил Годунов». Теперь можно было начинать. Бороться с Годуновым в открытую у бояр не было сил – слишком могуч был правитель. Но он сам дал им смертельное оружие против себя...

Это в Англии можно с легкостью убивать королей и королевских детей. На Руси же можно бессчетно убивать Шуйских, Воротынских, Романовых, но нельзя было безнаказанно пролить священную царскую кровь в стране, где Государь был Богом и оставался им столетия – вплоть до падения последнего царя.

Годунов был человеком своего времени и своей страны – мистический ужас неотвратимого возмездия владел им. И тогда бояре придумали казнь для Бориса – решили создать «тень», которая должна была его уничтожить. Тень «природного» царя, которая раздавит царя выборного!

Сначала надо было найти молодого человека, который был бы похож на Дмитрия. Шуйские и Романовы видели царевича, так что выбирали со знанием дела. Оттого-то Отрепьев гордился своей бородавкой и рыжеватыми волосами, которые, видимо, были у убитого царевича... Но главное – кандидат должен был быть натурой поэтической и нервной, способной поверить в историю о своем чудесном спасении, которую ему собирались рассказать. Отрепьев был, несо-

мненно, человеком романтического склада: вся история с Мариной о том свидетельствует. Его не пришлось долго убеждать в высоком происхождении и невероятном избавлении от смерти – достаточно было рассказать простую сказку о лекаре, который подменил его, – и он поверил. Ибо хотел, готов был поверить. Как и многие молодые люди после расстрела царской семьи в Екатеринбурге готовы были верить в то, что они и есть чудом спасшиеся царские дети!

Для того его и взяли в палаты Романовых и Черкасских. Здесь его готовили: рассказывали о временах его младенчества, о том, как спасли... Здесь, видимо, и дорогой крест передали – с легендой о том, как хранил его у себя Мстиславский до поры до времени, чтобы не выдал богатый крест врагам великой тайны его происхождения.

Должно быть, неясные слухи о загадочной деятельности бояр в романовских палатах просочились, и доносчики что-то сообщили Борису. Тогда-то и последовали разгром Романовых и их окружения, утеснения Мстиславских и Шуйских.

«Тень» тотчас заботливо укрыли в Чудовом монастыре, где издревле царил вольный дух оппозиции. Здесь жил знаменитый Максим Грек, сюда захаживал князь Курбский...

Над образованием Отрепьева, вероятно, хорошо потрудились в доме Романовых и их родичей, ибо в Чудовом монастыре – центре московского просвещения – он стремительно выделился. Но романтический молодой человек не выдержал гнета великой своей тайны и, видимо, с кем-то очень близким поделился: скоро возвратит он отнятый самозванцем Борисом отцовский престол. Гром грянул – сам царь повелел отвезти его в заточение. Но каковы же были силы, стоявшие за молодым монахом, если они сумели убедить Смирного не исполнить царский приказ – пожертвовать жизнью, чтобы дать возможность бежать Григорию Отрепьеву! Возможно, дьяка тоже обманули рассказом о спасшемся царевиче...

И не случайно бежит Отрепьев в Литву не один, но в окружении двух монахов – Варлаама и Мисаила. Оба они, как напишет Варлаам, встречались в палатах Шуйских. Эти люди и должны были охранять в дороге драгоценную «тень». А все «негодование» Варлаама поведением Отрепьева в Речи Посполитой – это ложь, которую ему велено было впоследствии вставить в челобитную, написанную уже после гибели «Дмитрия», когда создавалась нужная царю Василию Шуйскому легенда о «расстриге», предавшем свою веру.

Речь Посполита была подготовлена к приезду Отрепьева – «Дмитрия» канцлером Львом Сапегой, с которым бояре вошли в сношения еще в бытность его в Москве. Именно потому, согласно польским источникам, после посещения Москвы мудрый канцлер вдруг изложил королю удивительный план: уничтожить опасную Русь руками самозванцев.

Но Лев Сапега не сыграл до конца свою роль – знакомство «Дмитрия» с Мариной поставило во главе заговора Юрия Мнишека, которого Сапега и презирал, и ненавидел. Потому-то канцлер становится вначале противником «Дмитрия», объявляя его слишком жалкой кандидатурой, чтобы ставить на карту отношения с могущественным Годуновым...

«Дмитрий» собирает войско и творит те чудеса на поле брани, которые творила Жанна д'Арк, – с той же безграничной верой в свое предназначение. И побеждает! Впрочем, победить ему было легко – главные царские воеводы играли с ним в поддавки. Непостижимо проигрывает сражение Мстиславский, бездействует Шуйский, отступает Салтыков... все знатнейшие боярские фамилии уже были в заговоре против «взявшего не по чину» Годунова.

Вот почему после появления «Дмитрия» Филарет Романов в своем монастырском заточении так повеселел, удивляя хорошим настроением братию монастырскую, и храбро прогнал из кельи своего соглядата, чернеца Иринарха...

Теперь для окончательного торжества нужна была только смерть Годунова. И он умер – удивительно вовремя. Был ли это удар, постигший царя в тот момент, когда он разгадал боярскую ловушку, или... это был яд?

Яд – древняя боярская традиция. К примеру, Василий Шуйский вскоре отравит своего племянника, знаменитого Скопина-Шуйского... Тишайший подслеповатый старик не имел себе равных в тайных интригах и злодействах.

Во всяком случае, версия об отравлении Годунова была так правдоподобна, что пришлось боярам пустить слух, уже испробованный Шуйским в Угличе: Годунов убил себя сам – не выдержал укоров совести и отравился.

Только накануне убийства «Дмитрия», перед тем как покончить с рожденной ими «тенью», Шуйский в первый (и последний) раз сказал правду заговорщикам: «Отрепьев нам нужен был, чтобы покончить с Годуновым...»

Хотели ли они сразу от него избавиться? Думается, нет. Они хотели править его именем – боярская власть при послушном царе (об этом тоже намекнул Шуйский в ночь перед убийством «тени»). Но созданный ими царь оказался, к своему несчастью, способней, чем они ожидали: почти год правил, явно отодвигая породивших его бояр от трона. Он привез в душную Московию опасный воздух свободной Речи Посполитой. К власти грозили прийти новые лица – представители провинциального боярства вроде Прокопия и Захария Ляпуновых, служилые московские люди.

Взбешенные Шуйские поспешили начать кампанию против него и чуть не заплатились головами. Тогда они начали действовать осторожней, сея лживые слухи. Свадьба с «поганой полячкой» должна была им помочь. И помогла...

Так погиб «Дмитрий» – Отрепьев – создание великой боярской интриги, должно быть, единственный невинный человек во всей цепи кровавых преступлений, именуемой Смутным временем. Но его будут называть отцом всех несчастий на Руси, предадут анафеме, само его имя станет бранным словом – символом обмана. И потомки рода Отрепьевых попросят у новых царей – Романовых права сменить свою несчастную фамилию.

«Полуцарь»

Сбылась мечта князей Шуйских – их славный род, происходивший от Александра Невского, пришел наконец на царство.

Взойдя на престол, лукавый Василий, сразу же получивший в народе презрительное прозвище «полуцарь», издал сразу несколько грамот, каждая из которых была ложью. В одной он лгал о намерениях коварного Самозванца перебить всех бояр, «а всех православных перевести в латинскую веру». В другой, отправленной во все концы Московии, лгал, что избрал его на царство «Освященный Собор, а также бояре и всякие люди – всем Московским Государством».

На самом деле соборного избрания не было – он договорился в палатах кремлевских с важнейшими боярами, участвовавшими с ним в заговоре, а потом на Красной площади его люди «выкрикнули» его имя. Так стал он царем – и присягнули ему бояре, и крест целовали...

Обещал он боярам совсем новый принцип власти – править «вместе с Земским собором» и никого не карать без совета с собором и боярской Думой, «опалить (подвергать бояр опале – Э.Р.) только за доказанную вину, а не за одно подозрение», как при Грозном, и наказывать ложных доносчиков. Так он отменял главное правило московских Государей: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить».

Мечта покойного князя Курбского становилась явью.

Василий начал свое царство с перезахоронений: Годуновы – Борис, Федор и вся царская семья – упокоились с почетом в Троице-Сергиевой лавре. За гробами везли в закрытой карете Ксению, горько оплакивавшую свою семью и проклинавшую «расстригу». Ей предстояло еще

многое пережить, увидеть избрание Романовых – начало новой династии – и умереть монахиней в 1622 году.

Игнатий, возведенный при «расстриге» в высший церковный сан, был сведен с престола, объявлен лжепатриархом и заключен в Чудовом монастыре. Имя его навсегда вычеркнули из списка патриархов. Просили вновь принять сан низложенного Иова, но он отказался, ибо ослеп. Патриархом был избран Гермоген, не побоявшийся в дни «Дмитрия» прилюдно возвысить свой голос против брака православного царя с католичкой.

Чтобы до конца покончить с «тенью», порожденной им самим и боярами, Василий решил перенести в Москву останки царевича Дмитрия. В Угличе в дни царствования воскресшего «Дмитрия» могила убиенного содержалась в небрежении. Иереи не смели служить над ней, ибо это значило уличать царя в обмане...

Вскоре были разосланы грамоты, где описывались вскрытие могилы царевича и явление при этом чудо: на теле не увидели и следа разложения, хотя прошло уже пятнадцать лет. Мальчик лежал в жемчужном ожерелье на разрезанной шее, в одежде, шитой золотом и серебром. И горсть орехов была у него в руке – так же, как в день убийства. С орехами и положили его тогда в гроб...

Из Углича обретенные мощи были отправлены в Москву, в Архангельский собор. Инок Марфа, «обливаясь слезами, молила царя и духовенство простить ей грех согласия с Лжедмитрием», отмечал летописец. И народ «рыдал, исполненный умиления».

Впрочем, и многие бояре, присутствовавшие в соборе, должны были каяться вместе с Марфой. И прежде всего – сам царь Василий, который нес раку с мощами, желая этим усердием заставить забыть свою прошлую клевету о «царевиче, убившем самого себя».

А потом решено было царем Василием и Священным собором принести всенародное покаяние. Гермоген позвал в Москву Иова. Годуновскому патриарху поднесли грамоту, в которой народ (но почему-то не царь Василий) молил отпустить ему все грехи – строптивость, вероломство, ослепление. Народ клялся впредь не нарушать присяги царю, винил себя во всех бедствиях, ниспосланных Богом на Русь... но при этом не винился в одном из главных грехов – в царубийстве, приписывая убиение царской семьи одному Самозванцу...

Иов ответил грамотой, где умиленно и красноречиво говорил о величии страны, созданной царями, и перечислял измены народные. Но и он не сказал всей правды – умолчал о злодеяниях Годунова...

Таково было это покаяние – вместе с ложью.

Но в конце своей грамоты Иов уже проклинал... новых самозванцев! Ибо, несмотря на умиленные рыдания, чудесные похороны и покаяния, будто адский хохот был всему этому ответом. Не успело замолкнуть эхо выстрела из пушки, рассеявшей злосчастный прах «Дмитрия», как, словно в издевку над новым царем, пополз фантастический слух: он опять спасся! Убили не его, оттого и напялили маску на мертвеца. Царевич Дмитрий жив!

Так посмеялась шутовская маска. Осторожней надо быть на Руси с опасными мертвецами!

Месть из гроба

Самозванцы были во всех странах, но ни в одной стране не было столько самозванцев, как на Руси.

Сразу же после гибели первого, и невинного, Самозванца начался этот невиданный поток. Целых двести лет российской истории пройдут под знаком непрерывного самозванства,

ибо оно станет проверенной и успешной моделью народного бунта во имя прихода доброго царя... Нищий и бесправный русский народ, преданно служивший московскому царю, верил, что его Хозяин должен быть непременно добрым. И люди ждали появления доброго «природного» царя, который придет и освободит их от злых «подменных» царей. Этот земной освободитель сливался в простодушном народном сознании с образом Мессии – Царя Небесного.

Так что по убиении «Дмитрия» тотчас явились новые «цари» и «царевичи» – будто несчастный развеянный прах его плодоносил.

Одни называли себя сыновьями царя Федора и рассказывали любимую народом легенду, будто сына, рожденного царицей Ириной, подменил Годунов, положив в колыбель девочку. Она умерла, а мальчик спасся. И было этих спасшихся «царевичей – сыновей Федора» великое множество: Шейка, объявившийся меж казаками, Климентий, Савелий, Семен, Гаврилка, Ерощка... Явится и Лаврентий – еще один лжевнук Иоанна Грозного, но уже от сына Ивана... Великое выросло семейство.

Но все они были «воровской приправой» к бунту, а «главным блюдом» закипевшей Смуты оставался все тот же «вновь спасшийся царевич Дмитрий».

На другой день после убийства «Дмитрия» сын боярский Михалко Молчанов, человек, к убиенному близкий, прихватил во дворце Государеву печать и поскакал, загоня лошадей, в Речь Посполитую. По пути Молчанов всем рассказывал о чудесном спасении царя, а порой и сам объявлял себя «спасшимся Дмитрием».

Прискакав в Самбор, он попытался, говоря словами историка, «разжечь снова польскую печь» и опять испечь там «воскресшего Дмитрия».

Пока Марина с отцом томились под стражей в Московии, в Самборе у матери Марины Молчанов встретился с неким Иваном Болотниковым.

Иван Исаевич Болотников был холопом князя Телятевского. Его биография – нередкая для того сурового времени: бежал к казакам, участвовал в набегах, взят в плен татарами, продан туркам, выкуплен венецианским купцом. Пожил в Венеции, но заскучал – отправился в Запорожье к казакам. По пути узнал, что в Москве изменники-бояре хотели убить «царя Дмитрия», но он спасся вновь, бежал в Польшу и теперь готовится к походу на Русь.

Болотников понял, что настало его время – весело погулять по Руси. Он никогда не видел Дмитрия, и Молчанов представился ему спасшимся царем. Болотников предложил собрать войско. Новый «Дмитрий» радостно назначил его главным своим воеводой и повелел отвоевать царство, а он сам-де вскоре присоединится к войску с поляками.

Получив грамоту, скрепленную царской печатью, Болотников нача действовать. 12 000 казаков, служилых людей и голытьбы собрались под его знамена.

Но Молчанов не мог продолжать играть свою роль за пределами Речи Посполитой. Слишком хорошо знали его в Москве – он был среди людей, окружавших «Дмитрия», участвовал в убиении семьи Годунова... Так что, когда слух о спасении царя уже шел по всей Московии, самого «Дмитрия» все еще не было.

В это время и другой удалец поджигал Русь. Князь Григорий Шаховской был из людей, любимых убитым царем. После убийства, желая удалить князя из Москвы, бояре опрометчиво послали его воеводой в Путивль. Там он и объявил, что «Дмитрий» спасся. К нему и привел свое пестрое войско «царский воевода» Болотников.

И загорелась северская земля. Город за городом брал Болотников именем отсутствовавшего «Дмитрия». Шли сражения, а он все не появлялся...

Кровавый фарс был в разгаре. Болотников в ожидании «Дмитрия» разбил войско Шуйского и стоял уже у самой Москвы. Царь Василий трусливо прятался за городскими стенами.

В рядах «Дмитриевой рати» сражалось много представителей благородных фамилий. К примеру, под началом Болотникова, беглого холопа князя Телятевского, был... князь Телятевский! И люди из других знатных родов: князя Михайло Долгоруков, Иван Хворостинский, Василий Мосальский... Все они видели убитого царя, но в болотниковском лагере преспокойно слушали благодарственные молебны о чудесном спасении «Дмитрия», которого... по-прежнему все еще не было!

В это время в Москве появился военный герой – двадцатилетний племянник царя Василия князь Михаил Скопин-Шуйский.

«Дмитрий» чувствовал блестящих людей и сразу приблизил к себе Скопина, даже ввел для него новую придворную должность – Великого Мечника. На приемах послов стоял с обнаженным мечом у трона Государя юный красавец-гигант с льняными волосами.

Как бывало в то суровое время, внешность отражала душу. Будто воскресли в молодом Скопине варяжские князья-завоеватели. Унизительно было ему отсиживаться с дядей за московскими стенами и, вымолив разрешение у осторожного до трусости царя, он несколькими вылазками тяжелой конницы раздавил болотниковскую пехоту. Мятежным войскам пришлось отойти от Москвы.

К лету 1607 года после многих битв войско Болотникова было заперто в Туле. В городе было нечего есть, начался ропот.

Осажденные наконец-то захотели увидеть того, за кого они умирали, – спасшегося царя Дмитрия. Тщетно князь Шаховской посылал людей к Молчанову и умолял его объявить себя «Дмитрием» – тот боялся. И Шаховской гнал гонцов в Самбор – все молил прислать хоть кого-нибудь...

Вместо царя Болотникову удалось предъявить войску «его ближайшего родственника» – Шаховской уговорил прийти в Тулу «сына царя Федора». Это был некто Илейка Муромец, в молодости служивший у купца и по торговым делам бывавший в Москве. В своих показаниях он впоследствии расскажет: когда терским казакам не заплатили жалования, его, как побывавшего в Москве, они и объявили царем Петром – сыном Федора.

Этот «племянник Дмитрия» с бандой терских казаков весело гулял по Руси, грабил и убивал бояр. Убили боярина Ромодановского, ехавшего с посольством в Турцию, ограбили и убили воевод рязанских – князей Приимкова и Сабурова, убили князя Бахтиярова, а его дочь «царевич Петр» обесчестил и взял в наложницы.

Теперь Илейка повернул из степей свою банду и привел к Болотникову. Но осажденные не хотели Илейку-«Петра» – им нужен был «Дмитрий».

И он появился.

Никто не знал, откуда он родом и кто он... Скорее всего, он был поповским сыном или дьячком, ибо, по словам очевидцев, «уж очень хорошо знал весь церковный круг и Священное Писание».

Разные имена ему приписывались, но самое частое, оказавшееся символическим, – Матвей Веревкин. И белорусское местечко, где он впервые объявился, носило столь же провидческое название – Пропойск.

Веревкин из Пропойска бражничал и злодействовал, пил и вешал. Вот и все, что осталось в памяти людей от этого человека – второго Лжедмитрия, коварного, свирепого и безбожного, несмотря на духовное происхождение. Он был уродливой карикатурой на первого

Лжедмитрия – блестящего, талантливого и верующего. Хотя и второй был хорошо образован, знал латынь и даже Талмуд, но ни одного изречения, ни одной удачной фразы от него не осталось – только убийства, пьянство и изворотливая готовность подчиняться главарям самых разных отрядов, которые будут при нем. Он тоже «тень», но кровавая. «Полудмитрий», который будет править огромными территориями Русской земли и сделает «полуцаря» Василия жалким затворником в Москве.

В поход он выступил во главе польских отрядов и казачьих банд. Шляхтичи, пожелавшие пограбить ослабевшую Московию, бредили рассказами о богатых дарах, которые убитый «Дмитрий» щедро раздавал панам.

Пан Маховецкий, ставший при Веревкине гетманом, усердно готовил его к новой роли, сообщал подробности жизни «Дмитрия»... Впоследствии пришедший к Самозванцу пан Рожинский убьет пана Маховецкого и сам станет гетманом.

Много отрядов приведут к нему поляки, гетманом при нем будет и храбрый поляк из знаменитого рода – староста усвятский Ян-Петр Сапега. Наконец-то сбылась мечта старого Льва Сапеги – самозванцы уничтожали опасную Московию...

Еще один могучий отряд в несколько тысяч донских казаков привел к нему атаман Иван Заруцкий.

Иван Мартынович Заруцкий... Ребенком в корзине, привязанной к седлу, увезли его в татарское рабство, но уже отроком сумел он бежать к донским казакам.

Познавший татарскую плеть, смелый до безрассудства красавец станет одним из главных предводителей в лагере Лжедмитрия Второго.

Пришло возмездие: царь Василий узнал о грозном движении когда-то порожденной им «тени». Войска Лжедмитрия пересекли границу Московии, и все пограничные города предались под его власть.

Но с Болотниковым Самозванец так и не успел соединиться. 10 октября 1607 года царские войска запрудили реку Упу и затопили Тулу. Царь предложил мятежникам сдаться, но Болотников продолжал успешные вылазки из города, причиняя урон царским войскам. Был он словно заговорен – участвуя во многих битвах, не был ранен ни разу...

Но Шаховской и Телятевский уговорили его вступить в переговоры. Им надоело безнадежно сидеть в осажденном городе – голодными, по колено в воде. Болотников, так и не увидевший своего «Дмитрия», вместе с князьями и «царевичем Петром» согласился сдаться – под честное слово царя Василия, что он не причинит им зла. И царь обещал...

Исполнин Болотников встал на колени перед маленьким жалким царем и положил меч себе на шею. «Я исполнил свое слово. Я служил верно тому, кому дал клятву... А Дмитрий он или нет, того не ведаю, потому что никогда не видел истинного Дмитрия...»

Теперь царю предстояло сдержать честное слово. И он сдержал его – так, как привык. Илейку повесили в Москве у Серпуховских ворот, Болотникова отвезли в Каргополь, там ослепили и утопили. А князей помиловали: Шаховского сослали, а Телятевского «из уважения к его роду» отпустили и не лишили даже боярства.

Это не была «слабость царя, которая вреднее жестокости», как выразился историк, – это был обычный расчет Василия Шуйского. В то время войска Лжедмитрия с великим успехом двигались по Московии, и многие бояре уже прикидывали: не перебежать ли к нему? И слабый царь не решился обозлить их казнями знатных родичей.

Пока Василий торжественно справлял свою победу в Москве, пришла ужасная весть: под Волховом войска Самозванца – польская кавалерия и казаки – разгромили царских воевод.

Младший брат царя Дмитрий Шуйский и один из убийц Годунова князь Василий Голицын (который, как напишет летописец, «первым замешался и показал тыл») бежали с поля боя с остатками армии. Чтобы оправдать свое поражение, прибывшие в столицу воеводы рассказали о несметных полках, надвигавшихся на Москву...

После победы над царскими войсками – так же, как при первой великой победе Лжедмитрия Первого – поляки тотчас заговорили о жалованье. Второй Лжедмитрий обещал им все – «и золото, и серебро, только просил, чтобы не покидали его... всегда были при нем... и обещал, что впредь одним городом в Московии будет править поляк, а другим москвитянин».

Скоро Самозванец уже стоял лагерем у Москвы – в местечке Тушино. Оттуда разлетались его грамоты с веселым кличем-посвистом: «Грабь!» Он обращался к холопам бояр, служивших царю Василию: «Берите поместья и женитесь на дочерях владельцев. Вы теперь бояре». И горели усадьбы, и толпы шли за ним.

Жестокий и страшный, будто наказание Божье за все клятвопреступления народные, за царскую кровь, – он был царь-дьявол, окруженный зверями...

Зверства тушинцев описаны современниками. Юных монахинь насиловали прилюдно, а потом убивали. Убив мужа, рядом с неостывшим трупом забавлялись с женой и дочерью. Грудных младенцев топили в реках, как слепых котят, или разбивали им головы о камни на глазах родителей. Целые семьи жгли заживо вместе с детьми. Отшельников заставляли петь срамные песни, безмолвствовавших убивали тотчас, а певших – потом... И люди «бежали в дебри лесные, ибо там, среди зверей диких, жить было безопаснее, чем среди одичавших людей. Теперь в алтарях жили псы и животные, и в домах человеческих жили звери, а люди жили в лесных чащобах...» Но и там шла охота за людьми, как за зверьми, и матери душили детей, чтобы те криком не подозвали разбойников. Ночью земля озарялась не луной, а пожарами. Грабители сжигали все, чего взять не могли, – «да будет Русь пустыней необитаемой»!

Как призывал один из тушинских «начальных людей»: «Бей до смерти, грабь донага, я за все в ответе!» Поляков, которые щадили пленных, тушинцы презрительно звали «слабыми женами». И, как писал Карамзин, поляки, содрогаясь, говорили: «Что же будет с нами от россиан, когда они друг друга губят с такой свирепостью?»

Бунт и зверства поглотили Русь. Москва и Троице-Сергиева лавра, Коломна и Переяславль да несколько городов – Смоленск, Новгород, Саратов, Нижний Новгород, Казань и сибирские городки – вот и все, что осталось московскому царю от великой Московии.

Остальными бесчисленными русскими городами заправляла зверствовавшая вольница. Рядом с Москвой воздвиглась вторая столица – тушинский лагерь. Кипело строительство – вместо землянок, вырытых для войска, теперь выросли крепкие избы, построили хоромы для начальников и дворец для «царя Дмитрия». Вино, мед, горы мяса и всякой снеди каждое утро двигались в «Тушинскую столицу». Более 100 000 жителей толпилось в этом городе бунта.

Многочисленные тушинские учреждения копировали московские – как и при царе Василии, при «царе Дмитрие» была боярская Дума, где заседала не голытьба, но родственники Романовых, князья Сицкие и Черкасские – прародители первого «Дмитрия», и даже боярин Иван Годунов – родственник Годуновых. Вместе с ними заседал пожалованный тушинским царем в бояре неграмотный казачий атаман Иван Заруцкий, ведавший Казацким приказом.

Самиими приказами ведали опытные дьяки из известнейших фамилий служилых людей – Грамотен, Чичерин. (Чичерины – знатный род, приехавший на Русь с Софьей Палеолог. Так что их потомок, ленинский министр иностранных дел Чичерин, имел тушинские традиции...)

Был и свой патриарх. Если в Москве Гермоген писал обличительные грамоты, проклиная «Тушинского вора», то в Тушине патриарх также писал грамоты, где «вор» именовался царем.

Кстати, тушинский Святейший был куда более знатен – родственник угаснувшей династии и отец основателя династии будущей Филарет Романов. Тушинцы захватили его в монастыре, сорвали монашеские одежды, надели рубище и после поношений и издевательств привезли монаха-боярина на расправу в «столицу». Но тамошняя Дума, где заседали родственники Филарета, не дала его в обиду. Поняли мятежные бояре, какой счастливый случай им выпал... И уже вскоре тушинский царь призвал Филарета и, обласкав его, предложил стать патриархом.

Когда архиепископу тверскому предложили служить «богомерзкому вору», он с негодованием отказался и был убит.

Филарет не пожелал мученического венца... или понял, что тушинский царь всего лишь плод от взращенного им самим с боярами ужасного дерева? И не задумал ли тогда деятельнейший Филарет вместо смерти почетной попытаться в сане патриарха начать искупать свой давний грех?

В воровской «столице» не хватало только царицы, но скоро явилась и она. Как и думные бояре, и приказные люди, и патриарх – царица истинная, на царство помазанная.

Марина, ее отец, послы и прочие знатные польские гости на свадьбе «Дмитрия» уже второй год жили под стражей в Ярославле. Наконец царь Василий сумел заключить соглашение с польским королем. Пленники отпускались на свободу, но с обязательством немедля покинуть пределы Руси. Марина не должна была впредь называть себя царицей московской...

Впоследствии Марина в письме своем к тушинскому воинству напишет главные слова – ключ ко всей ее судьбе: «Будучи владычицей народов, царицей московской, возвращаться в сословие шляхетское и становиться опять подданной не могу...»

Скорее всего, ей уже в Ярославле удалось наладить сношения с поляками из тушинского лагеря. И когда она, отец и прочие отпущенные в Речь Посполитую поляки под охраной тысячи царских воинов скрытно двигались к литовским границам, их нагнал тушинский отряд. Царский конвой был разгромлен, пленники отбиты.

По дороге в лагерь она была счастлива, радостна, даже пела. И польский шляхтич сказал ей, усмехнувшись: «Зря вы так веселитесь, Марина Юрьевна, тот, к кому вы едете, другой, совсем другой». Глупец! Он не понимал, что она ехала не к Григорию Отрепьеву и не к Матвею Веревкину – она ехала к Власти.

Но сначала она предпочла оказаться не среди буйных тушинцев, а в своем, польском окружении – в лагере Яна Сапеги. Здесь она и увидела впервые тушинского царя. По преданию, она ужаснулась, но жестокий отец заставил ее «признать в нем спасшегося мужа». Поверить в это – значит опять не понимать ее, как не понял тот польский шляхтич. Если бы хоть что-нибудь могло остановить эту женщину на пути к Власти, жила бы она в великолепном своем Самборе, а не двигалась вместе с обезумевшей разбойной Русью напрямик к петле... Но она выбрала. Сама.

«Кто был царицей московской, не согласится...» Хищный нос и узкие властные губы Марины...

Отец же ее, судя по всему, был в ужасе от страшного нового «Дмитрия». Вот почему Юрий Мнишек вскоре покинул лагерь, а она, видимо, вопреки его желаниям, осталась. Мнишек расстался с дочерью сухо, «отказав ей в благословении», как она сама напишет в письмах.

В лагере Яна Сапеги польскую аристократку тайно обвенчали с темным «Тушинским вором». Она поставила ему знакомое условие – брак станет реальностью и она разделит с ним ложе, только когда он возьмет Москву. А пока пришлось ей переехать в Тушино и разыгрывать сцены семейного счастья.

Но уже вскоре «столица» станет ей любя – она увидит красавца атамана Заруцкого. Поддалась ли впервые в жизни панночка сердцу? Или, как всегда, холодно все просчитала и поняла, как нужен ей этот отважный до безумия, обожаемый казаками атаман?

Неграмотному казаку Ивану Заруцкому, очевидно, не пришлось ждать взятия Москвы... Видимо, ситуация не вызвала восторга у «царственного супруга». Вот почему в письмах Марина жалуется уехавшему отцу на мужа, который «не оказывает ни уважения, ни любви».

Все это время и Тушино, и Москва то пополнялись знатными боярами и дворянами, то ощутимо пустели – люди московские создали новый обычай: они бегали между вражескими столицами.

При любой смуте у людей появляется возможность перестать быть теми, кем они являлись прежде. Подначальные торговые люди в Москве, к примеру, могли стать приказными людьми, начальниками, но в тушинском лагере. Младшие представители княжеских родов имели возможность стать великими боярами – для этого надо было только пересечь границу Москвы и перебежать в Тушино.

Свои измены люди называли насмешливо-невинно – «перелетами». Бежали сначала от Василия в Самозванцу, а когда в Тушине становилось опасно, возвращались обратно в Москву и каялись, а заодно просили и награду за раскаяние – утверждения в полученной в Тушине высокой должности.

Московские стены – таковы теперь были границы жалкого царства Василия Шуйского, полученного ценой стольких предательств. Все «великие сражения» с тушинцами разыгрывались в пределах и ближних окрестностях столицы. Летописи описывали, как Василий «с отборным царским войском» встретил отряды врагов у московской речки Пресни и гнал их до московской речки Химки, но тушинцы отогнали его войска обратно до Ходынки... Победы в этих унижительных сражениях праздновались в Москве с такой пышностью, будто победили татарское ханство...

За пределы Москвы великий интриган более не выйдет.

И вдруг забрезжила великая надежда. Царю удалось заключить договор с врагом поляков – шведским королем, и Василий послал в Новгород для окончания переговоров все того же молодого воина – князя Скопина-Шуйского.

В Новгороде неутомимый князь собрал ополчение. Согласно договору пришел к нему в помощь пятнадцатитысячный шведский отряд под командованием искусного воина Якоба Делагарди. Отслужив молебен в Софийском соборе, молодой князь начал из Новгорода свое победное шествие.

Много раз громил он тушинские войска. В октябре 1609 года он взял бывшую столицу Опричнины – Александрову слободу, где еще недавно во дворце Ивана Грозного пили и веселились поляки Яна Сапеги.

Прославленная польская кавалерия была разгромлена русскими «гуляй-городами» – пушками на телегах, за которыми прятались воины. Смяв кавалерию пушечным огнем, пешие ратники бросались на противника и довершали разгром.

На договор Москвы со шведами польский король Сигизмунд ответил как должно: в сентябре 1609 года он перешел границы Русского государства.

Папа, не одобрявший войну с христианской Московией и предпочитавший поход на неверных турок, все-таки послал королю освященную шпагу.

Сигизмунд направился к Смоленску. Армия его была невелика, ибо до него уже дошли слухи, что многие бояре не хотят более ни казацкой гольтыбы, ни подслеповатого коварного «полуцаря», и желают привести Московию под власть польского короля. Как всегда, слухи были наполовину ложью, наполовину правдой. Бояре и вправду устали от «воров» и «полу-

царей» и действительно хотели настоящего царя из Польши... но не Сигизмунда, а сына его, Владислава, и то при очень многих условиях...

Так что подошедшие к Смоленску войска короля под командованием гетмана Станислава Жолкевского встретили не открытые ворота, но пушечные залпы с неприступных стен. Сигизмунд безнадежно застрял под осажденным городом.

И тогда его послы отправились в тушинский лагерь – предлагать польским воинам соединиться с королем. Сначала это вызвало ярость у вольнолюбивых поляков: король посмел вмешаться в игру, которую они почти что выиграли ценой своей крови! Польские начальники тотчас договорились создать конфедерацию против Сигизмунда. Но послы, зная характер панов, повели переговоры раздельно с каждым из них, обещали большие деньги и чины. Да и поражения от князя Скопина сделали панов сговорчивее.

И хитрый Самозванец почувал: его могут выдать Сигизмунду, сделать предметом великого торго панов с королем и с царем Василием.

В январе «Тушинский вор» вместе с шутом Кошелевым бежал в телеге, зарывшись в навоз. Он приехал в Калугу. Мятежный город оказал ему восторженный прием.

Оставшись без царя, тушинцы растерялись. В лагере начался раздор. Из Тушина в Калугу стали по ночам уходить отряды казаков.

Однако часть поляков и русских тушинцев пребывала в нерешительности – колебалась. И тут сказал свое слово патриарх Филарет – вместе с духовенством, боярами и ратными людьми выступил он против «вора». На русской сходке было предложено ехать к польскому королю и просить на царство королевича Владислава. Атаман Иван Заруцкий тоже решил податься к гетману Жолкевскому со своими казаками.

Но Марина оставалась в Тушине. Из пустеющего лагеря она забрасывала письмами Сигизмунда, упорно называя его «добрым братом королем» и подписываясь «царицей московской». И отец ее, и римский папа получали письма с той же гордой подписью.

Она ждала, чем закончится дело в Калуге. Только узнав, что «Дмитрия» хорошо встретили, что к нему опять сбегаются казаки, – она приняла решение...

Ее уже сторожили. Ночью, в одежде стрельца, в меховой шапке, надвинутой на лоб, польская аристократка ускакала из лагеря в сопровождении пажа и камеристки.

По дороге ее нагнал брат, кастелян Станислав Мнишек. Он умолял сестру вернуться в лагерь, сдаться на милость короля, вспоминал про прекрасный Самбор, где ее так ждут... Но она только посмеялась над ним.

Когда они уже прощались, Марина вдруг открылась брату: «царица московская» должна была родить «наследника трона»...

По пути в Калугу она заехала в Дмитров, где из последних сил отражал атаки князя Скопина Ян Сапега.

Сапега и поляки величали ее «Государыней». Воодушевляя рыцарство, прекрасная Марина появилась на крепостных стенах. Но главного ей добиться не удалось – Сапега не пошел за ней в Калугу.

В феврале 1610 года под стенами Смоленска появилось посольство русских-тушинцев – дворяне и приказные дьяки. Они привезли Сигизмунду договор, по которому «природный королевич» Владислав мог занять московский престол. В договоре звучал голос «второго слоя правящего класса», как назовет их русский историк. И голос этот, никогда не слышимый прежде, зазвучал благодаря Смуте.

Договор написал бывший годуновский воевода Михаил Салтыков, перешедший когда-то на сторону первого Лжедмитрия и ставший думным боярином у Лжедмитрия Второго. Есте-

ственно, в договоре прежде всего писалось о неприкосновенности православия. И еще – о царских расправах. Не желавший более терпеть бессудные расправы московских царей «второй слой» предложил целую систему нового судопроизводства – «все судятся только по закону». И главное – «ответственность за преступления не падает на родственников провинившегося».

Зараженные идеями польской вольницы дворяне предлагали в договоре будущему Государю поделиться своей властью с Земским собором и боярской Думой. Среди многих пунктов был один, повторявший обещание убитого «Дмитрия», – «право каждому из народа московского вольно ездить в другие государства христианские...» Право, которое появится в России только в конце XX века!

И ни слова о княжеских родах. Правда, ни слова также не говорилось о свободе холопов. «Нам дорого наше рабство», – объяснили послы Сигизмунду.

Уже горел оставленный поляками и русскими тушинский лагерь. Князь Скопин-Шуйский, выбив Сапегу из Дмитрова, триумфально приближался к Москве.

В марте 1610 года под колокольный звон, сквозь бесконечные ряды москвичей, на колених славивших освободителя, вступил в столицу победоносный князь со своим войском. Как жалок был рядом с молодым богатырем убогий его дядя...

И все чаще звучало – вот какой царь нужен Руси!

Скопин пресекал такие разговоры, с гневом обещал расправу. Но Василий повел себя в проверенных традициях – и месяца не прожил князь Михаил в Москве.

В апреле у боярина Воротынского праздновали крестины сына. Жена Дмитрия Шуйского поднесла Скопину чашу с вином. Князь выпил и сразу почувствовал – смерть! Кровь хлынула из носа и ушей, как когда-то у Годунова. Знакомый был яд...

Его отвезли домой. Под причитания жены двадцатичетырехлетний полководец скончался.

Теперь Василий смог воздать ему заслуженные почести. Скопина похоронили в Архангельском соборе рядом с московскими Государями.

Бесконечный кровавый калейдоскоп Смуты продолжался.

Летом 1610 года русские и шведские войска – уже под водительством князя Дмитрия Шуйского – пришли под Смоленск. Но, еще вчера победоносная, армия была наголову разбита гетманом Жолкевским в кровавой сечи при Клушине.

Дмитрий Шуйский ускакал с поля боя, трусливо бросив и весь обоз, и золотой свой штандарт, и даже саблю. «Был воевода сердца не храброго... любящий красоту и пищу, а не лука натягивание», – так отзывался о нем летописец.

Остаткам шведского корпуса поляки разрешили уйти на родину с обязательством не помогать более московскому царю.

В это время у самой Москвы, в селе Коломенском, вновь восстал из небытия «Тушинский вор». Боровский монастырь, Серпухов, Коломна и Кашира вновь предалась его власти.

Марина жила с ним в Коломенском, ждала ребенка.

После поражения при Клушине в Москве было все решено. Как когда-то, еще боярином, Василий Шуйский составлял заговор против Годунова и потом против «Дмитрия», так теперь составили заговор против него самого. Подступавший к Москве гетман Жолкевский не переставал сноситься тайно с боярами и дворянами московскими. Они договорились об избрании на царство «природного» царя – Владислава. Надо было только быстрее покончить с жалким «полуцарем» и его ничтожным братом-трусом...

У Лобного места на Красной площади вновь собираются толпы, подстрекаемые все теми же боярами. В толпе выкрикивают: «Прогнать несчастного царя!» И опять один патриарх – на этот раз Гермоген – защищает царя, стыдит народ, напоминает о крестном целовании. В ответ чернь забрасывает Святейшего песком и мусором...

И тогда дворяне и служилые люди идут во дворец, подступают к царю и молят его. «Земля опустела, ничего доброго не делается в твое правление... сжался над нами – положи посох царский...» – так говорит Василию огромный Захарий Ляпунов. Но маленький подслеповатый царь выхватывает нож и идет на великана, стыдит, что он, жалкий рязанский дворянин, дерзает в отсутствие великих бояр говорить такое ему – Государю...

Бояре собирают народ за Москвой-рекой, у Серпуховских ворот. Туда же приходят прежние соратники царя, «добрые и сильные». На сходе решают бить челом царю от имени всего народа московского и просить, чтобы он, несчастливый, царство оставил. Объявить Василию об этом народном решении посылают его вчерашнего друга-свояка – князя Воротынского, у которого на крестинах сына так удачно отравили молодого князя Скопина.

Пришлось Василию оставить царский дворец. Теперь жил он в своем прежнем боярском доме с молодой женой, красавицей Марией Буйносовой. И хотя грамоту Василию дали – «не чинить зла и бед ни ему, ни брату его Дмитрию», старик ждал...

И уже вскоре все тот же Захарий Ляпунов с товарищами и монахами Чудова монастыря появился в его палатах. Они пришли постричь царя в монастырь, разлучить с любимой женой, которой тоже предстояло стать монахиней. Василий молил оставить его в миру, но обряд начался. Сжав губы, молчал старый царь. Обеты монашеские за него произносил князь Тюфякин.

Вчерашнего царя свезли в Чудов монастырь, а братьев его посадили под стражу.

Сбылась боярская мечта! В ожидании приезда королевича Владислава несколько бояр – вчерашних сподвижников Шуйского в его заговорах – стали править страной. И люди целовали крест «князю Мстиславскому со товарищи принять государство Московское, пока Бог не даст нам царя».

Еще раз порвалась цепь времен. Впервые Русь жила без царя – светопреставление свершилось...

Семибоярщина, боярская олигархия, – пришла во власть в Московии. Наследством великих князей московских правили потомки могущественных удельных князей и бояр – Мстиславский, Голицыны, Шереметев, Воротынский, Романов, Салтыков...

Все они уже успели предать – кто четырех, а кто и пятерых царей. Подошедший с войском к Москве гетман Жолкевский был принят ими как друг.

27 августа Москва торжественно присягнула Владиславу. От имени королевича гетман присягнул на соблюдение договора – того самого, который привозил Михаил Салтыков королю под Смоленск. Только теперь в нем появились новые пункты – про бояр и князей: «Московских княжеских и боярских родов приезжим иноземцам не теснить и не унижать». И еще – вычеркнули статью о праве отъезжать в чужие земли. Открытую дверь на чужбину справедливо сочли опасной для спертого воздуха Московии, для старозаветных порядков...

Но Сигизмунд, несмотря на все просьбы своего окружения и письма Жолкевского, по-прежнему не собирался отказаться от своей мечты – самому сесть на русский трон. Он выдвигал множество условий, которые должны были выполнить бояре, прежде чем король отправит на Русь королевича. И главное условие – покончить с «Тушинским вором».

Гетман Жолкевский начал переговоры с предводителем последнего могучего польского отряда, поддерживавшего Марину и «вора», – с Яном Сапегой. Он предлагал рыцарству упро-

силь Самозванца отдаться под власть короля, сулил выпросить у короля Самбор «в кормление» ему и Марине.

Но решал не Самозванец. Марина же не хотела обсуждать никаких условий – все или ничего. «Будучи... царицей московской, возвращаться в сословие шляхетское... не могу».

Тогда гетман договорился с Москвой. Бояре разрешили его войску ночью пройти через город к Угрешскому монастырю, где обитали Самозванец и Марина с казаками. Но видимо, предупредил их кто-то из поляков, и на рассвете они бежали обратно в Калугу.

С ними вновь был вечный мятежник Иван Заруцкий. Приворожила атамана панночка! Не смог он забыть ее, бросил и победное дело, и гетмана Жолкевского – бежал в неизвестность. Но с Мариной.

Сигизмунд все тянул – откладывал решение. Тогда хитрый пан Жолкевский уговорил Филарета и Василия Голицына возглавить посольство к королю – самим молить его отдать сына... И отправились знатные послы под Смоленск, где король безуспешно продолжал осаждать неприступный город.

Когда послы прибыли, им зачитали новое требование Сигизмунда: коли хотят они Владислава, пусть отошлют в Литву бывшего царя Василия Шуйского с братьями, «чтобы они в Московском государстве смут не делали...»

И еще раз предали бояре своего царя.

Весело уезжал Жолкевский из опасной Москвы в Краков с великой добычей. В каретах ехали пленники – царь Василий и брат его Дмитрий с женой. Это и была награда Василию за все великие его ухищрения, за многие предательства.

Триумфатором вернулся в Краков гетман. Несчастливого русского царя в королевском дворце поставили перед Сигизмундом и велели кланяться...

Но в час унижения, крушения всей жизни, Василий Шуйский стал достоин своего рода. Потомок великих полководцев сказал: «Не будет этого! Не подобает московскому царю польскому королю кланяться... Не на поле брани взяли вы меня, но подлою изменою подданных моих...»

Он умрет через два года в заточении. На царской могиле останется надпись: «Полякам на похвальбу, государству Московскому на укоризну».

Королевича Владислава поляки так и не отдали. На сейме были дебаты, много речей было произнесено: «Не отдавать им королевича! Своего царя Ивана не они ли ядом извели?... Говорят, он был тиран... Но маленький Дмитрий в чем повинен? И его убили!.. Царю Борису крест целовали, и ему изменили... Федору, сыну его, присягали и тут же убили... Шуйскому в верности клялись и свергли сами, когда беда пришла...»

Долго перечисляли паны клятвопреступления московские и вопрошали: «Разве можно отдавать королевича народу, который так часто предаёт свою клятву?»

Заканчивался страшный 1610 год. В декабре в Калуге погиб «Тушинский вор».

Его прежний сподвижник, касимовский хан, после бегства Самозванца с Мариной из Угрешского монастыря подался со многими сторонниками «вора» к гетману Жолкевскому, но сын его оставался с Самозванцем. Отец тосковал, захотел навестить сына. И «вор» решил, что пора образумить всех задумавших бежать от него, пора проявить характер «отца» – Грозного. Он повелел утопить приехавшего к сыну старого татарина. Тогда же был казнен Иван Годунов, обвиненный в измене.

Кровью укреплял свою власть второй Лжедмитрий. Яростная жестокость и трусливая хитрость – вот и все черты безликого злодея.

Наконец последовало возмездие. На охоте касимовский татарин Урусов, телохранитель «вора», отомстил за своего хана – на скаку ударом меча отсек Самозванцу голову и вместе с другими татарами-охранниками ускакал в степь.

Шут «вора» Кошелев примчался в Калугу. Полуодетая Марина металась по городу – зывала к мести. И казаки изрубили всех татар, остававшихся еще в Калуге...

Вместе со вторым «Дмитрием» погибло и имя. И хотя уже вскоре в Пскове объявился новый «спасенный Дмитрий», само звучание этого имени потеряло вдруг дьявольскую силу. «Псковский вор» был быстро схвачен и казнен.

Впереди было еще много страданий и крови, но безумный вихрь Смуты начал ослабевать. Будто с именем Иоаннова сына, ставшего проклятием русской земли, ушло некое страшное, кровавое зло, оставленное в наследство грозным царем своим покорным подданным...

Венец Марины

Хотя в польском плену вместе с русским посольством оказался Филарет (только тогда послы поняли коварный план Жолкевского – увезти в Польшу всех влиятельнейших московских людей), хотя страшным огнем выгорела Москва, захваченная все-таки поляками, хотя в темнице Чудова монастыря уморили голодом неукротимого патриарха Гермогена, звавшего в своих грамотах изгонять ляхов, но уже поднялось негодование народное по всей русской земле. Люди в городах начали создавать свое, народное ополчение – идти освобождать город царей, Москву.

Именно тогда опять объявилась исчезнувшая было Марина.

После смерти Самозванца она родила сына, который, едва появившись на свет, был тотчас провозглашен «царем Иоанном Димитриевичем Пятым».

И снова была у нее надежда, ибо по-прежнему служил ей опасный Иван Заруцкий, скорее всего, и бывший отцом ребенка.

Теперь они до конца будут вместе.

Как только рязанский воевода Прокопий Ляпунов, брат Захария, свергавшего царя Василия Шуйского, начал собирать народное ополчение против засевших в Москве поляков, пришел к нему удалой атаман Заруцкий со своими казаками. Пришел с одной тайной мечтой – избрать на царство Марину с сыном...

Начало было удачным. Ополчение вошло в Москву и заперло поляков в Кремле и Китай-городе. Уже готовился последний штурм. Но Заруцкий отлично знал, что душа ополчения, воевода Прокопий Ляпунов, никогда не согласится на царствие Марины... И он решил – пора!

Все это время он сносился с поляками, засевшими в Кремле. Они и подбросили казакам грамоту, якобы писанную Ляпуновым, где говорилось, что воевода, и до того жестоко боровшийся с мародерством казаков, задумал вконец их истребить.

Ляпунова позвали на казачий круг и зверски изрубили саблями.

Во главе созданного ополчением Временного правительства встал теперь Иван Заруцкий. Безумная мечта опять начала сбываться – Марина сможет стать царицей. Оставалось только занять Кремль...

Но воеводы не захотели быть с казаками-убийцами и ушли из лагеря. Ополчение распалось – поляки в Кремле были спасены.

Казаки во главе с Заруцким бесчинствовали в окрестностях Москвы. Был захвачен Новодевичий монастырь – ограбили ризницу, насильовали монахинь. Общую участь разделила веч-

ная жертва – несчастная дочь Годунова Ксения. Та, на которую, по словам летописца, «прежде они взглянуть бы не посмели».

Но с уходом «земских людей» казаки остались без продовольствия и оружия. А к Москве уже грозно двигалось новое – второе народное ополчение...

Заруцкий пытался бороться. Он даже подослал убийц к вождю ополчения, князю Дмитрию Пожарскому, но они были схвачены и рассказали об удавом атамане.

С возлюбленной Мариной Заруцкий бежал в Рязань.

Но внутри души народной – свершилось... Началось таинственное возрождение.

Символом его стал монах Дионисий. Архимандрит Троице-Сергиева монастыря не только превратил обитель в неприступную крепость, которую не смогли взять ни поляки, ни «Тушинский вор». Он сделал монастырь бастионом добра и милосердия среди всеобщей жестокости и озверения. Монахи искали по дорогам раненых и умиравших, немощных и старых и приносили их в обитель, которая была не так уж велика, но вместила Божеским чудом многие тысячи. Отсюда и начал Дионисий писать свои грамоты об очищении и спасении души (и лишь потом – об очищении и спасении земли).

Люди сами, без всякого призыва, начинали вдруг поститься. Великий пост охватил грешную, страждущую страну. Из этого очищения, истинного и добровольного покаяния и возникло то второе, великое народное ополчение. Оно освободило Москву и Русь – и от захватчиков, и от Смуты...

И «Совет всея Земли» (совет воевод народного ополчения) созвал новый Земский собор, в котором были выборные от всех сословий и впервые – от казаков и свободных крестьян. Все они съехались в сожженную Москву – избрать царя.

Как всегда на подобном собрании, образовалось множество групп. Все они имели своих кандидатов, продвигали их и даже подкупали друг друга. Романовы не имели сильных заступников, ибо самый влиятельный из них, Филарет, был в польском плену. Но свершилось чудо – избрали Михаила Романова, отрока шестнадцати лет...

По льду реки, сверкая на морозе крестами и окладами икон, двигалась бесконечная процессия в Ипатьевский монастырь, где укрывались во время Смуты Михаил и мать его, инокиня Марфа. Шло духовенство в полном облачении, бояре в высоких шапках, казаки при оружии и множество людей всех чинов.

В монастыре Марфе и сыну ее торжественно вручили грамоту от имени «всего Освященного собора, бояр, воинства и всего народа русского» – чтобы мать благословила сына на царство и чтобы он, «благочестивый и великий Государь... милость оказал и прощение принял». Но Михаил вернул грамоту – с плачем и словами: «Не хочу быть вашим Государем!»

И тогда Марфа произнесла горькую речь о том, как «непостоянством русских людей» погибло государство, о бесконечном «крестопреступлении», о поругании прежних царей... Много часов молили старицу пришедшие, а она все не соглашалась.

Наконец умолили... Скольких ее потомков погубит шапка Мономаха, которую надел тогда юный царь Михаил Федорович!

Мистическая эта династия начинается с моления в Ипатьевском монастыре, построенном предками Годунова – главы первой убиенной царской семьи. А закончится династия в Ипатьевском доме – убиением последней. И Михаил было имя первого царя, и Михаил будет имя последнего, в чью пользу безуспешно отречется Николай Второй...

Уже был избран новый царь, а Марина с Заруцким все скитались по горькой разоренной земле, пока не добрались до Астрахани. Здесь они решили основать свое царство.

Казачи Заруцкого заставили жителей города провозгласить Марину царицей. Всю зиму 1614 года держались они в Астрахани. В древней столице ханов, окруженная казацкой гольтьбой, правила Марина... Рядом с нею были католические священники – диковинные в бывшем татарском городе. Она построила здесь костел, в котором каждый день усердно молилась.

Отсюда Марина писала письма персидскому шаху, предлагая привести свое «Астраханское государство» под его власть. И подписывалась – за себя и за своего неграмотного соправителя Заруцкого.

А кровавый ее любовник пировал и рубил головы. Купцы, приносившие благосостояние городу, давно перестали ездить в Астрахань, и люди роптали.

Атаман горько пил, чувствуя роковую западню, и спьяну даже объявлял себя царем Дмитрием... Но нельзя безнаказанно трогать роковое имя – и, как когда-то в Москве, увидела Марина ночное восстание в Астрахани. И так же ударили в набат...

На этот раз они заперлись, отсиделись в Кремле. Но к городу уже подходил отряд царских стрельцов, и, бросив свое последнее царство, Марина бежала с Заруцким вверх по Волге...

Они добрались до реки Яик. Здесь, на Медвеьем острове, был последний вольный приют польской аристократки.

Преследовавшие их стрельцы окружили казацкий городок. И атаман Ус выдал стрельцам Заруцкого и «царицу московскую» с сыном.

В Москву их везли дорогой великого унижения – через Астрахань. Заканчивался июнь 1614 года, заканчивался ее путь к венцу. Мученическому венцу...

В Москве удалого атамана посадили на кол – умирал бесстрашный казак в мучениях нечеловеческих. Заплатил он великой мукой за кровь соотечественников и прелести Марины.

Несчастливого ее мальчика – «воренка», как его именовали русские летописцы, – повесили.

Сама же Марина зачахла от горя в заточении – так убеждал поляков в Кракове царский посол Федор Желябужский: «А Маринка на Москве от болезни и тоски по своей воле померла». Но, скорее всего, умерла она не «по своей воле», но по обычаям того сурового времени. «Царицу московскую» попросту удавили.

Ее отец, Юрий Мнишек, скончался годом ранее – ему не было суждено пережить любимую дочь.

Десятилетняя история «Иоаннова сына», начавшаяся в Самборском замке, окончилась. Опасный царский венец придавил всех зачинателей Смуты.

«И ныне воровская смута вся миновала», – сказал в Кракове все тот же московский посол.

Эпилог

Итак, измученная страна обрела царя. Когда молодой Михаил Романов прибыл в Москву, бояре сообщили, что жить ему будет негде – Кремль и дворец царский лежали в руинах. «А тех хором, которые ты указал приготовить, скоро отстроить нельзя... палаты и хоромы все без кровли, лавок и окошек нет, надо делать все новое».

Казалось, что под стать Кремлю было и состояние общества – «надо делать все новое». Ибо потрясения и смуты – отнимая благополучие, бросая людей в пучину великих потрясений, – рождают в обществе совершенно новые идеи.

Вторжение поляков с их «помешательством на вольности» в русскую жизнь, построенную на безграничном подчинении царю, годы безвластия, духовных потрясений от всевозможных измен – царских, боярских и духовенства, – казалось, навсегда разрушили старый порядок, и грядущая жизнь на Руси отныне могла строиться заново, тем более что люди увидели невоз-

можное – свое государство без царя. Ощущение, которое, по словам историка, сопровождало прежней жизни («природный» царь есть хозяин земли, а «все люди – пришельцы, живущие по его воле»), должно было измениться – ведь народ уже не раз выбирал, сам ставил своего Государя.

Но во время избрания нового царя восторжествовала старая идея. Избрали не по заслугам перед Отечеством (какие были, к примеру, у претендовавшего на престол князя Дмитрия Пожарского, вождя победоносного народного ополчения), но по близости к ушедшей московской династии.

Во время битв тогдашних «партий» некий безымянный дворянин из Галича (кстати, родины Григория Отрепьева) подал письменное мнение: ближе всех по родству к прежним царям стоит Михаил Романов. Вслед за ним некий казачий атаман подал свою «запись» – как он сам объявил: «О природном царе Михаиле Феодоровиче». И восторжествовал все тот же «природный» царь, не отличавшийся ни зрелым возрастом, ни заслугами, ни умом – лишь родством с царями прежними.

Так что взгляды общества даже Смута не переменяла...

Однако вначале Михаил правил вроде совсем по-новому – не только вместе с боярской Думой, но и со ставшими привычными в Смутное время Земскими соборами. Голосом Земли, плодом разбуженной Смутой народной активности был этот русский парламент. С 1613 по 1622 год заседали Земские соборы почти непрерывно, чтобы затем... начать умирать. И случилось это, как только возвратился из польского плена властолюбивый отец молодого Государя Филарет. Он стал не только патриархом, но и соправителем царя, а точнее – истинным правителем Руси и началом конца активности соборов.

Парадокс: узнав о соборе, готовившемся избрать Государя, Филарет из польского плена предупреждал в письме, что пытаться восстановить прежнюю власть царей – значит вновь подвергнуть Отечество опасности потрясений и что он лучше умрет в тюрьме, чем на свободе увидит такое несчастье. Но все эти идеи ограничения царской власти, часто захватывавшие русских людей на чужбине, тотчас исчезли у него по возвращении с Запада на родину...

И сами Земские соборы никогда не пытались ограничить власть Государя. Они лишь были помощью ему и советом, и не могли быть ничем иным. Ибо после закрепления крепостного права, закабаления большинства народа соборы не были представительными, – они отражали чаяния лишь малой части населения... Во второй половине XVII века соборы умирают.

Итак, прежнее рабство породило прежних царей. Круг замкнулся. Русь вернулась на круги своя. Родовые муки Смуты разрешились знакомым ребенком – Московия вновь родила азиатское самодержавие.

На века осталось и закабаление крестьян – «наше рабство». И «безумное молчание людей, не смеющих глаголити истину своим царям...», о котором так сокрушался Авраамий Палицын.

Роман оказался без окончания...

Так что уже в семнадцатом веке мерещится призрак семнадцатого года и в Ипатьевском монастыре притаились тени Ипатьевского дома. Притаилась грядущая Смута.

Дневник Наполеона

Из архива Шатобриана

Письмо издателю

Я купил рукопись Лас-Каза в сентябре 1842 года в Женеве. Основной текст рукописи написан, видимо, в 1815 году. Но много позднее автором были сделаны многочисленные вставки в этот текст – другими чернилами. Думаю, их следует набирать курсивом.

P. S. Вчера я читал рукопись маленькому Гийому. Ему четырнадцать лет, он родился после смерти Бонапарта, и все великие имена, столь недавно будоражившие воображение века, ему уже неизвестны. Банальное, но, увы, вечное – *Sic transit gloria mundi!* А что будет еще через десяток лет?..

Поэтому высылаю с нарочным самые краткие (ибо ненавижу, когда прерывают чтение) примечания.

Рукопись

Долго смотрел я на свою, увы, дрожащую руку: переплетение морщин – таинственная карта...

Однако к делу. С острова Святой Елены вернулся мой сын... Нехороша фраза. Нет в ней силы, как любил говорить император. Он умел чеканить строку. Его обращения к армии... «красноречие победы»...

Король¹ послал целую делегацию выполнить последнюю волю императора – привезти его тело в Париж. Я не поехал: мне восемьдесят лет, и я вижу все хуже и хуже. Книги, труд с пером убили мое зрение...

А на остров за гробом отправилась знакомая (но – увы! – прополотая временем) компания – те, кто разделял вместе со мной изгнание императора.

Поехали:

Мой сын.

Гофмейстер двора императора граф Бертран. (Теперь ему под семьдесят. Его белокурая жена Фанни умерла, он поехал с сыном.)

Камердинер императора Луи Маршан. (Я помню его юношей, а нынче он – почтенный буржуа.)

Слуги императора Сен-Дени и Новерра – повар и конюх.

Генерал Гурго. Этот несносный человек сохранил свой отвратительный характер и в долгом плавании сумел перессориться со всеми.

Не поехали:

Я.

Граф Монтолон. Говорят, что за какие-то девять лет он промотал полтора миллиона франков. Буквально за несколько месяцев до поездки он поступил на службу к племяннику императора². Монтолон умудрился возглавить экспедицию, которая должна была свергнуть

¹ Луи Филипп.

² Луи Наполеон, ставший после смерти Римского короля (сын Наполеона) наследником династии Бонапартов.

короля и возвести на трон Луи Наполеона. Эти идиоты решили повторить подвиг покойного императора. Но великий побег с острова Эльба превратился в жалкую комедию. В их заговоре, конечно же, участвовали агенты короля, и когда простаки высадились в Булони, их уже ждали. Графа Монтолона осудили на двадцать лет.

Врачи, лечившие императора, О'Мира и Антомарки. Оба этих лекаря весьма поспешно последовали на тот свет за знаменитым пациентом. Мне хочется написать – слишком поспешно...

На острове императора похоронили, как он того желал – подле родника с чистой водой, текущего мимо двух ив, на небольшой полянке, заросшей цветами. Место называлось «Долина герани».

Хорошо помню, как он впервые увидел это место с вершины оврага. И, усмехнувшись, сказал мне: «Здесь меня следует похоронить». Это случилось месяца через три после нашего приезда. Он тогда был отменно здоров, в расцвете сил – ведь ему не было и пятидесяти... Так что я только улыбнулся.

Но там его и похоронили. Там он и лежал почти двадцать лет и ждал, пока за ним приедут из Парижа. Ждал под безымянной плитой, которую охраняли английские солдаты.

Я не видел ни похорон, ни могилы. Император умер после того, как меня увезли с острова.

Сын рассказывал мне: когда подняли безымянную плиту, под нею оказались еще несколько тяжелых плит (две были отлиты из металла). Император покоился в четырех гробах, заключенных друг в друга. Так англичане стерегли его после смерти...

Наконец открыли последний гроб. В истлевшей одежде, покрытый истлевающим синим плащом с серебряным шитьем (в нем он был при Маренго), император лежал совершенно... живой. Он был таинственно не тронут тлением!

И Бертран воскликнул:

– Как он помолодел... юноша!

– Просто мы стали стариками, – ответил Маршан, – а император все такой же.

– Нет, – шептал Бертран, – он отчего-то не подвергся тлению. А ведь его не бальзамировали...

– Он всегда побеждал, – сказал Маршан. – Победил и тление. Фраза слишком патетичная для бывшего камердинера. Я услышал в ней голос императора.

После чего Маршан вынул бумагу и прочел несложные и странные строки:

– Император завещал передать вам: он всегда знал, что вернется в свой город, и Париж еще услышит знакомое: «Да здравствует император!»

Мой сын сказал, что все это было написано... рукой самого императора! И тогда вся компания прокричала над открытым гробом:

– Да здравствует император!

Теперь я уверен: Маршан всё знал. И император знал, что не подвергнется тлению...

Я пошел встречать его гроб, когда он прибыл во Францию, хотя сын отговаривал – декабрь, ледяной ветер... Я стоял в толпе. И в меркнущем свете (мои глаза!) неясно видел, как гроб, покрытый черным покрывалом, плыл в воздухе, качался на фоне парусов.

Император вернулся.

Я сильно простудился. Встану ли?..

Открываю записную книжку и в который раз перечитываю старые записи.

Его тайна...

25 ноября 1816 года я в последний раз видел императора.

В ту ночь, вопреки обыкновению, он отпустил меня рано. Я тотчас уснул, но посреди ночи проснулся от ужасающего грохота. Выбили дверь. Ворвались. Зажгли свечи... Солдаты побросали мои вещи в сундуки.

Как я боялся вмешательства императора! У его постели всегда стояло заряженное ружье... Но из спальни не донеслось ни звука. Неужели он не проснулся? Какое счастье!

Меня вывели в ночь. И в окне я увидел... лицо императора! Освещенный свечой – ее держал Маршан – император совершенно спокойно смотрел, как меня уводили...

Только теперь я понимаю: он этого хотел. Ведь вместе со мной на волю уходило все, что он рассказал мне...

Через час я сидел в маленькой камере. Утром пришел губернатор. Говорят, доктор О'Мира рассказал ему о слабом здоровье моего сына – просил не высылать меня. Губернатор ответил: «Что значит для большой политики смерть одного ребенка!»

Губернатор проследовал в камеру. Потрясая моим (перехваченным) письмом, он кричал, что предупреждал меня не писать клевету на него и английскую корону, прославляя преступника – «генерала Бонапарта» (так он называл императора). Я тотчас предупредил, что хотя сейчас, к его счастью, я безоружен, но – клянусь честью Лас-Казов! – впоследствии отыщу его хоть на дне морском. И он мне ответит – мы будем драться!.. Жалкий трус пытался расхохотаться, но по лицу было видно – испуган.

Потом меня посадили на корабль, идущий до мыса Доброй Надежды. Я заболел тропической лихорадкой, несколько месяцев провалялся в госпитале. Но Господь помог мне. Вопреки приказу губернатора, меня с сыном отправили в Лондон. Мои бумаги были опечатаны и лежали в каюте капитана. В Лондоне их отобрали. Но кое-что я сумел спрятать...

Через много лет я вернул все свои бумаги. И написал, книгу, которая стала знаменитой. Я составил ее из записей, которые продиктовал мне император. Величайшие умы нашего времени признают, что во многом благодаря этой книге он вновь стал кумиром просвещенной Европы.

И вот вчера вернулся на родину и его прах. Но только теперь, вспоминая все, перечитывая заново свои бумаги, я догадался... Я не понимал главного! Все мы – я, его свита, охранники, губернатор и даже сам остров, на который его сослали, – были лишь жалкими марионетками в игре императора. Точнее – в его последнем сражении, которое он выиграл при нашей общей помощи.

Да, я часто перечитываю его слова... И все, что произошло, представляется мне совсем в ином свете.

И его смерть – тоже.

О себе. Я – Эмманюэль Огюст Дьедонне Мариус Жозеф маркиз де Лас-Каз. Еще в XI веке мой предок прославился в сражениях с маврами. Я появился на Божий свет в родовом замке Лас-Казов в департаменте Верхняя Гаронна.

Судьба будто направляла нас друг к другу. Я учился в том же Парижском военном училище, которое четыремья годами позже окончил император. Я был морским офицером, когда познакомился на Мартинике с Жозефиной де Богарне (тогда ее звали Мари Жозе-Роз Таше де ля Пажери). Креолка... она – само желание, маленькая богиня... Потом судьба разбросала нас.

После революции я эмигрировал, был в армии принца Конде, сражавшейся против Республики. И только при императоре получил возможность вернуться во Францию. Тогда я и узнал обо всех событиях бурной жизни моей хорошей знакомой. Оказалось, она переехала в Париж, где вышла замуж за виконта де Богарне, впоследствии генерала революции (и, конечно же, гильотинированного той же революцией). Креолку спасло только падение Робеспьера. Ну а далее, как известно, она стала женой генерала Бонапарта и, наконец, императрицей французов.

Благодаря Жозефине (во-вторых) и собственным достоинствам (надеюсь, во-первых), я сделал карьеру в империи: получил графский титул, пост камергера и успешно исполнил ряд секретных дипломатических поручений. Но главное – стал автором «Исторического и географического Атласа», весьма популярного в Европе.

В окружении императора я появился после его возвращения с Эльбы, во время великих Ста дней, «когда орел вновь распростер крылья над Францией» (его фраза). Но только после Ватерлоо, в дни отречения, я оказался рядом с императором. И вместе с ним отправился на Святую Елену.

Я пробыл там почти год, и все это время непрерывно вел записи под диктовку императора. Порой мы работали по шестнадцать часов в сутки... пока не наступил тот самый день – 25 ноября 1816 года.

Лицо императора, освещенное свечой в окне... оно исчезает в ночи... Скоро, скоро оно исчезнет вместе со мной...

Обычный вечер

Первый раз догадка о его тайне мелькнула уже на острове. В тот вечер мы ужинали как всегда в восемь. И вначале все шло как заведено. Это был самый обычный вечер. Я описал его тогда же в своих записях.

Перед ужином он позвал меня в кабинет – маленькую комнатку. В доме их два десятка, в них живет полсотни человек. Слуги ютятся и в чердачных помещениях.

На месте дома когда-то был скотный двор. Целых полстолетия здесь мирно обитали домашние животные. И только недавно его превратили в жилище, настелив доски поверх свиных экскрементов. Сегодня утром прошел дождь и из-под досок особенно несет навозом. Это напоминает о прошлом дома... В другие дни запах менее силен, но постоянен.

На нашей проклятой скале всегда сыро – мы живем среди вечных туч. Когда внизу над долинами сияет солнце, здесь идут дожди. Книги и мои записи постоянно покрываются плесенью.

Но он, император-солдат, живший в палатке на бивуаках, не снимавший во время маршей по несколько дней сапог, будто не замечает ничтожества своего нынешнего жилища... Нет, не так: замечает, но не страдает.

Страдаем мы.

Император занимает две комнатки по двенадцать метров с низенькими потолками. Здесь его кабинет и спальня.

В кабинете на жалких обоях – портреты Марии Луизы, Жозефины и сына в столь нелепых здесь великолепных рамах из Тюильри. И огромный стол, занимающий почти всю комнату.

– Садитесь, – сказал мне милостиво император. – Сегодня после ужина я хочу прочесть в салоне вольтеровскую «Заиру».

Обычно после ужина он развлекает нас чтением своих любимых произведений. Но (тоже как обычно) пьеса куда-то запропастилась. Вещи как-то умудряются теряться в этой крохотной комнатке!

Император беспомощно ищет пьесу на столе, на стульях, даже на полу, подслеповато роется в бесконечных бумагах. Приподнимает карты собственных походов и походов Цезаря. Ворошит кипу страниц, записанных мною под его диктовку...

И тут я впервые замечаю: буквально в последние дни император начал стремительно (и загадочно) дряхлеть...

Пьеса нашлась на столе.

На том же столе вскроют его мертвое тело.

Она торчала из-под треуголки, которую император всегда почему-то кладет на стол поверх карт. И когда он, торжествуя, приподнял свою знаменитую, оставшуюся на тысячах картин треуголку, из-под нее выскочила огромная крыса. В доме множество крыс и они особенно полюбили треуголку императора.

Крыса плюхнулась на пол, и я с отвращением смотрел, как эта жирная тварь неторопливо уползала в дыру между досками. Император рассмеялся. Крысы его не смущают – они напоминают о походах, о времени славы...

Часы пробили восемь. Киприани (слуга, он же – уши императора) в черных панталонах и темно-зеленом мундире с золотым шитьем торжественно застыл у двери с бронзовым канделябром в руке.

С последним ударом часов он объявляет:

– Ужин Его Величества подан!

Император предлагает руку даме. Как обычно, это Альбина Монтолон, жена графа Монтолона. Другая дама – Фанни Бертран, жена гофмейстера – не пришла, лежит дома с мигренью. Так она объявила. На самом деле она попросту не любит наши «сборища».

Император и Альбина первыми входят в еще одну комнатушку, именуемую «столовой Его Величества». За ними следуем мы, три графа: Монтолон, Бертран и я, Лас-Каз. И чуть сзади – один барон, генерал Гурго.

Генерал, как обычно, зол и старается затеять ссору. Я слышу, как он шепчет Монтолону: «Если ваша жена – шлюха и спит с императором, это еще не повод садиться на почетное место». (Почетные места – стулья рядом с императором.) Мне Гурго уже успел поведать, что не может видеть, как жадно я ем, «это неестественно при таком тщедушном теле». Садясь, он поспешил сказать неприятное и гофмейстеру: «Все же лучше иметь жену-шлюху, как у Монтолона, чем худую белобрысую селедку с вечной мигренью». И уже за едой он сообщает нам троим свистящим шепотом, что мы можем его «вызвать», если сочтем нужным.

Мы давно привыкли к генералу. И гофмейстер остается невозмутим, и Монтолон делает вид, что не расслышал. Только я не выдерживаю и шепчу в ответ что-то злое.

Император ужинает в мундире гвардейских егерей.

В нем его и похоронят.

Все мы сидим перед тарелками северского фарфора, украшенными сценами его победоносных сражений. И с тоской глядим на пьесу, которую император торжественно положил рядом с собой. Понимаем, что чтения (император читает ужасающе, усыпительно-монотонно) не избежать.

Покончив с едой, переходим в «салон» – еще одну столь же восхитительную комнатушку, пахнущую навозом. И, как обычно, Альбина Монтолон поет любимые арии императора.

Потом играем в карты. Император рассеянно глядит куда-то поверх голов и равнодушно проигрывает несколько золотых наполеондоров.

Потом, опять же как обычно, он заговорил о литературе. Заговорил со мной – остальным эта тема скучна.

На сей раз император хвалит Шатобриана. И себя – за то, что не отправил Шатобриана в тюрьму.

Он глядит на меня, и я понимаю – этот разговор нужно записать.

– Я несколько раз должен был посадить его в Венсеннский замок! Сначала Шатобриан написал в своей газете... – Император с удовольствием цитирует по памяти: – «Что с того, что Нерон процветает, где-то в империи уже рожден Тацит». Нерон, как всем должно было быть понятно, – я. А Тацит, конечно же... Не обращать внимания на газеты – это то же, что заснуть на краю пропасти. И я позвал к себе Шатобриана. Лесть – отличное средство, чтобы держать в узде господ литераторов... Я сказал Шатобриану:

«Как странно – маленькая литература всегда за меня, а великая почему-то против». Он молчал, хотя по лицу было видно – доволен! Тем временем у него сделали тайный обыск и нашли некую рукопись о смерти Бомарше, где были какие-то глупости обо мне, о бегстве короля... – Император, усмехнувшись, посмотрел на меня. – Это можно не записывать. Потом мне передали речь Шатобриана, которую он собирался произнести при вступлении в Академию. Когда я прочел ее, я был краток: «Ему повезло. Будь она произнесена, этого господина непременно пришлось бы отправить в каменный мешок». Но, ценя поэта, я сам занялся правкой его речи. И, конечно же, он отказался ее исправить. И, конечно же, я его не тронул – но отправил в ссылку... Но воздадим ему должное: он много сделал для торжества любимых им Бурбонов. И он воистину великий человек...

Я понял – это надо записывать. Император кивнул. И вздохнув, прибавил, что вообще-то Шатобриана он не любил, и что поэт в своих памфлетах против него часто опускался до клеветы.

Это записывать было не нужно.

– Но за одну фразу Шатобриана о Фуше и Талейране, – продолжал император, – я все готов ему простить. Когда жалкий король вернулся в Париж, перед его покоями появились мсье Талейран и мсье Фуше. И Шатобриан заметил: «Вот идет Порок об руку со Злодеянием!»

Это необходимо было записать. Император вновь одобрительно кивнул и пояснил:

– У Шатобриана лучшее перо во Франции. Прочтя наши слова о себе, он не преминет написать и о нас что-то стоящее.

Император, как всегда, думал об Истории.

«Он вернул Богу самую могучую душу, когда-либо вдохнувшую жизнь в глину, из которой лепится человек», – написал Шатобриан после смерти императора.

Император и здесь не ошибся.

Он заговорил о Цезаре, попросил Гурго принести карту. И по карте дал несколько ценных советов галлам, как им было лучше выстроить оборону против Цезаря две тысячи лет назад. Жаль, что галлы не могли этого услышать...

Потом он сказал:

– А теперь, господа, идемте в театр. Сие означало: он будет читать пьесу.

Император читал «Заиру» усыпительным голосом и снова давал советы. На сей раз Вольтеру – как ему было лучше написать последнее действие. Жаль, что и Вольтер в своей могиле не мог этого слышать...

Он кивнул мне, и я записал его советы Вольтеру.

Потом он сравнил «Заиру» с «Тартюфом» и заговорил о Мольере:

– Мир – это воистину великая комедия, где на одного Мольера приходится с десяток Тартюфов. – Он скосил глаза, удостоверился, что я записываю, и прибавил: – Но я не поколебался бы запретить постановку этой великой пьесы: там есть несколько сцен, оскорбляющих нравственность.

Это записывать явно не стоило. Я отложил перо.

Император кивнул.

Все, кроме меня, после сытного обеда борются с дремотой. Но «салон» нельзя покидать, пока император не скажет обычное: «Который час, господа? Ба! Однако пора спать!»

Сегодня император особенно милостив. К восторгу присутствующих, он глядит на часы Фридриха Великого, стоящие на камине, и говорит:

– Ба! Однако... Он встает.

– Пора спать!

Перед сном камердинер Маршан позвал меня в спальню императора.

Потертый ковер на полу, муслиновые занавески на окнах, грубые деревянные стулья и походная кровать с зеленым пологом из его палатки под Аустерлицем. Перед кроватью китайская ширма. На камине серебряная лампа и серебряный таз для умывания. Остатки империи...

В спальне я застал скандального генерала. Император говорил ему, снимая мундир:

– Послушайте, Гурго, вы несносны. Вы действительно спасли мне жизнь в России, вы храбрый солдат и хороший штабной офицер, с вами интересно обсуждать походы Цезаря, но... вы несносны!

– Вы окружены льстецами, только их и цените. А этот Лас-Каз, с которым вы неразлучны и позволяете ему записывать за вами... он первый вас и предаст, – сказал Гурго, глядя прямо на меня.

Я собирался ответить наглему, но император предостерегающе поднял руку:

– Это не так, и вы это сами знаете. Но если бы и так... Я люблю полезных мне людей и люблю в той мере, в какой они полезны. Мне нет дела до того, что они думают. Если они впоследствии предадут меня... что ж, они сделают то же, что и многие другие. Род человеческий должен состоять из очень больших негодяев, чтобы оправдать мое мнение о нем.

Он засмеялся. Гурго угрюмо молчал.

– Простите его, Лас-Каз. Он нервен, ибо молод... и ему, видимо, попросту нужна женщина. Но это не повод беситься и бесить нас всех. В конце концов, Гурго, спуститесь вниз, в городок, и уладьте это обстоятельство. Или поступайте, как я – не думайте о женщинах. Если о них не думаешь, они не нужны. Берите пример с меня.

Тут Гурго не выдержал. Его понесло:

– Брать пример с вас, Сир? Вчера я застал Альбину в вашей комнате полуодетой. А до этого я видел... она сидела около вас в ванной!

Император усмехнулся:

– Ну хорошо, даже если я сплю с нею... а это отнюдь не так... что тут обидного для вас?

– Нет, в это я не верю, – съязвил генерал, – не могу даже предположить, что у Вашего Величества такой дурной вкус!

Император посмотрел на него. У него бывает страшный взгляд: в нем нет ни злости, ни угрозы – просто бездна. И ты содрогаешься...

– Простите меня, Ваше Величество, – прошептал Гурго.

В июле 1816-го Альбина родила девочку и назвала ее Наполеона. И покинула остров.

Подавленный Гурго ждал разрешения удалиться. Император долго молчал, потом заговорил:

– Потерпите немного. Когда я умру, вам всем достанется приличное состояние – я об этом позаботился. Но сейчас, в этом аду, мне хочется видеть вокруг себя только веселые лица. И если вы не можете... лучше уезжайте. Я вас отпущу.

И когда окончательно уничтоженный Гурго уходил, император вдруг сказал:

– Неужели вы думаете, что я не переживаю самые горькие минуты, когда просыпаюсь ночью и вспоминаю... Но я же терплю!

Гурго заплакал.

Впрочем, придя в свою комнату (ему определили самую убогую, ибо он приехал один – я был с сыном, Бертран и Монтолон с женами), Гурго не простил себе слез. И мстительно записал в дневнике «Жалкий Монтолон, какую роль он играет! И этот противный уродец Лас-Каз, который столько о себе думает!»

Поразмыслив, он внес в дневник и последние слова императора. А потом на протяжении недели каждый день писал одно и то же:

«Скука... Скука... Великая скука!»

Незадолго перед моим отъездом Гурго со злобной улыбкой показал мне эти записи.

Мы с императором одни. Второй час ночи. Император расхаживает по спальне, и очередная крыса ринулась от него в дыру между досками.

Он посмотрел на знаменитую кровать, на которой спал в дни Аустерлица. Кровать была расстелена, и ширма, прикрывавшая ее, отодвинута.

И вдруг император сказал:

– А ведь я на ней умру...

– Да что вы такое говорите, Ваше Величество, – запротестовал я, подумав: «Вот уж непохоже...» И посмотрел на него внимательно, чтобы ничего не пропустить, когда буду описывать его в моих записях.

Короткие ноги, крупная плоская голова, каштановые волосы, сильные плечи, толстая шея. Квадратный подбородок тяжеловат и несколько нарушает классичность профиля. У него красивый нос, лоб без единой морщины, великолепные зубы (которым завидовала Жозефина) и холеные руки. Полная (даже несколько женская) грудь с редкими волосами едва прикрыта халатом. Когда я впервые увидел его в ванне (он обожает там сидеть), я поразился – какой маленький член у императора... как у мальчика...

Таков облик человека, потрясшего воображение мира.

«Целых полтора десятка лет в Европе жил лишь один человек – все остальные стремились наполнить свои легкие воздухом, которым дышал он», – напишет все тот же Шатобриан. После падения императора по Европе прокатилась волна самоубийств молодых людей – мир для многих потерял былую притягательность.

– Вы правы, Лас-Каз, сейчас я здоров. – Император, как всегда, читал мысли. Для тех, кто был с ним рядом, это давно перестало быть удивительным, сделалось даже привычным. – Мое сердце делает шестьдесят два удара в минуту, я его попросту не чувствую. Природа наградила меня двумя способностями для истинного долголетия: спать в любое время суток и не излишествовать в еде и питье. Вода, воздух и чистота – главные лекарства в моей аптеке. У меня железное здоровье хорошего солдата. И все-таки... все-таки я скоро умру. И не надо тратить время на пустые возражения. Я уже говорил вам, что у меня есть некое внутреннее чувство... я всегда – слышите: всегда! – знаю, что меня ожидает. За семь дней до моего рождения на небе появилась комета. И поверьте, скоро она появится вновь – уже над этим островом. Кометы

возвещают о рождении и смерти великих властителей... И еще: однажды ко дню рождения мне прислали забавный подарок. В Парижском военном училище разыскали мою юношескую тетрадь – записи по географии, знаменитый курс аббата Лакруа. И последняя запись в этой тетради была... вы уже догадались?

Он посмотрел на меня, застывшего с пером, и улыбнулся:

– «Святая Елена, маленький остров». И всё! Далее записи почему-то обрывались, хотя в тетради оставались пустые страницы, много пустых страниц. А ведь я тогда был беден и экономен... Я тотчас вспомнил об этом на корабле, когда эти негодяи объявили мне место изгнания. И понял – это моя последняя гавань... конец... Так и запишите: «Со мной никогда не случилось того, чего бы я не предвидел». Наши милые глупцы так и не поняли, почему сегодня я читал им «Заиру»...

И он продекламировал из вольтеровской пьесы:

– «Но увидеть Париж мне не достанет силы. Ужель не видите – я на краю могилы!»

Так что я не удивился, когда узнал от Маршана, что в первых числах февраля 1821 года (за три месяца до смерти императора) над Святой Еленой появилась... да, комета!

Маршан рассказывал: «Комета! – воскликнул император с какой-то странной радостью. – Я ждал ее! Комета возвестила смерть Цезаря и вот – возвещает мою...»

Третий час ночи. Император в вишневых шлепанцах и белом халате расхаживает по комнате. Он думает. Машинально тронул знаменитую треуголку, на этот раз положенную им на камин. Очередная крыса тотчас плюхнулась на пол. Как они полюбили его шляпу! И когда они только успевают туда залезть?

– Надо заделать, – бормочет он, глядя на дыру в полу.

В этой треуголке его похоронят.

Потом он сказал:

– Какой роман вся моя жизнь! – И добавил торжественно: – С сегодняшнего дня мы будем писать материалы к моему завещанию. Это непростая работа, к ней надо отнестись серьезно. Я хочу, чтобы после меня не осталось никаких долгов. Я должен отблагодарить по заслугам моих друзей. И врагов – тоже.

И тотчас начал диктовать, продолжая ходить по комнате:

– «Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни!» Вот начало моего завещания!..

Я хотел спать, я умирал... моя голова упала... Он засмеялся:

– Меневи́ль³ обычно падал именно в это время. Стоило мне задуматься, отвлечься... оборачиваюсь, а он спит. И рядом с ним мирно храпят мои министры.

Он посмотрел на мою голову, опять стукнувшуюся о стол.

– Ба! Вам пора спать.

Сегодня, повторяю, он милостив.

Я вернулся к себе. Сон вдруг пропал. Я знал, что и он не ложится – сидит на кровати, а дождь стучит по крыше... Я представлял, как в темноте его душит бешенство.

Чем он занимается? С кем говорит? С этим ничтожеством Гурго, который посмел... Генерал спас его в России. Но и здесь, на острове, он, оказывается, тоже его спас. Киприани донес:

³ Секретарь императора.

Гурго рассказывал в городском кабаке, что недавно второй раз спас императора... когда на него напал бык! Вот правда о его сегодняшней жизни, о ее опасностях, героях! О жалких людях, делящих с ним изгнание!..

Бедный Маршан ждет, не гасит свечу. Его мать служила нянькой Римскому королю, и сам он с юности прислуживает императору. Маршан знает: пока император не спит, свечу гасить нельзя...

Наконец в тишине ночи сквозь тонкие перегородки я слышу звук – император лег, точнее – грузно, ничком упал на кровать. И наверняка, как обычно, в то же мгновение заснул.

И Маршан, услышав знакомое ровное дыхание, торопливо загасил свечу и ушел в свою каморку.

Короткий сон овладевает императором. Раньше он спал по три часа – и этого ему хватало. Теперь порой хватает получаса перед рассветом.

В ту ночь, уже засыпая, я вдруг снова явственно услышал его слова: «Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни!»

На следующее утро – все как обычно. Солнце только поднялось, но я уже слышу голос императора. Он ждет, когда караульные уйдут с постов у нашего дома. Он не желает появляться в присутствии неприятеля. Он запрещает себе быть пленником.

Но солдаты не могут уйти, пока его лицо не покажется в окне. Император это отлично знает. И начинается молчаливая игра: он смотрит в окно, будто хочет удостовериться, ушли ли караульные, а в это время их командир может разглядеть в окне лицо императора. Теперь он имеет право передать губернатору – пленник не сбежал.

«Корсиканское чудовище» (так называли его в Англии, так именует его губернатор) на острове, все в порядке.

Губернатор Гудсон Лоу – средних лет, и все в нем среднее. Никакое лицо – одно из тысяч английских лиц: узкое, с узким носом, не отражающее ни пороков, ни страстей. Маленький человек, счастливый правом распоряжаться вчерашним повелителем королей. И мучить его.

Но и сам губернатор – тоже мученик. Призрак Эльбы преследует его. На каждом корабле, прибывающем к острову, ему мерещатся заговорщики, каждый день ждет он бегства императора.

Караул покидает нас. Теперь император может выйти в сад.

Он в белом сюртуке, шлепанцах и в шляпе с широкими полями. Нетерпеливо трясет большим бронзовым колокольчиком:

– Маршан, не спи! Выспишься, когда вернешься к себе домой. Все тот же, но уже веселый намек на свою смерть.

Император в отличном настроении, он напевает:

– Мамзель Маршан, поднимайтесь, уже светло, встало солнце! Несчастный, заспанный «мамзель Маршан» выходит из дома, неся серебряный тазик с водой, зеркало и походный несессер. Император замечает мое лицо в окне и говорит (уже для моих записей):

– Все стоящие правители вставали раньше своих слуг. И Фридриху Великому, и русской императрице Екатерине приходилось их будить.

Он садится на скамью. Выходят полусонные слуги. Один берет зеркало, другой растирает его жирную безволосую грудь полотенцем.

Император бреется сам. И говорит – опять же для моих записей:

– Убийцы начали охотиться за мной, как только я стал Первым консулом. С тех пор я предпочитаю сам держать бритву.

Он бросает взгляд на наш жалкий сад.

– Цветник Жозефины в Мальмезоне был больше... Это тоже для моих записей.

От порта, от утопающих внизу в райской зелени домиков в наше обиталище, именуемое Лонгвуд, ведет дорога длиной в восемь километров. Несмотря на непрерывные дожди, земля здесь не плодоносит – редкая трава и маленькие деревца, стонущие под порывами вечного ветра.

Как всегда, император вынимает из кармана маленькую подзорную трубу и осматривает окружающий мир. Плато Лонгвуд окружено горными пиками. На одном из них сейчас видны красные мундиры – это один из сторожевых постов англичан. Там стоит пушка, которая бьет на закате и восходе и оповещает о прибытии кораблей.

– Все сделано грамотно, – говорит император.

Теперь его труба опущена вниз. Внизу виден лагерь и те же красные мундиры.

– Думаю, их сотен пять-шесть, – рассуждает император. – И расположены они так, чтобы видеть друг друга. А на холмах, – его подзорная труба вновь вскинута вверх, – конечно же, дозорные. Видите сигнальные флажки? Они сообщают о том, что я делаю, вниз, на командный пункт. И по всей горе, донизу, концентрическими кругами стоит охрана.

Он засмеялся.

– Когда-то я хотел отобрать у Англии этот остров и намеревался послать сюда десант в полторы тысячи солдат. А они, по моим подсчетам, свезли сюда около трех тысяч... может, даже на сотню-другую поболее. – (Недавно я узнал – три тысячи двести!) – Таким образом, куда бы мы ни отправились, мы будем внутри линии часовых. Четыре бухты острова также охраняются...

Его труба уставилась на море, где были видны два брига, медленно плывущих один навстречу другому.

– Я подсчитал: нас стерегут с моря семь судов: пять постоянно дежурят в порту Джеймстауна, а два, как видите, непрерывно курсируют вдоль берега. Однако их просчет в том, что вся охрана вполне удовлетворена визуальным наблюдением за моей персоной. Пока они меня видят, они спокойны. Но есть ночь, когда я имею право быть невидимым... И тогда их главный страж – океан – легко может стать их врагом. Если ночью у берегов острова появятся несколько кораблей... хватило бы четырех...

Он снова засмеялся.

– Не записывайте этого, Лас-Каз. Клянусь, у меня нет никакого намерения бежать. – И добавил: – Поверьте, я здесь совсем не за этим...

Он работает (но немного) с лопатой в саду. Потом переодевается. Выходит в зеленом мундире с бархатным воротом, со звездой Почетного Легиона, в легендарной треуголке.

Граф Монтолон подводит ему коня. Как обычно по утрам – прогулка верхом. Меня император не приглашает – считает, что я дурной наездник.

Я смотрю, как исчезает кавалькада всадников: граф Бертран, генерал Гурго и граф Монтолон. Сейчас они остановятся у какого-нибудь поместья и попросят приюта в саду от поднимающегося солнца... Император любит поражать обывателей. Что ж, они на всю жизнь запомнят его приезд и знаменитую треуголку.

Вернувшись, он принимает ванну. Его ванна – небольшой чан, куда он с трудом помещается. В ванне император читает книги.

Перед обедом приходит врач-англичанин. Император обнажил жирный торс, и англичанин приник ухом к его сердцу. Не обращая внимания на призывы врача хоть немного помолчать, император привычно делится неосуществленными планами поругания Англии:

– Я должен был переправить через пролив двухсоттысячную армию. На четвертый день я вошел бы в Лондон и обратился с прокламацией к гражданам: «Мы пришли, как друзья, чтобы освободить британскую нацию от коррумпированной, развращенной аристократии». Я про-

возгласил бы республику, упразднил дворянство и палату лордов, с которыми Англия вскоре сгниет. Очень сожалею, что отказался от этого плана!

– Я уверен, что лондонцы сожгли бы свой город, но не сдали бы его врагу, – возражает англичанин.

– Нет-нет, вы слишком богаты и любите деньги, чтобы портить свое имущество. Так смогли поступить русские – у них нет имущества, все принадлежит их царю... Я привез бы в Англию великие идеи нашей революции. Отныне ничто не способно уничтожить или стереть ее великие принципы...

Помолчав, он обратился ко мне:

– Моя миссия во Франции – смыть кровавые пятна террора революции потоками славы. Я уничтожил анархию, упорядочил хаос. Люди, упрекающие меня за то, что я не дал достаточно свобод моему народу, забывают, что в тысяча восемьсот четвертом году лишь четверо из сотни французов умели читать. Всю ту меру свободы, которую я мог дать этим смышленным, но невежественным и развращенным революционной анархией массам, я дал.

Я торопливо записываю. Император весь во власти собственного монолога. Доктор печально просит своего пациента одеться. Император не слышит и продолжает дразнить его:

– Нет, очень жаль, что я не сделал всего этого с Англией. Теперь вашей стране предстоит сгнить на манер Венеции.

Наконец он одевается.

В 11 часов обед – куриный бульон (император считает его лекарством), два мясных и одно овощное блюдо. И два бокала разбавленного водой вина «Шамбертен».

После полудня на нем опять знаменитый сюртук со звездами Почетного легиона и Железной Короны. Император принимает посетителей.

Англичане постановили: императору зваться «генералом Бонапартом». И даже придумали ему официальный статус – «генерал без поручений». Это вызывает его постоянный гнев.

– Я не позволю навязать мне этот титул! Не потому что мне так уж важно, как они меня именуют... я всегда презирал жалких болванов, именовавшихся европейскими королями. Я обожал заявлять в их присутствии: «Когда я был лейтенантом во Втором полку в Валансе...» – и наблюдал, как вытягивались их рожи. Для меня трон всегда был куском дерева, обтянутым бархатом. Но я единственный монарх в Европе, получивший титул не от жалкой кучки епископов, а от всего французского народа. Я – император именем революции и не позволю в моем лице унижить эту великую даму. Я носил не только корону Франции, но и древнейшую корону Италии и позаботился, чтобы религия освятила мой титул – сам Папа благословил мое вступление на трон. Я думаю не о себе – о моем сыне, о будущем... Династия, в которой воплотилась сама революция, должна вернуться!

Он задумался и медленно произнес:

– И я сделал все, чтобы помочь ей вернуться как можно быстрее...

Да, он сделал все. Но понял я это только теперь.

Он болезненно заботится о том, чтобы его приближенные (три десятка человек) помнили: они по-прежнему свита императора. И все мы обращаемся к нему – «Сир». И посетители письменно просят аудиенцию. Их встречаем мы – три графа и барон – и проводим к императору. В дверях ждет Киприани, который торжественно объявляет имя посетителя.

Франческо Киприани – особая личность, отнюдь не простой слуга. Он знает императора с малых лет, служил его семье. Они говорят друг с другом только по-корсикански. Это его император посылал с острова Эльба налаживать связи и собирать информацию во Францию. Киприани – шпион и верный пес императора.

Посетители императора, как правило, – английские чиновники, закончившие службу и уезжающие в Лондон. Они понимают, что удостоены исторической беседы. Император, как всегда, очаровывает. И визитеры повезут в Англию то, что нужно: рассказ о жестоком губернаторе и великом узнике – о Прометее, прикованном к скале.

Император улыбается...

Вечером нас навестил губернатор. Не в силах скрыть радости, он зачитал бумагу о том, что император и мы, его свита, проели слишком много денег. Отныне наш бюджет будет сокращен.

О, как этого ждал император! Тут же последовал его яростный крик, от которого еще несколько лет назад дрожали в ужасе монархи Европы:

– Как вы смеете говорить со мной о таких мелочах?! Кто вы такой? Я знаю имена всех ваших генералов, участвовавших в сражениях, и я готов беседовать с ними. Вы же – ничтожество! Штабной писаришка в войске Блюхера, вы никогда не имели чести командовать настоящими солдатами. А теперь, когда ваша страна обманула меня, бесчестно сослав сюда, вам дали право распоряжаться моей жизнью. Но не сердцем! Запомните: оно такое же гордое, как и в те – не столь давние! – дни, когда вся Европа слушалась моих приказаний, а ваши ничтожные правители умирали от страха, ожидая моего прихода на ваш жалкий островок!

Все это он выпалил залпом, с темпераментом, которому мог бы позавидовать сам великий Тальма. Бешеное лицо императора... Я боялся, что его хватит удар.

Губернатор выбежал из дома, дрожа от гнева, шепча бессильно:

«Я покажу ему!» А император... преспокойно расхохотался. И сказал, глядя на мое изумленное лицо:

– Вы знаете, что говорил обо мне Талейран? «Его ярость никогда не поднимается выше шеи». Точнее, жопы... – Он остановился, подумал. – Нет, напишите все-таки «шеи»...

Мне рассказывали, что во дворец к императору часто приходил знаменитый Тальма – учить его актерскому искусству. Сейчас я вспомнил об этом.

Он привычно прочел мои мысли и добавил (уже для моей тетради):

– Да, часто говорили, что меня учил своему мастерству наш великий трагик. Будто я даже брал регулярные уроки. Какая глупость! Пожалуй, я сам мог бы поучить его. Тальма – живое воплощение нашей «Комеди Франсэз». Я уважаю этот театр и в горящей Москве даже написал для него Устав... Конечно, это тоже был театр: я попросту решил унять дурные слухи, доходившие тогда до Парижа. Ибо если император в столице противника находит время, чтобы заниматься Уставом для актеров, – у него наверняка все в порядке... Но поверьте, я с трудом выносил все эти бесконечные трагические завывания на сцене «Комеди». И после очередного спектакля не выдержал и сказал Тальма: «Приходите ко мне во дворец как-нибудь утром. Вы увидите в приемной весьма театральную толпу: принцесс, потерявших возлюбленных, государей, лишившихся царства, маршалов, выпрашивающих себе корону... Вокруг меня – обманутое честолюбие, пылкое соперничество, скорбь, скрытая в глубинах сердца, горе, которое прорвалось наружу. Мой дворец полон трагедий, и я сам порой ощущаю себя самым трагическим лицом нашего времени. Но разве мы вздымаем руки вверх? Испускаем истошные крики? Нет, мы говорим естественно, не правда ли? Так делали и те люди, которые до меня занимали мировую сцену и тоже играли свои трагедии на троне. Вот над чем стоит подумать вам, актерам неповторимой «Комеди Франсэз»!..

Император дал мне возможность все это записать и ушел раздумывать, как развить столь удачно начатую атаку на губернатора. Когда-то он воевал с целым континентом, теперь – с жалким губернатором...

План был составлен, и уже к вечеру Киприани спустился с нашей скалы в Джеймстаун, а утром весь остров шепотом передавал друг другу монолог императора.

Далее император развил успех. У него огромное состояние, однако он из принципа предпочитает жить на «тюремные деньги», которые ему выделяет Англия. И он приказывает принести столовое серебро.

– Рубите! – велит он.

Маршан и Бертран топорами порубили посуду на куски. И Киприани отправляется с этими кусками серебра в городок, в съестную лавку. Он ждет, когда туда зайдут английские офицеры с корабля, стоящего на рейде.

Офицеры заходят в лавку. И тогда слуга императора вываливает перед лавочником серебро.

– Сколько это стоит? – спрашивает он хозяина. И поясняет: – Я пришел продать вам его, чтобы прокормить нашего повелителя.

И он еще раз пересказывает монолог императора.

Завтра рассказ о нищете вчерашнего владыки мира и гнусном поведении сэра Гудсона Лоу поплывет в Европу.

Но император неумолим. Он продолжает наказывать губернатора. Сегодня он сказался больным и утром не вышел из дома. Губернатор пребывает в ужасе. Эльба! Призрак проклятой Эльбы! Он не выдерживает и днем посылает караульных. Мы отвечаем, что император нездоров. Посланцы требуют «предъявить генерала Бонапарта». Император велит отвечать солдатским матом.

Появляется сам губернатор. Он приказывает солдатам войти в дом (если понадобится – взломать дверь) и сообщить, там ли пленник.

Я наблюдаю, как император преспокойно заряжает ружье и говорит с радостной улыбкой:

– Если кто-нибудь войдет ко мне – клянусь, я его убью. В этот момент он вновь на поле боя!

Он посмотрел на меня. Я кивнул – запишу.

Как всегда, положение спас Маршан. Он вышел к англичанам и шепотом пообещал приоткрыть занавеску. И английский караульный с облегчением смог написать в рапорте: «Наблюдал генерала Бонапарта в халате с ружьем в руках».

Больше в тот день нас не тревожили.

Перечитал всю сцену, записанную тогда. (Как изменился с тех пор мой почерк – все больше походит на почерк покойного отца!)

Повторюсь: я сблизился с императором после Ватерлоо. И то удивительное, очень странное, что случилось тогда на моих глазах и казалось подчас совершенным безумием, суждено мне понять только теперь.

Я выбираю из вороха записей те дни...

Жаркие дни после ватерлоо

Только что я узнал – император проиграл битву при Ватерлоо. По слухам, очень много солдат погибло в кровавой резне. Старая гвардия прикрывала отход остатков наших войск, беспорядочно бежавших. Однако (опять же по слухам) маршал Груши сумел вывести свой корпус без потерь к Парижу.

Сегодня во время заседания Совета министров Люсьен⁴ рассказал о поражении при Ватерлоо и, говорят, тщетно пытался приуменьшить потери. Он сказал: «Гибель даже нескольких десятков тысяч солдат не должна решить судьбу Франции».

Но министры молчали...

Только что прискакал курьер – император приедет завтра. Союзники опять движутся на столицу. Второй раз в течение одного года должно произойти то, чего великий город не знал тринадцать веков – неприятель войдет в Париж. И оба раза позор случился в правление того, кто расширил границы империи до размеров всей Европы, при ком Франция правила миром!

Сегодня 21 июня. Рано утром император вернулся в Париж. Но слухи о катастрофе его обогнали.

Вместо Тюильри император решил остановиться в Елисейском дворце (многими это воспринято как знак краха). Я приехал во дворец.

Император сидит в зале с отсутствующим видом. Собрались министры. Он комментирует битву равнодушным голосом и вообще ведет себя странно – как посторонний.

Я слышал, как Люсьен говорил Гортензии⁵: «Он парализован и полностью покорился судьбе...»

Однако уже через пару часов его посетил прежний прилив энергии. Вечером опять собрали министров. Император начал излагать великолепный план новой кампании. Но вскоре погас и, не закончив речь, попрощался. И затворился в своем кабинете.

А враги не дремали! Лафайет добился экстренного созыва Палаты депутатов – и раздались грозные речи. Я вновь поспешил во дворец.

Стоит нестерпимая жара, но никто не покидает раскаленный город. Тысячи людей собрались на улицах, предместья пришли в Париж – как во времена революции. И рабочие, как это ни странно, – за него.

Бесконечные процессии идут мимо дворца. Народ приветствует императора...

Император выходит в сад. Все с тем же равнодушным видом слушает приветственные крики из-за решетки дворца. Он медленно расхаживает по саду. Замечает меня:

– А, это вы, Лас-Каз...

Я кланяюсь и подхожу ближе.

– Вам повезло – вы наблюдаете Историю. Вам будет что написать. Вы недурно пишете, я читал ваш «Атлас».

Император глядит на часы – видимо, ждет возвращения брата, уехавшего в Палату депутатов. Забавно: когда-то Люсьен организовал переворот в Палате и сделал его первым консулом. Потом они были в ссоре. Теперь все забыто и Люсьен снова в Палате – спасает его.

При свете солнца я вижу, как изменился и обрюзг император. Тяжелое приземистое тело, мешки под глазами...

Люсьен сказал вчера Гортензии: «В первый момент я его не узнал – это развалина. Император французов исчез».

За воротами не смолкают крики: «Да здравствует император!» Но он будто не слышит, все так же медленно расхаживает по саду. И молчит.

Я останавливаюсь в стороне, чтобы не мешать ему думать.

– Да нет, идите рядом, – бросает он.

Так мы и ходим кругами под крики: «Да здравствует император!»

⁴ Брат императора.

⁵ Падчерица императора.

Наконец приехал из Палаты Люсьен. С ним маршал Даву. После поклонов и приветствий Люсьен начинает:

– Сир, только что Лафайет предложил Палате заседать непрерывно. И они приняли решение...

Он замолкает, глядит на меня. Император сухо бросает:

– Говорите при нем!

Мы проходим во дворец. Здесь Люсьен подробно рассказывает о вчерашней ночной встрече Фуше и Лафайета. (Дворцовая полиция, видимо, все еще неплохо работает. Или враги уже не желают таиться?)

– Фуше сказал Лафайету: «Как видите, я был прав. Этот человек... – так он назвал вас, Сир, – вернулся еще более безумным, еще более воинственным и, что самое страшное, еще большим деспотом. Вы, Лафайет, – Французская революция, которая воскресла, чтобы его уничтожить». Они договорились устранить вас, Сир. Фуше пообещал Лафайету: «Мы так просто не сдадимся. Мы выговорим у союзников республику!» И этого было достаточно. Лафайет поверил, он с ними. Мираж республики соединил глупца-идеалиста с подлым интриганом. Фуше, конечно же, решил пока сам стать главой Франции и принести Бурбонам на блюде ваше отречение, Сир, а лучше – и вашу голову. Так он рассчитывает вымолить себе прощение за кровь короля. Он развел вас с Палатой, Сир! И сейчас там льются подлые речи...

Люсьен остановился, ожидая реакции брата.

– Продолжайте! – равнодушно сказал император.

Чтобы разбудить наконец его негодование, Люсьен читает по бумажке речь Лафайета:

– «Настал момент объединиться нам вокруг знамени восемьдесят девятого года – знамени свободы, равенства и порядка. Только под знаменем Великой революции мы сможем противостоять иностранным притязаниям и внутренним попыткам мятежа. И еще: я предлагаю объявить вне закона всякого, кто попытается совершить акт насилия по отношению к Палате представителей народа...» А дальше уже непосредственно о вас, Сир: «Я вижу между нами и миром одного человека. Пусть он уйдет – и будет мир».

– Далее? – все так же равнодушно произносит император.

– Далее – гром оваций. Аплодируют все – и старые республиканские безумцы, поверившие в возвращение революции, и сторонники Фуше, и испуганное «болото».

– Ну что ж, пусть делают, что хотят. На свою голову я приучил их только к победам – в беде они не могут прожить и дня... Поезжай, объясни безумцам, что революция, вернее, ее опасный призрак, и вправду вернулась!

Он указывает рукой за ограду, откуда несется рев тысяч глоток.

– Но этот призрак не с ними, не в зале Палаты. Он за ее окнами. И он – со мной.

– И это только начало, Сир. Предместья входят в Париж – Люсьен приободрился. Он добавляет, многозначительно улыбаясь: – Кто-то сообщил народу, что происходит в Палате. И народ требует разогнать предателей!

Но ловкость брата не трогает императора. Он молчит.

А с улицы продолжают доноситься грозные вопли: «Да здравствует император! Депутатов на фонарь! Диктатуру императора!»

Император подходит к окну и глядит на тысячи людей, которые славят его. Люсьен громко шепчет:

– Надо распустить Палату и объявить: «Отечество в опасности!» Париж укреплен. Груши сохранил свою армию...

Но император по-прежнему молчит и смотрит на улицу. На лице Люсьена – отчаяние. А люди идут и идут мимо дворца...

Принесли последнее сообщение из Палаты: выступили Сийес и Карно. Они говорили об обороне Парижа, которую может организовать лишь один человек – император. Но Лафайет своей речью опять переломил ход заседания... И Люсьен, все еще надеясь разбудить гнев брата, читает (с выражением) патетические слова Лафайета:

– «Кости наших братьев и детей наших разбросаны от пустынь Африки до снегов Московии. Миллионы жизней отдала Франция человеку, который и теперь мечтает о борьбе со всей Европой. Довольно!...»

– Глупец! – не выдерживает император.

– Сир, вы должны решиться! Но император опять молчит.

Наступает ночь. Император уходит спать. Люсьен отправляется то ли в Палату, которая все еще заседает, то ли в город. Мы бодрствуем.

В половине четвертого утра приносят новое сообщение. Палата, охрипнув от воинственных речей, постановила: император должен отречься. В противном случае он будет объявлен вне закона.

Люсьен читает императору решение Палаты. Император остается совершенно равнодушным. Преспокойно пьет кофе. И о чем-то думает...

Приезжает Бенжамен Констан. Тот, кто во времена славы императора клеймил его «Чингисханом и Атиллою», теперь – его советник. Он перепуган:

– Сир, вас просят отречься...

Император не отвечает. Но отвечает улица:

– Да здравствует император! – ревет толпа из-за решетки дворца. Он улыбается.

– Вы слышите голос простых людей? Разве я осыпал их почестями и деньгами? Нет, они мне ничем не обязаны. Они были и остались нищими, но их устами сейчас говорит вся страна. И достаточно одного моего слова, чтобы они расправились с жалкими безмозглыми строптивцами. Запомните: если я пошевелю пальцем, ваша Палата перестанет существовать! Но я не для того вернулся с Эльбы, чтобы потопить Париж в крови!..

Он замолчал.

Последняя фраза мгновенно разлетелась по Парижу.

Впрочем, для того он и сказал ее нашему славному публицисту...

Из Палаты приносят проект отречения. Его подготовил Фуше. Удивительный тип этот Фуше! У него мертвенно-бледное лицо – лицо трупа. В день гибели Робеспьера он все организовал, но выступали другие. Так и сегодня – выступал Лафайет, но все организовал он, Фуше.

– Мы теряем драгоценное время, – говорит Люсьен. – Умоляю, Сир, объявите мерзавцев вне закона. Велите! Решайтесь!

Император долго молчит. Наконец отвечает – глухим голосом:

– Я решил.

Он подходит к столу, берет перо. Быстро пишет.

– Читай, – говорит он брату.

Люсьен берет бумагу и, побледнев, читает вслух:

– «Моя политическая карьера окончена... Я отрекаюсь от престола в пользу моего сына Наполеона Второго...»

Неужели он не понимает: союзники не пойдут на это! Никогда и ни за что! Не для того они приходят в Париж...

Люсьен умоляет брата подождать, но император странно торопливо подписывает отречение.

– Передай его нашим глупцам. И скажи: уже вскоре они потеряют все, ради чего меня предали. У Лафайета не будет его республики, а у Фуше – его министерского поста.

Братья выходят в сад. Люсьен продолжает уговаривать. Он тычет пальцем в ревущий людской поток за оградой, откуда слышны бесконечные приветствия императору и проклятия депутатам.

– Они умоляют вас: «К оружию!» Вся Франция, Сир, сегодня провозглашает: «Да здравствует император!» Вы никогда не были так любимы! Мы разгоним депутатскую сволочь... как когда-то, восемнадцатого брюмера⁶. Нет, куда легче!

Император отвечает слишком громко – будто всем нам:

– Восемнадцатого брюмера я обнажил шпагу ради Франции. Сегодня я должен вложить ее в ножны, я не хочу гражданской войны. Я не могу залить страну кровью. Я не буду императором Жакерии.

Он снимает треуголку и стоит с обнаженной головой, отвечая на приветствия толпы.

Потом братья отходят в сторону от свиты. Теперь они стоят прямо под моим окном. И я слышу шепот Люсьена:

– Слова, красивые слова... Что с тобой? Я тебя не понимаю. Неужели ты так устал? Ты постарел? Или... ты что-то задумал?

Император не отвечает.

За решеткой все идут люди. И кричат до хрипоты: «К оружию! Да здравствует император!»

«Ты что-то задумал?» Эта фраза уже тогда озадачила меня. И потом я не раз вспоминал вопрос Люсьена.

Вечером мы узнаем: Фуше уже ведет переговоры с союзниками. Они хотят одного: возвращения Бурбонов. Мечта о династии умирает на глазах. Но император остается в странном бездействии.

Приезжает маршал Даву, путано объясняет:

– Пока вы в Париже, Сир, Фуше опасается народного восстания...

Император усмехается:

– И вы хотите, чтобы я...

Этим «вы» император соединяет маршала с изменниками. Даву жалко бормочет:

– Новое правительство просит, Сир... покинуть дворец... и Париж.

Император молча выходит из комнаты. Растерянный Даву уезжает.

Вечером появляется сам Фуше. Тощая фигура, тонкие бесцветные губы, угодливо склоненная голова. Но в рыбьих глазках – постоянная насмешка.

– Ваше Величество, я пришел как глава временного правительства.

Он не желает скрывать свое торжество. Император улыбается:

– Я в первый раз вижу вас поглупевшим. Вам нельзя повелевать, Фуше. Цезарем рождаются, впрочем, как и слугой. Вы – великолепный слуга... Но в одном вы правы: ваше правительство – временное. Очень временное. Надеюсь, после его конца вы вновь приобретете те качества умного слуги, за которые я прощал вам столь многое.

⁶ День переворота, когда Бонапарт стал Первым консулом.

– Я и пришел послужить вам, Сир. Вам следует покинуть дворец. И как можно скорее – Францию. Я не хотел бы, чтобы вас захватили союзники. Блюхер обещает повесить вас на первом суку... Сир.

И опять – торжество в глазах.

– Что ж, Блюхер прав в своей ненависти ко мне. Это от страха. Я столько раз бил его... И если бы вы не предали меня, ни один пруссак не ушел бы за Рейн.

И тогда Фуше сказал... клянусь, я слышал это, ясно слышал!

– Но, по-моему... вы сами захотели, чтобы вас предали? Вы сами предоставили нам эту возможность. И вы не заставите меня поверить, Сир, во все глупости, которые вы наговорили Констану и вашему брату. – (Фуше, как всегда, отлично осведомлен обо всем.) – Вот только для чего вы это сделали, я не понял.

– Вам трудно поверить, что польза Франции, безопасность Парижа могут быть для кого-нибудь превыше всего?

– Для «кого-нибудь», но не для вас, Сир. Я никогда не поверю, что есть хоть что-то на свете, ради чего вы согласитесь перестать воевать.

Оба помолчали. Наконец Фуше спросил:

– Вы действительно думаете уехать в Америку?

– И я уверен, что вы уже предупредили об этом англичан, – усмехнулся император.

Фуше молчит. Наконец произносит:

– Я дам вам охранную грамоту от имени правительства.

– Временного, не забывайте постоянно добавлять это слово. От имени временного правительства императору Франции и королю Италии охранную грамоту даст вчерашний убийца короля. Смешно.

– А по-моему, логично. Убийце герцога Энгиенского даст охранную грамоту убийца Людовика Шестнадцатого, – отвечает Фуше. И добавляет: – Полжизни бы отдал, чтобы понять: что же вы задумали?

– Этого вам никогда не понять. Точнее – не дано понять. Мечты цезаря и мечты лакея такие разные...

Фуше молча откланивается.

Император объявил:

– Мы покинем дворец, коли они так настаивают. Утром мы отправимся в порт Экс. А оттуда...

Он замолчал.

– В Америку? – не выдержал я.

– В Америку... – как эхо повторил он. – Но по дороге заедем в Мальмезон.

Тут заговорил кто-то из придворных (кажется, граф Бертран):

– Но, Сир, осмелюсь сказать, нельзя терять времени. Союзники вот-вот войдут в Париж. Роялисты охотятся за вами...

Он не ответил. Пошел принимать свою любимую ванну.

Вскоре император позвал меня.

Он лежал в ванне и читал «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. Я вошел, держа в руках предусмотрительно взятую с собой тетрадь – решил записывать в нее важные события и мысли императора.

Он одобрительно посмотрел на мою тетрадь:

– Спрашивайте, Лас-Каз.

– Сир, почему вы не повесили Фуше и Талейрана?

– А зачем? Талейран слишком любил деньги и женщин. Покуда он знал, что при мне можно хорошо зарабатывать и хорошо е...ся, – (император любит солдатские выражения), – он

служил мне верой и правдой. Умнейший человек! Сохрани я его, я и сегодня сидел бы на троне. За ним просто надо было следить – но неусыпно. Моя вина, что я не сумел этого сделать... Что же касается Фуше, здесь та же история: подлый лакей, оставленный повелителем без должного присмотра. Я всегда знал, что при первой неудаче они меня продадут. Но опрометчиво был уверен, что никогда не дам им такой возможности... Что ж, банальное: никогда не говори «никогда».

Я вопросительно посмотрел на свою тетрадь для записей.

– Записывайте, записывайте. Вы сейчас свидетель Истории.

Да, я свидетель. Я добросовестно записал события этих неповторимых дней: как император мог смести этих жалких говорунов, как он мог установить диктатуру, о которой умолял его весь Париж, и как он отказался это сделать. Но сейчас, глядя на него, преспокойно лежащего в ванне после того, как он отдал империю, я вслед за Фуше задавал себе вопрос: почему? Почему он, который пролил потоки крови, вдруг испугался крови? Или он... устал от крови?

Император засмеялся и тотчас ответил:

– Я сказал правду этому лакею Фуше – цезарем не становятся, им рождаются. И мысли цезаря не понять тем, кто не рожден цезарем. Не записывайте, ибо это тоже банально. Понять цезаря не дано было даже великому Тальма. Потому он так плохо сыграл шекспировского Цезаря. Я объяснял ему: «Когда Юлий Цезарь произносит тираду против монархии, он не верит ни единому своему слову. Так что эти слова нельзя произносить с пафосом, наоборот, – со скрытой насмешкой». Тальма не смог... Ах, мой друг, как я хохотал над слухами, будто я учился у Тальма искусству жеста! Нет, цезарь не учится у актеров. Цезарь уже рожден великим актером.

И вот тогда он сказал:

– Какую прекрасную книгу оставил Юлий Цезарь! Мы с вами позаботимся о том же.

И замолчал.

– Я не понял, Сир...

– Нет, поняли.

Читал мысли! Конечно, я понял (именно тогда понял): он уже думает об изгнании и решил взять меня с собой. Ему нравилось, что я записываю за ним. Тогда же он спросил меня: «Вы, кажется, отлично знаете английский?» И я решил, что он думает об Америке. Но уже скоро мне пришлось понять истинное значение этого вопроса.

В ту ночь я помогал императору. До трех утра мы сжигали его бумаги, наполнив пеплом весь камин. В четвертом часу император отправился спать, а я – домой.

Жена не спала. Я рассказал ей о предложении императора.

– Я должен оставить вас, надеюсь, ненадолго. И еще надеюсь: ты поймешь меня.

Она поняла меня... и заплакала.

Но когда я сказал, что хочу взять с собой сына («Быть рядом с величайшим человеком столетия – это большое счастье и самая лучшая школа»), началась бурная сцена с рыданиями и истерикой. Но я настоял.

Я так и не смог лечь спать. Выпил кофе и разбудил сына. Мне пришлось долго ему все объяснять. Договорились, что он придет ко мне в Экс через пару дней. Я поцеловал жену, и мы простились. На сколько? Знает один Господь...

В семь утра я вернулся в Елисейский дворец.

Мы покидаем столицу. Император проехал по Елисейским Полям, остановил коляску у недостроенной Триумфальной арки и долго глядел на нее...

Больше он никогда не увидит Париж.

Свита прямой дорогой отправилась в Экс. Но сам император, маркиз Коленкур, граф Бертран, несколько офицеров и я должны были остановиться на пару дней в Мальмезоне.

Этот дом император купил Жозефине после свадьбы и оставил ей после развода. Она жила здесь с дочерью Гортензией и внуком. И здесь она умерла меньше года назад (император был тогда на острове Эльба).

Он хочет проститься с домом, который видел столько его побед и где он был так счастлив.

По дороге он сказал мне:

– Любовь толпы... После отречения... – Он засмеялся. – ...теперь следует говорить «после первого отречения»... мне пришлось покинуть Францию переодетым! И что же я услышал после стольких лет величия, которое я дал стране? «Смерть тирану!» – кричала толпа. И комиссары союзников, ехавшие со мной, попросили меня... переодеться. Мне пришлось снять мундир, в котором я завоевал славу Франции, и надеть штатский сюртук. На шляпу мне нацепили белую роялистскую кокарду. Но самое смешное – мне предложили назваться британским именем! Нет, я не уезжал – я бежал из страны, которую сделал повелительницей мира. Бежал под именем ее врагов!

«Говорят, Людоед уносит ноги. Надеюсь, его прикончат по пути», – я услышал это в первой же харчевне, где мы остановились. Перепуганные комиссары попросили поспешить с обедом, им показалось, что хозяйка меня узнала. В карете на всякий случай они предложили мне опять переодеться – на этот раз в австрийский мундир. Последнее, что я увидел на французской земле – свое чучело. Вымазанное дерьмом, оно качалось на виселице. И я мог сказать: «Ты был прав, презирая людей!»

«Но теперь-то ведь все было иначе! Они боготворили его, несмотря на гибель своих мужей, братьев и сыновей при Ватерлоо».

И опять этот страшный человек прочел мои мысли.

– И все равно! После стольких предательств мне трудно довериться толпе. Тогда, на Эльбе, я много думал об этом. И я их простил. В конце концов, я только солдат... И для меня ничего особенного не случилось – я всего лишь проиграл сражение и сдал город. Да, этот город был Париж, и я проиграл величайшую империю. Но я так привык к великим событиям, их было столько за мою не такую уж долгую жизнь! И у меня попросту не было времени осознавать их, когда они происходили. Нестерпимая боль приходила потом... Но обычные люди переживали тогда вселенскую катастрофу: в их город, в который полтора тысячелетия чужеземцы входили только для того, чтобы выразить свое восхищение... и вот...

И он повторил:

– Я виноват. Я приучил их только к победам.

Он замолчал. Потом сказал:

– На сей раз в Париж войдут англичане, пруссаки и сбежавшие Бурбоны – все вместе. Я думаю, они уже в Сен-Дени.

Мы приехали. Мальмезон утопает в летней зелени. Изумрудный газон перед весьма скромным дворцом с двумя башнями. Пики стриженных деревьев – будто часовые... Кстати, с нами нет охраны, и если враг нападет, защищаться придется самим.

В доме уже собрались: Люсьен и Жозеф (братья императора), красавица Полина (сестра), Гортензия (дочь Жозефины от первого брака, вышедшая, точнее, выданная замуж за Людовика, третьего брата императора), граф Монтолон, маркиз Коленкур и гофмейстер Бертран с женами. И Летиция – мать императора.

Он сразу прошел в комнату, где умерла Жозефина, и оставался там около часа. А потом долго бродил по дорожкам сада – один.

Позже он сказал мне:

– Я все время вижу, как она идет по дорожкам с рассадой в руке. Она обожала сажать цветы... и немного изводила меня этим занятием. Я все время посылал слуг искать ее в цветниках...

Вечером все собрались в музыкальной зале. Император и Гортензия сидели у арфы и говорили о Жозефине. До меня долетали их слова, которые я поспешил записать той же ночью.

– Я не хотела прежде рассказывать, Сир, мне казалось, это будет слишком грустно для вас... Во время вашего изгнания она просила дозволения приехать к вам на Эльбу, но... вместо разрешения к ней приехал русский царь. Весь парк был переполнен огромными казаками...

Император усмехнулся.

– Мне рассказали – она танцевала с Александром.

– Она хотела получить право просить за вас... но жить не хотела. И оттого, когда она простудилась... всего лишь простудилась во время ответного визита к царю... ее не смогли вылечить лучшие доктора. Она умерла уже на следующей неделе... Она сказала мне перед смертью: «Мне кажется, я давно уже умерла, как только осталась без него». Она умерла от грусти... все время думала о вашем изгнании, Сир. Она осталась обворожительной... даже в гробу...

Красавица Полина в бесценном колье сидит в стороне и мрачно молчит. Как и все Бонапарты, она не любила Жозефину и ее детей.

Но в глазах императора – слезы...

Уже ближе к ночи он принялся рассматривать вещи, которые привез с собой из Тюильри (и, видимо, решил взять в изгнание). Вещи самые странные – походная кровать, на которой он спал накануне Аустерлица, и военный трофей – часы, будившие Фридриха Великого.

Он сказал мне:

– Фридрих – мой кумир еще в военной школе. Когда я вошел в Берлин, его ничтожный потомок трусливо бежал. Он отправил мне послание, где жалостливо писал, что оставляет дворец в полном порядке и надеется, что я прекрасно проведу там время. Трус не посмел увезти даже вещи великого Фридриха... у могилы которого поклялся сокрушить меня... – Он расхохотался. – Не вышло!

Император, кажется, забыл, что нынче прусский король живет у себя во дворце, а мы должны бежать неизвестно куда...

В который раз он прочел мои мысли и сказал:

– Да, дело проиграно. Но не все потеряно, поверьте. И продолжил рассказ:

– Но тогда... тогда я разгромил их. И первое, что я сделал, ступив во дворец, – бросился к шпаге Фридриха. Этот трофей был для меня дороже ста миллионов контрибуции, которые заплатила мне Пруссия. Я забрал шпагу и его часы...

– Но шпагу Фридриха вы не берете с собой, Сир?

– Зачем? У меня есть своя, – ответил он, улыбнувшись. – И поверьте, не менее ценная.

Он прав. Ни один великий полководец за всю историю человечества не выиграл столько сражений.

Он опять прочел мои мысли:

– Но было бы лучше погибнуть в одном из них. Если бы судьба послала мне тогда пулю, история поставила бы меня рядом с непобедимыми – с Александром Великим и Цезарем... Можно было бы умереть и под Дрезденом... Нет, Ватерлоо все-таки лучше. Любовь народа, всеобщий траур... И сражение, которое я не успел бы проиграть...

И задумчиво добавил:

– Но если судьба не дала мне этого, мы исправим ее ошибку... И засмеялся.

«Мы исправим ее ошибку». Уже тогда он все придумал.

Из Мальмезона он вдруг отправил письмо Фуше. Император предлагал... стать генералом на службе временного правительства. И обещал победить. «Я клянусь, что пруссаки у Парижа наткнутся на мою шпагу».

Письмо отвезли в Париж.

Последняя ночь в Мальмезоне.

По просьбе императора, в тот вечер я беседовал с Коленкуром. «Набирайтесь сведений, впоследствии они вам понадобятся».

Коленкур рассказал мне удивительные вещи о русской кампании. И о своих беседах с императором, когда они бежали из русских снегов. После этого длиннейшего разговора я вышел в сад пройтись.

Тихая ночь. Запах цветов, дом темен, в Мальмезоне спят.

Одно освещенное окно на первом этаже, в библиотеке. Это великолепная небольшая зала, разделенная колоннами красного дерева. На колонны опираются своды расписного потолка. Головы античных философов смотрят вниз. Темнеет красное дерево – шкафы, кресла, золотисто мерцает бронза: бронзовые грифоны – ножки стола, инкрустации на колоннах, прибор на зеленом сукне; отливают золотом корешки книг в шкафах.

Император сидит в кресле, повернутом спинкой к окну, – читает. Я подошел к окну вплотную. Он кладет книгу на стол, сидит неподвижно – о чем-то думает.

Теперь я вижу книгу, которую он читал. Это старинное Евангелие в кожаном переплете с бронзовыми застежками.

Утром я застал императора в саду. Прогуливается, пока сервируют завтрак. Я поклонился. Он пригласил меня пойти рядом.

Запах кофе смешивается с утренним запахом цветов. Цветники Жозефины...

У маленького фонтана император заговорил, глядя на струи воды:

– После того, как Иисус сотворил великие чудеса – исцелил бесноватого и прочее, о чем просит Его народ?

Я не помнил. Он засмеялся:

– Удалиться! Они не выдержали Его чудес. Он помолчал, потом добавил:

– Я слишком долго нес на своих плечах целый мир. Пора бы отдохнуть от этого утомительного занятия.

Семья собирается за столом. Жозеф и Люсьен выходят из дома. Братья о чем-то беседуют, но за стол не садятся, видимо, ожидают, пока император закончит прогулку.

Жозеф никогда не мог забыть, что он – старший брат. Бездарный, напыщенный светский бонвиван, которого император время от времени назначал королем в очередных завоеванных землях. Люсьен – единственный талант среди братьев императора. Бешено тщеславный, всю жизнь завидовал брату и никак не мог забыть свое (неоцененное) участие в перевороте 18 брюмера. Назло брату он отказывался от браков с европейскими принцессами, женился на дочери трактирщика, играл в любительском театре вместе с сестрой Элизой, подбивал ее выходить на сцену в обтягивающем трико... Все назло брату! В свои салоны братья охотно приглашали врагов императора, там царила мадам де Сталь с ее язвительными шутками.

Но нынче все распри забыты, и братья ждут от императора обычных (то есть великих) решений, которые спасут положение... семьи!

За столом рассаживаются три графа (Бертран, Монтолон, Коленкур) с женами... Наконец появляется император.

Пьем утренний кофе. Принесли депешу – ответ Фуше. Император с усмешкой проглядел, передал Люсьену. Тот читает вслух.

Фуше настойчиво (нагло!) просит (требует!) императора побыстрее оставить Париж, иначе «союзники не желают вести мирные переговоры... и грозят разрушить Париж. Столько веков, Сир, этого не было. И вот благодаря Вам мы увидим завоевателей второй раз за один год! Уезжайте, Ваше Величество. Преданный вам Фуше».

Люсьен закончил читать. Император помолчал, потом сказал:

– Мне все-таки следовало его повесить. Предоставлю это сделать Бурбонам...

Не понимаю, не понимаю! Если император захотел продолжить воевать, зачем надо было унижаться – просить разрешения Фуше? Достаточно было попросить улицу. И он получил бы назад свою армию. Тем более что Груши, опоздавший к битве при Ватерлоо, сумел привести к Парижу сорок тысяч солдат, жаждущих отомстить за поражение!.. Не понимаю!

Но теперь понимаю.

Император встал из-за стола и прошел в дом. В бильярдной долго один гонял шары.

Гортензия и Полина не вышли к завтраку. Я застал их в музыкальной зале, где стены до потолка увешаны картинами в золотых рамах.

Они сидели в креслах по обе стороны арфы и зашивали бриллианты в дорожную одежду императора. Точнее, зашивала Гортензия, Полина не умеет рукодельничать (но умеет, когда нужно, снять с себя эти бесценные камни). И теперь она наблюдала за работой Гортензии.

Здесь же Летиция, мать императора. Я поклонился, Летиция не ответила. Она смотрит перед собой невидящими глазами. Это не образ – она окончательно ослепла от переживаний. За все время, пока мы были в Мальмезоне, она не проронила ни звука. И теперь молча сидит на кушетке на фоне стеклянной двери в сад, между двумя мраморными бюстами римских императоров – как третье изваяние со столь же совершенным римским профилем. Но на недвижимом ее лице тотчас начинает блуждать улыбка, когда входит он. Она узнает императора по шагам.

Обед. За столом, вновь накрытым в саду, молчание. Все ждут, когда заговорит император, он должен что-то придумать!

И он говорит – ко всеобщему разочарованию:

– Что ж, надо избавить Фуше и всех этих господ от моего присутствия. Мы сегодня же уедем в Рошфор... там мне действительно следует сесть на корабль и – в Америку!

Братья и сестры принимаются обсуждать его будущее изгнание. Но никто не предлагает разделить его с ним.

Император улыбается...

Приехали четверо офицеров из Парижа. Привезли слухи – роялисты всерьез готовятся напасть на Мальмезон и расправиться с императором. Умоляют поспешить.

Слуги грузят вещи в экипажи. Коленкур передает мне на всякий случай оружие. Император, усмехаясь, глядит, как Коленкур заряжает мой пистолет.

В комнату врывается Тальма в солдатском мундире.

– Сир! Я хочу видеть, как ведет себя цезарь в такие минуты.

Император треплет его по щеке:

– Очень естественно... и просто. Прощайте, мой друг, вы замечательный актер.

Император ушел. Тальма почти в ужасе обращается ко мне и Коленкуру:

– Он знал... все знал заранее. Он как-то сказал мне: «Я сам, может быть, самое трагическое лицо нашего времени». Он говорил это, клянусь!

Его лицо стало белым от ужаса. Он легко возбуждался.

Коленкур не отвечает, ему не до того. Он выходит вслед за императором.

Тальма уязвлен невниманием. И я легко его «подобрал». Я сказал:

– Неужели мне выпало счастье беседовать с великим Тальма?

Глаза Тальма сверкнули, он – мой.

– Это правда, вы учили величию жестов самого императора?

Он вздохнул и кивком подтвердил: именно так и было дело. Но потом заговорил преувеличенно громко:

– Впрочем, император и сам великий актер. Когда Его Величество решил начать войну с Англией, он вызвал английского посла. В тот день в приемной императора ждали аудиенции Талейран и ваш покорный слуга. До нас доносились крики какой-то невиданной ярости: «Где Мальта, которую вы обязались мне отдать?! Вы бессовестная страна олигархов! – Тальма удивительно точно изображает императора. – Я чувствую, вы задумали войну! Но клянусь честью, если вы первыми обнажите шпагу, я вложу свою в ножны последним. Хотите войны? Вы получите ее. Но это будет война на истребление. И вашей рыбьей нации не выдержать галльской страсти! Готовься к великой крови, Англия!»

Несчастный, насмерть перепуганный посол выбежал из кабинета, буквально потеряв дар речи. Бедняга так и не узнал... как хохотал император! Он вышел следом за послом и сказал мне: «Ну, каково, Тальма! По-моему, я совсем недурно сыграл обманутого мужа? Учтите, у настоящего политика гнев никогда не поднимается выше жопы». Это любимая присказка императора.

Мы покидаем Мальмезон. Император долго смотрит на дом. Потом садится в карету вместе с Гортензией. Я, Бертран, Монтолон, Коленкур – верхом окружаем карету императора. В другом экипаже едут их жены.

Граф Шарль Монтолон. Ему 32 года. Говорят, десятилетним мальчишкой он учился математике у капитана артиллерии Бонапарта. Был с ним во многих битвах. Потомок древнего рода, он был назначен посланником при дворе герцога Вюртембергского. Но посмел жениться против воли императора на разведенной красавице Альбине де Вассал. За что отправлен в отставку. Теперь Альбина едет за нами в карете.

Отрекшийся император и мы (сотня человек свиты с женами и слугами) живем в Рош-форе (на острове Экс в устье Жиронды). Мы занимаем мрачноватый дом командующего флотом.

Париж должен пасть со дня на день. И с часу на час мы ждем его решения отплыть в Америку. Точнее – попытаться отплыть.

Но решения все нет.

А пока из окна своей комнаты император наблюдает в маленькую подзорную трубу за английским фрегатом, стоящим на якоре в устье реки. Этот линейный корабль называется «Беллерофонт». Он перекрывает нам путь в океан – путь в Америку. Фуше постарался...

Вчера вечером на «Беллерофонте» прогремел салют из корабельных пушек. Утром к нам прискакал гонец из Парижа, и мы поняли причину салюта на английском корабле. Париж взят, Бурбоны вернулись во Францию. Медлить более нельзя – остров со дня на день будет захвачен.

Шхуна, на которой император должен бежать в Америку, – ждет...

Все эти дни наши офицеры запираются в большой гостиной, у дверей выставляется караул. Вырабатывают план бегства императора.

Сегодня я узнал этот план (точнее, один из планов). В нашем распоряжении есть два корабля, готовых принять участие в операции. Один из них отвлечет англичан – примет бой с «Беллерофонтом». Брат императора, Жозеф, очень на него похожий, будет в это время на палубе. И заставит англичан поверить, что император на судне. Пока они будут брать корабль на бордаж, второе судно – с императором и нами – ускользнет в открытый океан.

Утром этот план (признанный самым удачным) докладывают императору. Но император молчит. И продолжает в подзорную трубу изучать «Беллерофонт».

Теряем драгоценное время...

И вот сегодняшней ночью он собрал нас. Каково же было изумление (нет, потрясение, потрясение!), когда император объявил:

– Я более не глава армии и государства... всего лишь частное лицо. Я не имею права рисковать жизнями французских моряков. И решил искать прибежище... – Он помолчал и закончил: – На борту английского корабля... вот этого... «Беллерофонта».

Наступила тишина. Мы не верим своим ушам!

– Вы намерены сдать англичанам, Сир? – переспросил потрясенный Бертран.

Теперь я написал бы – «простодушный Бертран». Но тогда, повторюсь, потрясение было на всех лицах.

– Зачем же – сдать? Просто я уйду из политики... и вот решил искать прибежище у английского народа, под сенью его законов. Буду жить где-нибудь под Лондоном... под именем полковника Дюрока.

Было непонятно, он издевается над нами или впрямь стал безумным? Ну добро бы сдать русским – он был прежде дружен с их царем. Но англичанам?! После того как тысячи английских солдат всего пять недель назад полегли при Ватерлоо! После того как двадцать лет он беспощадно воевал с ними, душил кольцом блокады!

И представить себе, что после этого они поселят его у себя таким добродушным ленд-лордом?! Нет, англичане непременно посадят его в крепость.

Он посмотрел на меня, странно улыбнулся и сказал:

– Даже если вы правы...

Он, как обычно, прочел мысли.

Но и эту фразу я понял только теперь.

Сегодня 14 июля. В день взятия Бастилии я сажусь в шлюпку. Шлюпка подплывает к английскому кораблю. Я поднимаюсь на борт «Беллерофонта» и вручаю капитану послание императора, адресованное принцу-регенту.

Я знаю его наизусть: «Ваше Королевское Высочество! Я закончил политическую карьеру и надеюсь, как Фемистокл, найти пристанище в стране британского народа. Я отдаю себя под защиту Ваших законов и прошу английский народ – самого могущественного и великодушного из моих противников – оказать мне защиту и гостеприимство. Наполеон».

Капитан прочел. Изумление на его лице! Он не в состоянии поверить. Перечел послание – и широкая улыбка! Он не может сдержать торжества. Еще бы: в одно мгновение безвестный офицер становится мировой знаменитостью – ему сдается вчерашний повелитель мира.

Он окончательно помешался от счастья – жмет мне руку, рассыпается в комплиментах, восторгается решением императора. На прощание говорит:

– Императора Наполеона, конечно же, примут в Англии с должным уважением. Наши люди и великодушны, и демократичны.

Нет, нет, капитан тогда не лукавил, в тот миг он верил...

Я передал императору ответ капитана.

– Ну вот видите, как все удачно сложилось, – говорит он с нехорошей усмешкой. И смотрит мне в глаза. Этот взгляд... тот самый, от которого дрожали его маршалы... бездна...

Он обращается ко всем:

– Что ж, пора собираться.

Я потрясен. Не министр, даже не адмирал, а какой-то капитан одного из бесчисленных английских кораблей что-то обещал – и этого достаточно ему – величайшему из императоров?! Я был уверен, что после обещания капитана все только начнется: переговоры с правительством, обмен посланиями...

Он привычно читает мои мысли:

– У нас нет времени, иначе нас попросту возьмут в плен. И, кроме того... – Он не заканчивает фразы и странно усмехается. – Короче, поторопитесь, господа.

Вот так, не получив никаких заверений от официальных лиц, он отдает себя в руки англичан.

Император в зеленом мундире с бархатным воротом, со звездой

Почетного легиона и в треуголке садится в лодку. Отплываем.

Он поднимается на палубу корабля. Снимает свою знаменитую треуголку – приветствует капитана. (Хотя не снимал ее перед королями)...

Надо сказать, капитан принимает нас очень радушно. Сто человек императорской свиты – их жены, слуги размещаются на корабле.

Раннее утро. Корабль берет курс на Англию.

До самого полудня император сидит недвижно на палубе, глядит, как исчезают берега Франции. Я стою рядом. И слышу:

– Более не увижу...

Я так и не понял – говорил ли он сам с собой или сказал это мне.

В пути император занимается делом, в котором ему нет равных, – очаровывает. Уже вскоре и капитан, и матросы пребывают от него в совершеннейшем восторге. Еще бы, сам Наполеон с таким энтузиазмом интересуется их экипировкой, пищей...

Вчера император участвовал в утреннем построении команды и сказал много комплиментов и морякам, и английскому флоту. Посетовал, что у него не было таких моряков, иначе он завоевал бы весь мир.

Все как-то сразу забыли, что император – пленник... Пленник? Нет, он бог войны, который ведет себя как добрый гость. Его любимая манера – трепать по щеке и щипать за ухо своих солдат. И уже вскоре английские моряки с восторгом терпят эти странные покровительственные ласки.

Да, он – вечный любимец солдат всего мира. Не прошло и недели плавания, а он уже может повелевать вчерашними врагами. Его обожают.

Первая остановка – Торбей. Набережная запружена людьми. Матросы рассказывают – пешком, верхом, в каретах народ прибывает из Лондона, чтобы увидеть его. Подзорные трубы продаются за сумасшедшие деньги. Вокруг корабля кружатся сотни лодок, взятых напрокат. Нанять шлюпку стоит небольшого состояния. Все взоры прикованы к нашему кораблю: ждут появления императора.

Я пообедал, вышел на палубу. Император продолжает обедать – точнее, сидит за столом с отсутствующим видом – о чем-то думает.

На палубе я увидел матроса, державшего большую доску с надписью мелом: «Он обедает».

Наконец император появляется на палубе... Безумные крики с набережной: «Смотрите, смотрите!..»

Он уходит в свою каюту. И тотчас на палубу вышел другой матрос, написал на доске большими буквами: «Он отдыхает».

Толпа благодарно аплодирует.

Мы пришли в Портсмут. То же столпотворение.

Принесли газету, из которой я узнал: в Лондоне идут лихорадочные совещания министров с принцем-регентом.

Император балует англичан: выходит на палубу в знаменитом сером походном сюртуке и треуголке. На лодках, кораблях, на набережной тысячи людей обнажают головы...

Он доволен. Смотрит на меня.

– Я опишу это, Сир. Он улыбается.

Свершилось! Сегодня, 31 июля, на борт «Беллерофонта» поднялся адмирал Кейт. Почтительно приветствует императора, зачитывает решение правительства.

Император не понимает по-английски, ему переводят: «Генерал Бонапарт (так теперь велено его называть) объявляется пленником союзников. Его отправляют в ссылку. Ему дозволяется взять с собой трех офицеров и двенадцать слуг. Место ссылки – остров Святой Елены...»

Император взрывается в яростном монологе. Он буквально орет:

– Вы попрали все законы гостеприимства! Я был величайшим вашим врагом и оказал вам величайшую честь, добровольно выбрав вашу защиту. То, что вы совершили, ляжет вечным позором на всю британскую нацию... Это равносильно смертному приговору!

Адмирал слушает с несчастным лицом.

После страстного монолога император... преспокойно выходит на палубу. На свою обычную вечернюю прогулку на потребу любопытным.

Я потрясен: он выглядит, повторюсь, совершенно спокойным. И это спокойствие пугает. Погуляв с полчаса, он возвращается в каюту.

Маршан прибегает ко мне в панике:

– Он заперся в каюте. Как тогда – в Фонтенбло...

И Маршан раскрывает мне тайну – год назад, после первого отречения, император пытался покончить с собой... Бедняга Маршан боится повторения попытки самоубийства.

Он умоляет меня постучать в каюту императора – как бы по делу. Я подхожу к каюте, и из-за двери тотчас раздается голос императора:

– Позовите Маршана.

Он и за дверью читает мысли?!

Потом Маршан рассказал мне: когда он вошел, император сидел на кровати.

– Помогите мне раздеться, мне нужно отдохнуть.

Потом лег, сам задвинул полог. Свет проникал через плотные пурпурные шторы на окнах, и каюта была цвета крови.

Маршан в ужасе стоял у полога кровати, ожидая неизбежного. И услышал ровный голос императора:

– Продолжай читать.

Это были «Жизнеописания» Плутарха, он читал их императору накануне. Маршан стал читать – в совершеннейшем ужасе... Он не знал, что происходило там, за занавесями.

Но когда он дошел до самоубийства Катона, император преспокойно раздвинул занавеси и попросил халат. Маршан подал – дрожащими руками. После чего император стал молча расхаживать по каюте. Походив, остановился и начал обсуждать с Маршаном, кого ему взять с собой на остров.

– Он был совершенно спокоен, будто все идет как надо, – сказал мне Маршан.

«Будто все идет как надо». Теперь понимаю – лучше фразы не придумать.

Ему пришлось выбирать из тех, кто поднялся с ним на борт. И он выбрал.

Маршан за ужином назвал их мне. Граф Шарль Монтолон с женой Альбиной, граф Бертран с женой Фанни... Причем Фанни (кстати, англичанка) была в ужасе от этого известия, говорят, чуть не бросилась за борт. Но сам Бертран был счастлив.

И еще император назвал меня.

– Он просил узнать, как вы к этому отнесетесь, – закончил Маршан.

Я вошел к императору в каюту и сразу начал:

– Сир! Если вы окажете мне честь и возьмете меня, вы исполните самое заветное мое желание.

Он улыбнулся и сказал:

– Граф, вы не только хорошо пишете, вы бегло говорите по-английски. Я решил взять вас с собой к англичанам, в изгнание, еще тогда, в Париже, как вы, наверное, поняли.

«К англичанам, в изгнание»? Так что же выходит? Уже в Париже он знал, что сдастся Англии? И что его сошлют? Но тогда зачем он сдался?

Так я спрашивал себя тогда, глупец.

За ужином император объявил свите свое решение – назвал тех, кого решил взять с собой. И тогда вечно скандальный (и вечно обиженный) генерал Гурго устроил императору бурную сцену. Гурго вспоминал (весьма страстно), как спас его в России, как храбро бился при Ватерлоо. Он не просил – требовал, чтобы император взял его на остров.

Императору не могла не понравиться такая жажда служить. Я был перемещен на должность секретаря, а Гурго добавлен к двум офицерам.

Я единственный из свиты старше императора и ниже его ростом. К тому же я худ, как император в дни Тулона. Все это ему приятно...

Вечером он приглашает меня в каюту. На столе лежат перо и бумага.

– Не будем откладывать.

Он усаживает меня за стол и начинает диктовать. Диктует стремительно, приходит в ярость, когда я его останавливаю. Я понимаю, что мне придется придумать собственную систему стенографии...

Генерал Бонапарт

Император начал с детства:

– Я родился пятнадцатого августа одна тысяча семьсот шестьдесят девятого года.

Я вдруг сообразил, что сорок шестой день его рождения мы будем праздновать в океане – по пути в изгнание.

– Здесь не забудьте упомянуть о том, – продолжал он, – о чем я вам уже рассказал, – о комете. Накануне моего рождения в небе появилась комета. И встала над островом... Корсика, хаос творения... Горы! – Он смотрел в окно. – Как одинаковы волны... усыпляющий простор океана, а горы будят воображение. И небо. Воистину лазоревым оно бывает только на Корсике... Мирные селения, прилепившиеся к горам, черные покрывала женщин, спешащих в церковь... Пейзаж родины...

В моем роду – мятежные флорентийские патриции и сарацинские рыцари. Воинственная кровь опасно смешалась... Отец высокий, статный. Пожалуй, Люсьен больше всех нас похож на отца... Маленькая Летиция, моя мать, – истинная корсиканская красавица. Мраморное лицо, которое не берет загар. Бледность статуи... Я мамин сын.

«Действительно, маленький, с точеными чертами лица и с такой же отчаянной бледностью», – подумал я.

Он улыбнулся моим мыслям и даже продолжил их:

– И такими же, как у нее, маленькими руками... Она единственная в мире женщина, которую я боготворил. Когда однажды она опасно заболела, я умолял ее не умирать: «Вы уйдете, и мне некого будет уважать в этом мире». После каждого моего триумфа она пугалась.

Она говорила: «Мой мальчик, так вечно продолжаться не может...» И все повторяла старинную корсиканскую притчу: «Один великий богач нашел на дороге золотые часы... и очень расстроился. Потом он потерял все, остались только эти часы. Однажды он потерял и их... и очень обрадовался. На изумленный вопрос ответил: «У меня было так много всего, что когда я нашел еще и эти часы, то понял: так больше продолжаться не может. И сейчас я радуюсь по той же причине: так больше продолжаться не может»... Да, я обладал всем, что может дать судьба. Пожалуй, для окончательного величия мне не хватало только несчастья...

И как-то торопливо он вернулся к прежней теме:

– Мать религиозна и тиха, и при этом отважна, как истинный воин. Только такая женщина могла родить настоящего солдата. Запишите: «Уже в чреве матери император слушал грохот пушек». Это была война жалкого глиняного горшка с чугунным котлом – корсиканцы сражались против королевской Франции... Мы были разгромлены. Остатки повстанцев вместе с вождем генералом Паоли бежали в горы. И все это время рядом с мятежным генералом был его адъютант – мой отец Карло Буонапарте. И его беременная жена Летиция... Надо описать отчаяние отступления – жара, ржанье коней и бешеная скачка. И в седле мать слушала меня, мои толчки... жизнь, которую носила... Так что огонь битвы в моей крови. Мы уходили через горные перевалы, где так близко небо. И когда в тысяча восьмисотом я задумал провести через Альпы целую армию, я имел право сказать себе: ты уже одолел горы в чреве матери».

Он задумался и потом произнес:

– Писатели лгут в начале и в конце. Все, что я рассказал, опустите. Начните торжественно, но кратко: «Его будущее Судьба определила до его рождения. Разгромив восставших,

Франция завоевала Корсику, и император Наполеон родился французом». Военная увертюра отыграна, мой друг. Занавес поднялся...

Она родила меня, когда шла к обедне. Был праздник Успения Богородицы, и по дороге у нее начались схватки. Она вернулась домой и не успела дойти до спальни. Я родился в гостиной – на старинных коврах с изображениями героев Илиады...

Он говорил, а я видел (клянусь, видел!): в деревянной колыбели, накрытой белым кружевом, кричал мальчик...

Император улыбнулся:

– Как бывает у малорослых, потому бешено тщеславных, детей, я обожал подчинять. Не имел, да и не хотел иметь друзей, но хотел иметь подчиненных. Я, низкорослый мальчик, заставлял служить себе не только высоких сверстников, но и старших учеников и даже старшего брата.

Наш маленький белый дом в Аяччо... Если там будете, навестите его. Он не последний на острове – целых три этажа. Каким огромным он мне казался и как оказался мал... Дерево у моего окна... я открыл окно, ветка качается, и я вижу, как на ветке сидит черная бабочка... она тоже кажется мне огромной. Я лезу за ней, и мать ловит меня, когда я уже приготовился выпасть из окна... Все меня привлекает... особенно лепешки, которые в поле оставляют коровы. Я спешу их собрать, и мать шлепками отгоняет меня от коровьего навоза... Отец не справлялся со мной, я был зверски упрям. Когда мне мыли голову... как я ненавидел мыло, оно щипало глаза и я пытался съесть его... чтобы его не было! И за буйство в ванной она выгнала меня с мокрой головой... И я в слезах, отторгнутый ею, лежу в постели, а отец на цыпочках входит ко мне и с нежностью трет мою голову, сушит волосы... Но она – воплощенная месть – на пороге, и отец покорно исчезает перед разгневанной Немезидой... Он рано умрет, но, к великому моему счастью, останется она. Как она меня знала... будто между нами был заговор...

Но у маленькой красавицы были крепкие кулаки... Она понимала – только кулаками можно шлифовать мой характер. Мою вздорность она превращала в упорство. Я не хочу идти в церковь – пощечина. Я увязался за ней в гости – она велела остаться. Но я иду, молча, упрямо иду за ней. И полуоборот матери, и внезапная боль – пощечина. Удар беспощаден! От бешенства я бросаюсь на землю – я хочу разбиться, чтобы напугать ее. Истошно кричу, но она даже не оборачивается. Гордая, прямая спина удалявшейся матери... И до смерти буду помнить тот день: жару, пыль, твердость земли – твердость матери. Уважение к силе, к ее непреклонности вошло в мое сознание вместе с пощечинами...

Жизнь играла мной. В семьдесят девятом я поступаю в военную школу в Бриенне. Здесь учились дворянские дети. На стене – портрет графа де Сен-Жермена, основателя школы. Старик в мантии, со множеством орденов, в высоком парике... или он казался мне стариком? Мне шел шестнадцатый год, когда я покинул эту школу, а росту во мне было жалких четыре фута десять дюймов. Мать увидела меня... и не узнала в толпе здоровенных сверстников. Я бросился к ней с объятиями, а она недоверчиво смотрела на меня, у нее, как она потом рассказывала, даже возникла вздорная мысль: не подменили ли сына? Маленькое, худенькое, болезненное существо... это не мог быть ее Наполеоне!

На самом деле я был мал, но крепок, как сталь. И уже не раз научил своих сверстников уважать и опасаться моего маленького тела. Я вступал во все драки. Главное – вязаться в драку, и тогда тебе спуску нет! Так я учил свое тело бесстрашию. Я выбирал самых сильных – они сбивали меня с ног, но я вставал и шел на них. Я научил их страшиться не только моих кулаков, но и моей непреклонности. Так требовала моя честь. Так учила мать. Уверен, все доброе и злое в человеке – от матери. Запишите: «Она всегда учила меня гордости, чести и славе»...

В Бриенне я взял свою первую крепость! Помню, выпал снег и я убедил товарищей построить из снега брустверы, валы, парапеты. Получилась маленькая крепость. Мы разделились – одни защищали ее, а я с другими должен был ее взять. Я придумал диспозицию и возглавил атаку. Защищавшие лихо отбивались замерзшими снежками. Это было очень больно – снежки в лицо, но я бежал впереди и добежал – мы ее взяли!

И вот результат: «крепкое сложение, отличное здоровье, честен и благороден, отличался прилежанием к математике... будет превосходным моряком». Это моя характеристика в школе, и я ее заработал.

Я хотел быть моряком, но у меня не было протекции... Они меня не приняли. Я плакал. И тогда я услышал голос: «Ты еще увидишь море».

Так первый раз заговорил во мне этот голос. Да, мой флот проиграет все морские сражения. Но море будет ко мне очень милостиво. Когда я вез армию в Египет... и когда оттуда возвращался...

Он остановился.

– Нет, я хочу, чтобы все было по порядку. Мы еще подойдем к этому...

Император смотрел в окно каюты – гладь бухты, море. И повторил:

– «Ты еще увидишь море»... Меня отвезли в Париж, в военную школу на Марсовом поле... Содержали нас там великолепно. И хотя в большинстве мы были мальчиками из небогатых семей, в школе при нас была многочисленная прислуга, мы щеголяли верхом на великолепных казенных лошадях... Все это развращало. Помнится, я даже написал записку, где предлагал заменить эту ненужную роскошь умеренной жизнью. Вместо дорогих удобств я предложил побольше знакомить нас с тяготами военной жизни, с невзгодами, которые нам предстоят. Но начальники не захотели принять аксиому: трудности в учении помогают в будущих боях... В училище я пережил и первое видение военной славы – я увидел великого полководца принца Конде!..

Я не мог не подумать: «Его потомка, герцога Энгиенского, он расстреляет».

Император засмеялся (читал, читал мысли!)

– Я совершил много ошибок – не расстрелял мерзавца Фуше, затем Ватерлоо... история с Папой и так далее... много. Но не эту. Я и сегодня знаю – я имел право его расстрелять.

Я уверен – у него в этот миг было ощущение мужа, чья жена, по имени Франция, прелюбодействует с Бурбонами... И отсюда эта ненависть к несчастному, несправедливо погубленному им отпрыску Бурбонов.

Непрерывная диктовка... Я устал смертельно, но он не замечает, расхаживает по каюте и диктует:

– В Парижском военном училище при выпуске мне дали характеристику: «Высокомерен, любит одиночество, чрезвычайно самолюбив. Его честолюбие не знает границ». Отличная характеристика для того, кто решил поиграть с земным шаром!

Моя юность – мое одиночество. Мои товарищи постоянно болтают о любовных приключениях. У меня никого. Мое тогдашнее страдание... впрочем, обычное юношеское страдание. Я обожал гётевского «Вертера» – мой любимый тогда роман. Мысли о самоубийстве... Но у меня не было несчастной его любви, а я хотел иметь право глубоко страдать. И я нашел предмет постоянного страдания: поруганная судьба моего маленького острова. И я писал в дневнике:

«О моя угнетенная родина! Если нет больше отечества – патриот должен умереть... Я всегда в одиночестве, даже когда кругом люди. О чем я тоскую нынче? О смерти. А ведь как никак я стою лишь на пороге жизни. Мои земляки, закованные в цепи, целуют французскую

руку, которая их сечет. Если бы нужно было умереть кому-то одному, чтобы вернуть свободу моему острову, я не раздумывал бы ни секунды...»

Хотя теперь я думаю, что истинная причина моего страдания была совсем иной. Во мне появилась уверенность... в моей избранности! Не могу точно сказать, когда появилась эта мысль – вполне возможно, она была всегда. Просто с возрастом ее голос становился сильнее и сильнее. Я читал и перечитывал Плутарха, биографии Цезаря, Александра Македонского, – истории жизни великих властелинов, земных богов – как руководство для своей будущей жизни. Я ревниво отмечал, во сколько лет они достигли первых великих успехов. Хотя, будучи достаточно трезвым, я понимал: невзрачный, нищий, неродовитый... в стране спеси, где главное – родиться знатным... Да, у меня не было ни одной лазейки в великое будущее... Скорее всего, здесь и была истинная причина моего постоянного страдания. А единственное прибежище от этого страдания – чтение о великих...

Ганнибал... Слоны взбираются на Альпы – блестящий маневр, и войско Ганнибала уже топчет римскую равнину. Потом мне придет в голову повторить все это в Итальянскую кампанию. Да – повторить, ибо в мечтах, в воображении я уже взбирался вместе с ним на неприступные Альпы.

И, конечно, встреча с Александром Македонским. Я прочел о нем все, сделал множество выписок по маршруту его завоеваний. Я в совершенстве изучил географию Египта, Персии, Индии. У меня появилась безумная идея... Да, да – вы поняли. Тогда все бредили переселением душ... и мне все больше казалось, что когда-то я был – им. И я поклялся повторить его великие планы в нашем жалком веке... или умереть. И я сумел! Через тысячелетия я повторил грандиозные завоевания древности в нынешнем пугливом мире, который так страшится всего грандиозного и так обожает жалкую меру... И мир не выдержал величия древних планов...

Он стоял и смотрел, как на рейде становился на якорь большой корабль. Потом сказал: – Да, тогда, в юности, я усвоил – не должно быть предела дерзанию. Всемирность – с этого ощущения начинается гений...

В это время мой отец умер. Надо иметь того, для кого вы пытаетесь добиться успеха, кто должен вам аплодировать... Теперь мать должна была восхищаться моими успехами. Но еще долго я продолжал разговаривать с умершим отцом... И в день коронации, сидя на троне, я сказал брату: «Если бы это видел наш отец!» И теперь я все чаще замечаю в себе его привычки, говорю с его интонацией...

Я был выпущен из училища в чине подпоручика в артиллерийский полк. Полк сначала стоял в Гренобле, потом нас перевели в Валанс. Обычный провинциальный городок – мир сонной скуки. Офицеры – богатые дворянчики, и я – полунищий, живущий на жалкое жалование. Однообразные забавы молодых офицеров – соблазнять местных дам и после пересказывать друг другу свои любовные подвиги. Я старался не слушать их. Ведь если им верить, все женщины низки и похотливы, как кошки. И я утешал себя строкой из Овидия:

«Всякий готов обсудить здесь любую красотку, чтобы сказать под конец – я ведь и с ней ночевал».

Я был тогда влюблен. Первая любовь для возвышенной души – пострашнее недуга. Ее звали Софи, дочь госпожи Коломбье... Да, помню ее фамилию. У этой дамы собирался местный салон, она была законодательницей мод валанского общества. И надо сказать, она меня поняла и, думаю, даже оценила. Юный, нелюдимый, нищий подпоручик был принят в ее салоне. И, конечно же, я тотчас влюбился в ее дочь. Какое это было блаженство – сидеть подле Софи... и есть вишни. Да, мой друг, все мое блаженство свелось к тому, что мы вместе ели вишни. Потом, через много лет мы встретились... она была замужем, бедствовала. Я назначил ее статс-дамой ко двору одной из своих сестер. Разве я мог забыть первую любовь – невинную любовь жалкого подпоручика?

Следующая любовь... была тоже невинной. Родная сестра жены моего брата Жозефа... Как она была хороша! Помню, она искренне удивлялась, как я отважился в нее влюбиться! Даже спросила меня:

«Ну что ты можешь мне предложить?» И я спокойно ответил: «Корону». Она расхохоталась. А ведь я не солгал. Это я помог ее мужу стать королем, хотя он был мне всегда противен. Теперь она шведская королева, а ее муж, которого я осыпал почестями, как вам известно, изменил мне первым. Король Бернадот... – Он расхохотался. – Этот бывший якобинец... На правом плече у него любимая татуировка якобинцев: «Смерть королям». Поэтому, говорят, даже камердинер не имеет права видеть его обнаженным...

После всех неосуществленных любовных мечтаний я записал в дневнике: «Считаю любовь вредной для общества. О, если бы боги избавили мир от любви». Я сделал тогда выбор: я буду любить одну даму – Славу. И у нее не будет соперниц. Я решил стать политическим писателем. И как великий гасконец⁷ – завоевать умы Европы. Так началось мое первое нападение на континент. В своем тайном сочинении я впервые свергал королей. Я заклеил Людовика, «который безжалостно тиранит мою несчастную Корсику». А заодно обличил и остальных монархов, «угнетающих нынче двенадцать стран Европы. И среди всех этих жалких королей только единицы не заслуживают того, чтобы их свергли».

Император помолчал.

– Пожалуй, все эти глупости про юношескую любовь мы вычеркнем... Итак, по ночам я расправлялся с королями, а утром пропадал на полигоне – учился ремеслу артиллериста на службе у французского короля. Это уже было серьезно: по шестнадцать часов в день я занимался своей профессией. Я понял: судьба преподнесла мне великий подарок. Ибо не штык и пуля, в которые свято верили тогда все королевские армии Европы, но огонь пушек будет решать судьбу будущих сражений. И я разыгрывал... и выигрывал великие битвы в своей каморке, собирая в кулак уничтожающий, яростный огонь батарей. А в свободное время... то бишь перед рассветом, – книги, книги, книги!

Я и носу не показывал в кафе, где молодые офицеры по-прежнему обсуждали прелести покоренных дам... пока я покорял Европу! И хотя они совершали свои «подвиги» в реальности, а я в воображении, но в девятнадцать лет воображение реальнее реальности! И даже когда меня отправляли на гауптвахту, я добросовестно штудировал там знаменитый римский кодекс Юстиниана – как материал для будущих законов моей завоеванной империи! Будущей великой Империи! И каждый раз, засыпая на свои три часа (мне и тогда этого было достаточно), я молил о ней Высший Разум, так именовали Господа мы, просвещенные люди конца века.

И наступил он – «великий восемьдесят девятый»! Революция принялась за работу. Я присутствовал при роковых минутах королевской власти. С террасы Тюильри я следил за Историей... пока в качестве наблюдателя. Я видел, как тысячная толпа с топорами, пиками, саблями и ружьями штурмовала дворец королей. В окне показался несчастный Людовик. Ворвавшаяся чернь напялила ему на голову красный фригийский колпак. И я сказал: Жалкий олух! У тебя были пушки! Надо было картечью рассеять пять сотен этих каналов, остальные разбежались бы сами...»

В тот день чернь познала ничтожество властелина. И я не сомневался: теперь они обязательно придут сюда вновь! И в знаменитый день десятого августа все с той же террасы я увидел конец ничтожной, слякотной власти... Дворец Тюильри вновь осажден наглым, подлым сбродом. Жалкое сопротивление швейцарцев... Вместо решительного пушечного залпа в толпу – беспорядочные одиночные выстрелы. И уже победившая чернь, сметая гвардейцев, ворвалась во дворец...

⁷ Монтескье.

Потом, когда дворец был взят, я пошел посмотреть. Дальше двора меня, разумеется, не пустили. От тесноты ли места, или оттого, что я видел это в первый раз, но я был поражен таким количеством трупов: двор был устлан телами швейцарских гвардейцев... И все это время я слышал отчетливый голос пришло, пришло твое время!..

Но начал я с ошибки – вернулся на Корсику и явился к генералу Паоли. Тот долго причитал «как летит время», спросил о матушке, в которую был, конечно, как и все, влюблен. Я прервал эти старческие вздохи: «Генерал, я появился на свет, когда моя родина гибла. Вы должны поддержать человека, рождению которого были свидетелем... Моя жизнь принадлежит борьбе за свободу моей Родины. Я хочу сражаться вместе с вами!»

И он ответил мне, вздохнув: «Ты отстал от времени, Наполеоне, – разговариваешь смешным языком Плутарха. Ты до сих пор не покинул свою юность. К сожалению, мне нужны не говоруны-мечтатели, а молчаливые силачи-бойцы. Ты слишком мал ростом для испытаний, которые нам предстоят».

Не думаю, чтобы моя патетика показалось ему столь смешной. Причина его слов была, конечно, иная – генерал Паоли был прирожденный вождь и его чуткое ухо услышало конкурента! И он испугался... Ну а потом и я разочаровался в корсиканской независимости. Ступени, ведущие к славе... я не нашел их на своем острове. Для всемирной славы он был слишком мал. И вскоре я снова был в Париже...

Пожалуй, на сегодня хватит. Перепишите и принесите мне утром. Лучше пораньше. Думаю, днем они переведут нас на другой корабль.

Вернувшись к себе в каюту, я до рассвета диктовал бедному сыну все, что записал и запомнил. А потом долго думал: как хитро император пропустил самое интересное!

О тех днях мне много рассказывал мой друг корсиканец Фернан, сражавшийся с генералом Паоли и эмигрировавший потом в Англию. Сначала будущий повелитель Франции принял участие в мятеже против Франции – командовал отрядом корсиканских сепаратистов, а потом... потом подавлял этот мятеж! Ибо сделал окончательный выбор – предпочел великую Францию маленькому родному острову. И вскоре уже штурмовал крепость, где засел генерал Паоли, но тщетно. С этого безуспешного штурма и началась военная карьера того, кто впоследствии завоюет целый мир...

А тогда он вместе с матерью и братьями был объявлен вне закона вчерашними сподвижниками. И, видимо, теми же горными тропами, какими когда-то спасалась от французских солдат, Летиция уводила с острова свою семью от разгневанных корсиканских патриотов, от вчерашнего кумира – генерала Паоли. На крохотном суденышке в шторм они отплыли к берегам Франции...

Все это, естественно, я тогда тоже записал. Ибо в ту ночь решил делать записи не только для него, но и для себя. Точнее – для Истории. Императору, разумеется, я показывал лишь его диктовку.

Утром я принес ему переписанное. Он даже не стал читать – тут же разорвал.

– Я подумал, что... все не нужно! И детство, и отрочество у всех одинаковы. Все молодые Вертеры похожи друг на друга. А так как «Вертер» уже написан... и я ничего не могу прибавить к великой книге... – Он усмехнулся. – Короче, этот период мы пропустим. Напишем лишь несколько предложений... Уже тогда я презирал все, что не есть Слава. И уже тогда знал все, что со мной случится!

И оттого я окончательно понял – моя душа более не принадлежит маленькому острову, ей нужна Вселенная!.. Это был все тот же голос судьбы. Услышать его дано только избранным... Именно поэтому я, вчерашний мятежник, объявил комиссару Конвента: «Что бы ни случилось,

Корсика должна быть соединена с Францией». Так состоялось мое второе рождение. Корсиканский акцент и окончание «е» в имени можно... нет, нужно было отбросить. Ибо не было больше Наполеоне Буонапарте. Был Наполеон Бонапарт, приехавший в Париж. Чтобы, как все честолюбцы, завоевать великий город? О нет! Прекрасную Францию? Тоже нет! Весь мир!..

Он стремительно заходил по каюте:

– Я набросал план нашей работы. Записывайте! Надо начинать не с рождения Бонапарта, а с рождения Наполеона. А его истинное рождение – это осада Тулона. Потом пойдет подавление восстания роялистов, консулат, империя... Далее – политика в отношении Англии, блокада гнусного острова... Затем – российская кампания, победа «генерала Мороза» над Великой армией... Эльба, Сто дней и Ватерлоо. Вот и вся жизнь... Между прочим, я сделал огромную ошибку, заночевав во Флерюсе и отсрочив начало битвы. При Ватерлоо сражение надо было начать на сутки раньше, тогда Веллингтон и Блюхер не успели бы соединиться... После Ватерлоо – вся история подлой ссылки на остров... Кстати, вы автор «Атласа»... что-нибудь знаете о Святой Елене?

– Конечно, Сир. Во-первых, когда-то вы хотели его захватить...

Я забыл о его удивительной памяти. Он тут же подхватил:

– Мы должны были высадить там десант – полторы тысячи человек с четырьмя орудиями. Но не вышло – после победы англичан при Трафальгаре каждое судно было на вес золота. Так Господь оставил остров у англичан – приберег, очевидно, для меня... Дальше...

– Я посмотрел в моем «Атласе»: остров небольшой, тринадцать километров в длину и около двадцати в ширину. Принадлежит Ост-Индской компании, население: чиновники и купцы. Остальные три четверти населения – негры-рабы. Четыре тысячи миль от Европы и вдвое меньше... от Америки. Ближайшая суша – остров Вознесения – тоже принадлежит англичанам.

– Итак – вода, вода, вода... Нас будет сторожить океан. Негодяи выбрали правильно.

– Но Америка, Сир...

– Не надейтесь, Лас-Каз, у нас другие планы... Климат?

– Тропики, экваториальная жара и постоянные ливни.

– Это значит – дизентерия, лихорадка, рвота, сердцебиения. – Мне показалось, что он улыбнулся. – Таковы будут условия для коронованного Папой монарха... И условия эти непременно украсят вашу будущую книгу...

И он продолжил диктовать план:

– Далее в дополнение к биографии мы с вами запишем ряд размышлений. Некий краткий очерк войн прошлого, походы великих – Тюренна, Фридриха и Цезаря. И еще – об укреплениях, об организации армии... для будущих военных учебников. Таков наш минимум.

– Я безмерно счастлив оказанной мне милостью, Сир. Мы напишем об Истории, которую творили вы.

– Но вы должны понимать: при таком климате неизвестно, сколько мне будет отпущено времени. Следует торопиться... Вам выпала удача – записать все, что я хочу рассказать о себе миру. И мне выпала удача – получить время для этого. Обычно люди, подобные мне, обремененные государственными заботами, не успевают этого сделать. Если бы я скончался на троне, я остался бы загадкой для всех. Сейчас, в моем несчастье, я наконец-то смогу поведать людям о себе. И надеюсь, что эта будущая книга в чем-то изменит мир...

В дверь каюты постучали.

– Как я и предполагал – пора. Ступайте собирать вещи, нас переводят на другой корабль. Видимо, вон тот... «Нортумберленд». – Он, усмехаясь, указал в иллюминатор, где был виден стоящий на рейде большой корабль. – Он и повезет нас на забытый Богом остров.

Я откланялся. Император, как обычно, забыл меня поблагодарить. Потом вспомнил – и потрепал по щеке...

Самое удивительное – он был в хорошем настроении. После всего, что случилось!

И только теперь, по прошествии стольких лет, я окончательно понял – почему!

Наш первый день плавания. «Нортумберленд» – огромный семидесятичетырехпушечный фрегат. Его сопровождает целая эскадра, я насчитал девять кораблей. На палубах все красно от мундиров англичан – на остров везут наших тюремщиков. Две лучшие каюты на фрегате занимают император и командующий флотилией контр-адмирал Кокберн.

Император вышел на палубу – провожает уходящие берега Англии. Прощается с Европой, которая должна была ему принадлежать... Возвращается в каюту. И более не выходит. Даже к ужину.

Почти все время он проводит в своей каюте по правому борту. Там есть туалетный столик, умывальник и два кресла. И серый матрас на полу у койки императора – на нем спит верный Маршан...

Каково же было мое удивление, когда я недавно узнал, что Маршан, этот бессловесный преданный пес, тоже вел дневник! Он описал жизнь императора на острове... точнее, его смерть... его загадочную смерть. А я-то считал, что простодушный Маршан делал только то, что ему приказывал император... Или?.. Или, может быть... это был тоже приказ – писать дневник?.. Ну конечно, как же я сразу не понял!

Сегодня, пока император гулял по палубе, Маршан наводил порядок в его каюте. Он заменил корабельную койку той самой походной кроватью и с моей помощью укрепил над ней полог из зеленой тафты.

Маршан говорит мне:

– На этой кровати император отдыхал перед Аустерлицем, Ваграмом и Фридландом. На ней он провел ночи великих побед...

Та самая кровать, на которой император умрет.

Он встает, как обычно, на рассвете. Маршан приносит ему черный кофе. Сразу после кофе должен появляться я.

Император в халате и шлепанцах стремительно ходит по каюте (зверь в клетке!) и, к сожалению, столь же стремительно диктует. Он ничего не умеет делать медленно, он подчинен другой скорости, живет в другом измерении... Мне приходится придумывать всё новые иероглифы для сокращения слов, с их помощью я веду непрерывную запись до обеда. Пока император обедает, я диктую расшифрованное сыну. Ему вчера исполнилось пятнадцать лет – взрослый мальчик. Я все вспоминаю, как жена не хотела его отпускать... нет, без него бы я не справился...

Обед императора: мясо и немного вина «Шамбертен».

Потом Маршан опять приходит за мною. Я возвращаюсь. И вновь диктовка...

На следующий день император прочитывает записанный текст и вносит свои изменения – поправляет каждый абзац до двух десятков раз. А потом... все зачеркивает. Но я копирую для себя каждую запись.

Император отпускает меня обычно глубокой ночью. Я едва успеваю доползти до койки, падаю и сплю.

Сегодня необычный день – император отпустил меня вечером. Стоит прелестная погода, штиль. Он решил прогуляться по палубе.

Маршан приносит ему знаменитый зеленый мундир. Император выходит на палубу и останавливается, опираясь на пушку (его любовь). И молодые английские офицеры застывают, встают на караул. Кокберн ничего не может с этим поделать – он сам давно попал под обаяние бога войны. И уже не говорит императору «господин генерал», хотя, говорят, поклялся в Лондоне, что другого обращения тот от него не дожидается.

После прогулки император идет в офицерский салон. Здесь приветствия офицеров звучат согласно строжайшему приказу: «Добрый вечер, господин генерал» или «Здравствуйте, Ваше превосходительство». Император не отвечает... В салоне его ждет свита. Наконец-то он слышит:

– Добрый вечер, Сир!

И только тогда здоровается.

Император сказал мне вчера: «Как они смешны со своим «генерал Бонапарт»! Мои победы давно сделали очевидным для всех: слово «император» навсегда срослось с именем «Наполеон». Навсегда!»

В салоне он играет в карты с Кокберном, Монтолоном и Бертраном. Проигрывает, как обычно, свои золотые наполеондоры, которые со вздохом вручает ему Маршан. Или играет в шахматы с одним из наших, чаще всего с Бертраном (и тоже безнадежно проигрывает).

Английские офицеры изумляются: как великий стратег может быть столь бездарен в шахматах? Они не понимают – его мысли далеко. Он обдумывает нашу работу...

Ужин накрывают в другой части полуюта (уточнение для истории). Император сидит во главе стола. По левую руку – адмирал Кокберн, по правую – Бертран со своей белокурой Фанни, Монтолон и я. Беседа ведется по-французски (я или Фанни переводим Кокберну).

После ужина император вновь прохаживается по палубе в сопровождении адмирала. Они ходят под руку, представляя собой забавную пару – высокий худющий Кокберн и коротенький толстый император...

Кокберн и все остальные скоро пойдут спать. А он... Ночью за мной неумолимо придет Маршан. И в свете свечи под стеклом, под тяжкий ропот океана мы продолжим...

Император диктует:

– Париж в семьсот девяностом – сладкие каникулы революции. Плотина запретов сметена! Сводящий с ума воздух шалой свободы... все опьянели... В саду Тюильри – выставка туалетов. Шпаги дворян, галстуки адвокатов, сутаны священников... и множество красавиц... Бесконечный праздник ораторов: диспуты повсюду – в клубах, в кафе, в Законодательном собрании, в ресторанах, театрах и даже в публичных домах. Громовые речи Мирабо... И все это наблюдаю я, жалкий лейтенант, ослепленный этим пиром накануне крови...

Он останавливается, и мы вычеркиваем слово «жалкий».

– Но скоро из многообразия туалетов останутся одни нищие куртки санкюлотов, потому что за всеми этими счастливыми людьми, пьяными от свободы, следят трезвые глаза законных детей революции – глаза Марата, глаза провинциальных адвокатов, которые жаждут двигать революцию вперед... Вперед – значит, к крови! Ибо у революции есть только один двигатель – кровь. И вот уже Дантон под восторженный рев толпы прокричал: «Мы будем их убивать, мы будем убивать священников, убивать аристократов... и не потому, что они виновны, а потому, что им нет места в грядущем, в будущем!»

Но тут-то и была его великая ошибка. Он почему-то думал, что революция убивает сословно. Он еще не знал, что гильотина – демократична! Ибо революция, как Сатурн, пожирает и своих законных детей! И скоро, скоро они все поедут на казнь. И отец революционного

Трибунала Дантон, приговоренный к смерти тем же Трибуналом, и Робеспьер, и Сен-Жюст... всех пожрет эта вечно голодная до крови дама...

Я пережил это время в скучном своем полку, но я знал – скоро меня призовет слава... Республика задыхалась в огне мятежей и интервенции. Восстал Лион, и усмирять его был послан мой будущий министр, депутат Конвента Фуше. Он велел взять двести юношей. Их связали веревками. И в этот сгусток человеческого отчаяния он палил из пушек. Я читал его воззвание: «Пусть их трупы доплывут до Тулона, внушая ужас врагам Республики».

Император усмехнулся.

– Потом я часто напоминал Фуше о Лионе и о том, как он голосовал за смерть короля. Но эта хитрая лиса неизменно отвечала:

«Чего не сделаешь, Сир, чтобы освободить место вам...» Фуше хитер и подл, а все думают, что умен. И самое глупое – он сам поверил в свой ум. Мерзавец не понимает, что вся камарилья во главе со старым маразматиком Людовиком, которая благодаря ему нынче въехала в Париж, уже завтра пожелает забыть, кому она этим обязана. Зато вспомнит его кровавые дела. Когда его вышвырнут из Парижа, ему придется понять: быть ищейкой, предателем – это он умел, но быть политиком – выше его разума... Впрочем, вычеркните все это, я не хочу марать будущую книгу.

И опять он вернулся в прошлое:

– Но как забилося мое сердце от странного предчувствия, когда я услышал: «Вслед за Лионом восстал Тулон». Роялисты захватили город и призвали армию интервентов. Семь тысяч испанцев, восемь тысяч пьемонтцев и неаполитанцев, а также две тысячи англичан и стоящие в порту британские корабли обороняли мятежный город. Тулон стал головной болью революции. Который месяц у защищенного с моря и суши города беспомощно топталась наша армия...

Но судьба... Запомните – если она служит вам, вы всегда окажетесь в нужное время в нужном месте. И вот уже мимо Тулона проезжает посланный за порохом в Авиньон капитан Бонапарт, и в это же самое время командира артиллеристов (я помню его имя – Даммартен) тяжело ранят, а в Тулонскую армию в это же время прибывает депутат Конвента, давний знакомец Бонапарта – корсиканец Саличетти.

Мы обнялись и заговорили на языке нашей родины. Он пригласил меня в палатку. Узнав, что я капитан артиллерии, он открыл рот, чтобы рассказать о ранении Даммартена. Но я уже знал – все тот же голос судьбы... И тотчас придумал, как действовать.

Я предложил ему прогуляться. И, показав на стоявшее неподалеку орудие, сказал: «Вы плохо ведете осаду! К примеру, какая польза от этого орудия, если вы не умеете даже правильно его поставить?» Саличетти воззрился на меня в крайнем недоумении, и я пояснил:

«Ядро из этой пушки не долетит не только до укреплений Тулона, но даже до моря. Хотите пари?» И не дожидаясь его ответа, приказал артиллеристу: «Заряжай!» Три выстрела подтвердили мою правоту. А дальше было все, как я и ожидал: потрясенный моими знаниями, Саличетти тотчас предложил мне заменить Даммартена.

Я согласился, и он сел писать в Конвент. Ему нужно было обосновать мое назначение, ибо во времена террора все боялись обвинений в предательстве. Головы летели каждый день. Я стоял над ним и видел, как перо его выводило: «...и случай нам помог: мы остановили проезжавшего мимо очень сведущего капитана Буонапарте и приказали ему заместить раненого». Случай? Да. Но – мой случай! Теперь все, что я продумывал в полку бессонными ночами, можно было начать осуществлять.

Крепости берет артиллерия. Но сначала надо было наладить дисциплину среди моих артиллеристов – этой вольницы санкюлотов... Я был худ, страдал от чесотки и сзади меня часто принимали за девочку. Подчинить этих полупьяных великанов можно было только одним –

мужеством. Я велел укрепить над батареей знамя с надписью: «Батарея бесстрашных». И теперь во время артиллерийских дуэлей с тулонцами я поднимался на бруствер и преспокойно стоял под ядрами, скрестив руки на груди. Мои артиллеристы смотрели на меня сначала с изумлением, потом с великим трепетом. Они поняли: я не знаю страха. Но я пошел дальше – велел уничтожить укрытия, в которых они прятались от ядер (и оттого стреляли слишком медленно). Сюда, на батарею, под вражеский огонь я охотно приглашал всех этих революционных бездельников – инспекторов из Парижа. И уже через мгновение они с ужасом спрашивали: «Что у вас здесь служит защитой?» А я отвечал, стоя на бруствере: «Как вы уже поняли, граждане, защитой нам служит наш патриотизм!» Под хохот моих артиллеристов они в страхе клались каждому ядру, а потом попросту падали ничком на землю...

Я помню молоденького солдата, бросившегося на землю вслед за этими трусами, когда прямо на нас полетело ядро. Оно разорвалось совсем рядом со мной, я был покрыт грязью, но – ни единой царапины. И я сказал солдату: «Глупец, ты видишь – я невредим! Ибо если это ядро было предназначено мне, а я зарылся бы в землю на тысячу футов, оно и там нашло бы меня». И мои артиллеристы окончательно поверили, что я заговорен. Теперь они подчинялись мне абсолютно.

Все разбросанные по побережью орудия я приказал собрать вместе. Артиллеристы свозили их со всего побережья под обстрелом противника... И доблестно погибали под огнем... Генерал Карто (до революции он был плохим художником, а теперь этот болван командовал Тулонской армией) ничего не понял и потребовал от меня прекратить терять солдат, намекая, что это пахнет изменой. Испуганный Саличетти ему не возражал... но мне помог Огюстен Робеспьер⁸, присланный от Конвента вместе с трусливым корсиканцем. И еще умница Дюгомье – этот генерал мне тоже сразу поверил. Помню, они собрались в палатке, и я произнес перед ними неплохую речь. Я учил их новой тактике – моей тактике: «Чтобы обороняться и выжить – надо дробить свои силы. Но чтобы атаковать и победить – силы необходимо объединять. Мы атакуем. И весь артиллерийский огонь надо направить в одну точку, нанести мощнейший удар на одном участке. Пробить брешь в обороне противника! И если брешь пробита – судьба битвы решится в мгновение, сопротивление станет бесполезным».

И я показал на карте высоту Эгильет, где надо было пробить эту смертельную для противника брешь. Высота господствовала над рейдом, оттуда можно было разбомбить флот англичан. «Вот здесь Тулон!» – сказал я. Но болван Карто никак не мог понять, почему Эгильет – это Тулон. Несчастный генерал подумал, что этот мальчик, тонкий, как щепка, с висящими по щекам немывыми патлами, нервно расчесывающий себя до крови (как меня донимала чесотка!) просто не силен в географии. И он начал объяснять мне, где находится Тулон... Я едва не расхохотался.

Но Огюстен Робеспьер и генерал Дюгомье поняли меня. И мы штурмовали Эгильет. Я был в самом пекле, в голове атакующих. Подо мной убило ядрами трех лошадей, но сам я был лишь легко ранен пикой. Я превозмог весьма сильную боль... скрыл свою рану – солдаты должны были верить в мою неуязвимость. И они запомнили – и про трех убитых лошадей, и про неуязвимого Бонапарта! Но в решающий момент, когда противник уже готовился сдаться (ах, как я всегда чувствовал этот миг!), этот идиот Карто велел отступать...

И опять они собрались в палатке, и опять я заставил их поверить мне. Огюстен Робеспьер приказал повторить штурм. Собрав все батареи в единый кулак, я не покидал своих артиллеристов ни днем ни ночью – спал на земле рядом с пушками, завернувшись в шинель... И был второй штурм. Я отлично обработал ураганным огнем форт Мюльграв, прикрывавший высоту Эгильет. И уничтожил гарнизон.

⁸ Брат диктатора.

И я сказал Огюстену: «Теперь ступайте с Богом отдыхать. Считайте, мы уже взяли Тулон. Через два дня вы будете там ночевать».

Император смотрел в окно каюты, мимо которой прохаживались по палубе английские матросы. Но он их не видел – он был в Тулоне...

– Да, все было кончено! Мы захватили форт, а потом высоту. Оттуда я устроил ад для английского флота. Два дня непрерывной канонады – и начался новый штурм Тулона. Семь тысяч солдат бросились в атаку. И опять в разгар боя мне стало ясно – вот-вот дрогнут атакующие. Я опять чувствовал этот решающий миг битвы! И тогда я бросил в бой мой резерв. Я сам повел солдат в пекло сражения! И решил его исход. Началось жалкое бегство защитников города на английские корабли. А потом уходящая, точнее, убегающая в открытое море английская эскадра...

Тулон, считавшийся в Европе неприступной крепостью, был взят! Великий день – семнадцатое декабря девяносто третьего года. Британские газеты отказывались верить – Тулон, защищенный с суши и с моря, пал?! Да, моя звезда взошла. Это было первое из шестидесяти великих сражений, которые меня ждали. Шестидесять побед! Больше, чем у моих кумиров, вместе взятых: Александра Македонского, Цезаря и Ганнибала...

Огюстен в подробном докладе написал обо мне в Париж. И, конечно, после доклада брата всемогущего Максимилиана – немедленный результат: звание генерала. Мне было двадцать четыре... генерал Бонапарт. И вот теперь, через двадцать два года, они хотят оставить меня в том же звании...

Император засмеялся. Он уже вернулся в реальность и поглядел на англичан, гулявших по палубе:

– Как они бежали из-под Тулона... А утром я сказал себе, приветствуя наступающий день: «Это взошло твое солнце».

На следующий день, передавая императору свои записи, я осмелился сказать:

– Может быть, Сир, стоит закончить ваш рассказ фразой: «В Тулоне он впервые встретился с Историей, чтобы более никогда с ней не расставаться»?

Но он лишь расхохотался.

– Впрочем, даже эту банальность можно как-то спасти... – И он исправил: – «В Тулоне он впервые вы...л Историю». – (Обожает солдатские словечки!) – Но так как этого писать нельзя, умоляю – впредь ничего не придумывайте сами. Моя жизнь и без того слишком патетична!

Во время прогулки по палубе я услышал, как император с усмешкой спросил адмирала Кокберна:

– Не скажете ли, сэр, где был «Нортумберленд» в те дни, когда я захватил Тулон и выгнал оттуда английские гарнизон и флот?

– Про судно не знаю, – ответил адмирал, – но я был среди тех, кого вы прогнали...

Вечером император сказал мне в каюте:

– Он не знает! И это люди чести?! Я уверен, «Нортумберленд» был в той самой эскадре, которую я вышвырнул из-под Тулона. Поэтому они и пересадили меня на этот корабль. Жалкая месть! Впрочем, это в обычаях британцев. Взять Веллингтона... После моего первого отречения он уговорил старого маразматика⁹ отдать ему мою великолепную статую, сделанную Кановой. Он мстительно поставил ее в своей прихожей, и теперь гости вешают на нее свои шляпы...

⁹ Людовик Восемнадцатый.

Где благородство?! Я уверен: этот господин сделал все, чтобы отправить меня на этот остров, ибо он боится, что я снова вернусь... Он знает, что дважды победить Наполеона – невозможно!

Однако за дело... В Тулоне я встретил Новый год, а четырнадцатого января стал генералом. В тот день мы с Огюстеном сидели в маленьком кафе на набережной. С моря дул вечный бриз. Молодость, удача! Огюстен позвал меня с собой в Париж. Он рисовал мне картины столичного будущего. Я было открыл рот, чтобы с благодарностью согласиться... и вдруг отчетливо понял – нельзя! И с изумлением услышал, как я отказываюсь! И Огюстен с таким же изумлением смотрел на меня. Он ничего не сказал, только пожал плечами. Молча допил свою чашечку кофе и ушел – обиженный. Он отбыл в Париж, а я остался на юге командующим артиллерией... проклиная себя за отказ. Но через полгода наступило девятое термидора, и я понял – судьба спасла меня.

Я столько передумал об этом дне. Какая сцена для великой пьесы! В бывшем придворном театре королей Конвент сыграл последний акт нашей революции! Я хорошо помню эту залу Конвента – здесь приговорили к смерти ничтожного короля. Теперь здесь же предстояло исполнить главный закон революции – истребить ее любимых детей...

Жара, июль... Брут, Марат, Солон глядят со стен. Огромная статуя Свободы опирается на земной шар. Тогда это была лишь мечта. Во время моего правления Свобода воистину обопрется на весь мир... Кресло председателя, выполненное по рисунку Давида... За креслом портьера, скрывавшая вход в салон, где совещались хозяева Конвента. Вот оттуда и вышел как всегда уверенный и как всегда сильно напудренный Робеспьер. Бедняга не знал, что заговор уже составлен. Заговор тех, кто молча и трусливо наблюдал, как великие революционеры истребляли друг друга! Заговор негодяев против кровавых фанатиков! Впоследствии я говорил со многими его участниками – хотел отделить легенду от истины.

Робеспьер начал говорить, но они ему не дали. Ему стало плохо, он попытался сесть на скамью, а они кричали: «Не смей туда садиться, это место Демулена, которого ты убил!.. И сюда не смей – это место Верньо, которого ты уничтожил!..» Он пытался продолжать говорить, но от волнения поперхнулся. И тогда прогремели эти слова, которые закончили великую революцию: «Кровь Дантона душист тебя, несчастный!»

Каков эпилог! В ночь на десятое термидора в Парижской ратуше с челюстью, раздробленной пулей, лежал всемогущий Максимилиан. Около него суетился жандарм, совсем мальчик, уверявший, будто это он стрелял в Робеспьера. Вчерашнего диктатора перенесли в Консьержери... он лежал в камере, глотая кровь. Впоследствии я отыскал врача, который выдернул из его раздробленной челюсти осколок кости и несколько зубов. И врач подтвердил мне то, в чем я всегда был уверен, – жандарм ни при чем, это была попытка самоубийства. Жалкий конец... Для истории ему надо было подняться на эшафот, как Дантону, – и попрощаться... нет, не с народом... народ, чернь – пустое, но с Историей, со Славой!

Его положили на доску. Упал нож гильотины... Фуше, истинный отец переворота, рассказывал мне, как палач уложил между ног голову с рыжеватыми волосами, на которых осталась пудра, а в глазу застрял кусок стекла от разбитых очков... Вместе с ним лег под нож и Огюстен... Огюстен был чертовски талантлив. Сам Максимилиан был негодный диктатор: он так и не понял свою задачу и оттого погиб. Впрочем, задача эта была ему не по силам. Эту великую миссию – усмирить революцию, умирить народный гнев, ввести в берега безумное половодье – он оставил мне.

В революции есть всего два сорта вождей – те, кто ее совершают, и те, кто пользуются ее плодами... Пришло время срывать плоды с дерева революции, и к власти пришли воры и негодяи. Началась «охота на ведьм». Под радостные крики толпа разбивала статуи великих революционеров, которым еще вчера поклонялась.

Я счастливо избежал гильотины, которая мне наверняка грозила, если бы я поехал с Огюстеном в Париж. Правда, тюрьмы не избежал. Очутился я там уже через две недели после

казней в Париже по обвинению в близости к врагу народа Огюстену Робеспьеру и... в намерении сдать англичанам Марсель! Кровавый бред кружил головы! От страха все помешались на доносах... Кому я был обязан этим диким вздором? Я узнал это на первом же допросе. Тому, кто действительно был близок к Огюстену, моему приятелю Саличетти!

Император засмеялся.

– Таким образом трус пытался спастись сам!.. А я сидел в тюрьме под Нищей и смотрел сквозь решетку на море. С крыши тюрьмы в ясную погоду можно было увидеть в бинокль очертания далекой земли – мою Корсику. В тюрьме мне исполнилось двадцать пять. Что ж, четверть века прожил, следовало подвести итоги... За это время я многое успел: был объявлен вне закона на родине, жил в нищете и... стал одним из самых молодых генералов Республики!

Мне предлагали бежать. Я отказался – зачем? Если судьба предназначила меня для великих дел, я и так буду на свободе. Если этого не случится, значит, я обычный смертный и тогда стоит ли жить?! Лучше гильотина! Я был совершенно спокоен.

Я решил написать письмо в Париж. Хотя знал: во время «охоты на ведьм» лучше затаиться. «Опасно напоминать о себе обезумевшему Парижу», – так посоветовал начальник тюрьмы, весьма мне симпатизировавший. Но я был уверен: судьба за меня! И я написал:

«Хотя я оклеветан без вины, не хочу роптать и жаловаться на Комитет общественного спасения. Я не слишком ценю свою жизнь и только вера, что могу послужить Отечеству, позволяет мне все это переносить и просить вас, граждане: «Разорвите мои цепи!»

Сколько подобных молений они получали... Тщетных молений! И сколько невинных отправилось в те дни на эшафот после подобных писем! Но со мной свершилось чудо. Всего через две недели вместо путешествия на гильотину я гулял на свободе. Так я проверил мои отношения с судьбой...

Выйдя из тюрьмы, я узнал, что Саличетти находится в бегах. Через друзей-корсиканцев (мы всё всегда знаем друг о друге) я выяснил, где он скрывается. Он прятался у любовницы, пережидая время казней... И я написал ему: «Я мог бы отомстить тебе, но не трусь: этого я не сделаю, никому не скажу о тебе ни слова. Ибо никогда не забуду твои благодеяния, мой вчерашний товарищ...» Еще бы – ведь это он помог мне встретиться с Историей, смел ли я забыть это?

Новые власти предложили мне отправиться в Вандею. Героя Тулона хотели заставить усмирять бунтовавших крестьян! Я предпочел отставку и поселился в Париже. Устроился работать в топографическом отделении военного министерства. Получал гроши, да и выдавали их не всегда аккуратно, так что обедал по знакомым... Вечно голодный, задолжал всем – прачке, ресторатору, бакалейщику, виноторговцу... До сих пор помню этот ужас, когда раздавался стук в дверь – кредиторы! Чаше других приходила прачка – чудовище необъятных размеров с громopodobным голосом. Она свирепо требовала заработанное.

Самое тощее существо в Париже самого странного вида... это был я! Представьте себе: «собачьи уши» (так называлась моя старенькая треуголка с опущенными полями), жидкие волосы до плеч, потертый генеральский мундир и вечно мрачный взгляд... Моя работа в министерстве заключалась в бумажной писанине – инструкциях для нашей дурно экипированной армии в Италии, с трудом сдерживавшей натиск австрийцев. Но по ночам с этой жалкой армией я одерживал победу за победой... на карте, при свете огарка свечи, который я должен был к тому же экономить. В своей нищей комнатухе, забывая о голоде, я громил хваленые австрийские войска, оккупировавшие мою Италию, родину предков. Я грезил об этих победах непрерывно...

И я решил действовать. Добился аудиенции у Барраса¹⁰. Ему рекомендовал меня генерал Лютиль, участвовавший в штурме Тулона.

¹⁰ Один из главных организаторов термидорианского переворота, член Директории – правительства республики после

До революции виконт Баррас был королевским офицером. Этот высокий красавец соединял всю испорченность старого режима с кровавым цинизмом людей революции. Его жизнь была похожа на роман, кровавый и похотливый, и с самыми гнусными иллюстрациями. Он был способен на переворот, на убийство, мог ограбить монастырь и завоевать колонию на краю света... Теперь он жил как всемогущий революционный принц, окруженный любовницами, льстецами и ворами-финансистами.

Как я ждал этой встречи! Когда я вошел, Баррас уставился на меня с величайшим недоумением – ему было трудно поверить, что перед ним герой Тулона... так я выглядел. Я был... – император усмехнулся и посмотрел на меня, – даже худее вас, Лас-Каз.

«Однако вы слишком молоды, генерал», – сказал мне Баррас. Я не смог отказать себе в ответе: «На полях сражений, гражданин, взрослеют быстро. А я не так давно с поля боя». Баррас из вежливости спросил меня о Тулоне. Я с наивным жаром стал рассказывать... и натолкнулся на его отсутствующий взгляд, с открытой скукой блуждавший по моему изношенному мундиру. В это время в кабинет заглянула красивая дама...

Я подумал, что хорошо знаю «красивую даму». Жозефина была тогда любовницей Барраса...

Император строго посмотрел на меня и продолжил:

– После чего Баррас заторопился и попросил меня изложить мое дело. Я начал пересказывать восхитительные проекты побед в Италии, выношенные на моем чердаке. «Нам надо перестать обороняться, – горячился я. – Самим напасть на войска австрийцев в Италии. На штыках понести в Европу нашу свободу». Баррас совсем заскучал. Ему, как и всем им, новым повелителям, было не до Свободы. Все, что не сулило денег, было им скучно. Он откровенно ждал, когда я закончу. И торопливо поблагодарил меня, как только я замолк. Я понял, что уйду ни с чем.

Но я в нем ошибся. Он был мерзавец, но талантливый мерзавец. И, видно, оценил и хорошо запомнил меня. Всего через три месяца он меня позвал... Тогда этих зарвавшихся воров уже никто не поддерживал. Как говорили в предместьях: «Мы хотим власть, при которой хотя бы едят!» И богачи, и роялисты решили – пришла пора покончить с жалкой Директорией! Восстали богатые центральные районы Парижа... Они приготовились прийти в Тюильри, где заседали Конвент и Директория, и смести их, как когда-то в том же Тюильри восставшая толпа смела королевскую власть. Рабочие окраины угрюмо хранили нейтралитет...

Испуганная Директория назначила Барраса главнокомандующим вооруженными силами. Это были жалкие силы. И двадцать тысяч восставших приготовились разгромить шесть тысяч защитников Конвента. Что он мог, Баррас? Стрелять в толпу? – Император презрительно засмеялся. – Это было для них табу. Грабить толпу – вот это пожалуйста! И вот тогда Баррас и вспомнил о странном генерале, совершившем что-то героическое под Тулоном.

Ночью в мою каморку постучали. Меня привезли в Тюильри. Первый раз я был там. И когда вошел... тотчас понял: я пришел в свой дом.

Баррас предложил мне защитить Конвент. Он не слишком надеялся на мое согласие – ведь он предлагал мне погибнуть вместе с ними. К его изумлению, я согласился тотчас. Тюильри – мой будущий дом, и я знал, что сумею его защитить. Без всяких колебаний я решил сделать то, что когда-то советовал жалкому королю... Впереди у меня была ночь...

«Как вы намерены защищаться?» – спросил Баррас.

«Шпагой. Шпага всегда при мне, и с ней я далеко пойду. Будьте любезны, гражданин, вызвать ко мне командира солдат, охраняющих Конвент...»

Командир пришел. Я сразу его оценил – он был из тех, кто не боится самого черта. Его звали Иоахим Мюрат. Я приказал ему привезти пушки, стоявшие на площади Саблон. «Если не дадут добровольно, отнимите, убивайте, но пушки должны быть здесь к утру!»

Этот дьявол сразу повеселел. Он рвался в бой.

«Я не понимаю, зачем вам пушки?» – спросил Баррас. И в голосе у него был испуг.

«Пушки, гражданин, обычно нужны для того, чтобы стрелять», – ответил я.

«Вы собираетесь стрелять в людей?»

Никогда не забуду восторженный ужас на лице Барраса.

«Да, я собираюсь исправить ошибку короля, который когда-то не посмел этого сделать».

К утру моя батарея ждала восставшее быдло... И вот уже – рев приближавшейся толпы. Торжествующий вопль черни, поверившей в свою наглую силу. Они уже близко, у церкви Святого Роха... И тогда я скомандовал: «Картечью – пли!» И ступени церкви покрылись трупами... Так я рассеял толпу, наступавшую по узкой улице.

В Тулоне я разработал план, но не я отдавал приказ о штурме. Впервые я видел убитых по моему приказу. Трупы, много трупов... лежащих ничком в разных позах... сколько их я еще увижу на полях сражений! Запишите: «Во мне всегда жил добрый человек, но добрые струны души я заставил замолчать. И они уже больше двух десятилетий не издают ни звука». Хотя...

Я подумал: он хочет вычеркнуть. Но он помолчал, потом сказал:

– Нет, пожалуй, оставьте. – И продолжил: – Вот так Баррас благодаря мне стал спасителем Директории. И главным в ней действующим лицом. Меня он назначил командующим Парижским гарнизоном. На случай нового восстания...

Как сразу переменилась моя жизнь! Как-то под вечер пришла за деньгами прачка. Обычно она стучала, а я не открывал. Она покрывала меня бранью, я молчал. И в этот раз я дал ей повторить до конца обычное представление. А когда ведьма, всласть осыпав меня самыми последними словами, уже спускалась вниз, я открыл дверь, окликнул ее и... протянул деньги... Она лишилась дара речи!

Император хохотал. Клянусь, он жил в том времени!

– Да, я был теперь влиятельнейший генерал и любимец Директории. Но оставался так же худ, и чесотка по-прежнему изнуряла меня.

В это время народ переживал все прелести революции – безудержное воровство новой власти и собственную нищету. На улицах – полно попрошайек. Рабочие окраины ненавидели правительство. Следовало опасаться нового взрыва. Мне приходилось каждый день воевать с подстрекателями – они хотели использовать голод для новых волнений... И я расформировал опасную Национальную гвардию, изъял оружие у граждан, закрыл якобинскую секцию.

Каждый день я патрулировал город в сопровождении офицеров моего штаба. Порой это было очень опасно. Помню, утром у булочной, куда не завезли хлеба, нас окружила яростная толпа... Уже пытались стянуть нас с коней... полетели камни... И какая-то отчаявшаяся толстенная торговка вопила: «Бесстыжие эполетчики! Вам бы только набить свое брюхо за наш счет и воровать... А мы подышаем с голоду!» Но я успел крикнуть в толпу: «По-моему, мамаша ослепла. А ну-ка посмотрите, кто из нас толще?» Я был худ как щепка. Толпа разразилась хохотом. И мы поехали дальше.

Последние слова ему пришлось повторить. Моя голова упала на руки...

– Ба! – воскликнул он. – Мамзель Лас-Каз утомилась. Хорошо, ступайте спать, жалкий человек. Завтра мы начнем с девяносто шестого года. Брак с Жозефиной...

О Жозефине. Итак, я знал эту креолку еще на Мартинике... Жозефина Богарне была вдовой гильотинированного революцией генерала. Она старше Бонапарта – думаю, во время

их знакомства было ей 34 года. И, выходя замуж за юного героя, она решила скинуть в брачном контракте аж шесть лет. Жозефина не красавица, она опаснее красавиц, она обольстительна: лазоревые глаза, великолепные черные волосы, смуглое роскошное тело креолки. Добавьте волнующий грудной голос и ленивую грацию маленькой кошечки – последнее сравнение возникало у всех, кто ее видел. Жозефина редко смеялась, и ее считали загадочной (на самом деле у нее были плохие мелкие зубы).

Прочитую кусочек из разоблачительного памфлета, который я прочел в эмиграции и сохранил из-за весьма забавного описания моей старой знакомой: «Париж задыхается в вихре удовольствий. На другой день после казни Робеспьера все понятия революции о суровых добродетелях гражданина стали смешными и звучат издевательством. Все вмиг помешались на богатстве. Деньги делают нынче на всем: на курсе постоянно падающих ассигнаций, но еще больше на «наследстве крови» – продаже имений гильотинированных. Надо только иметь руку в бесстыдной Директории, состоящей из вчерашних республиканцев, мгновенно ставших сегодняшними ворами... А как преобразились Елисейские Поля! Угрюмые куртки санкюлотов сменились разноцветными фраками «новых французов», щеголяющих тростями с бесценными набалдашниками, золотом и камнями... В открытых колясках восседают дамы с обнаженными плечами, похожие на античных богинь, а еще больше – на цариц полусвета. Некая госпожа Жозефина Богарне – одна из этих повелительниц новой Франции. Из застенков Консьержери, где она дожидалась смерти (спасла ее только гибель Максимилиана), она сразу попала в салоны «новых французов». И уже из постелей разбогатевших спекулянтов перелегла в кровать к их вождю – мсье Баррасу... Сей господин покупает ей кареты и дает деньги на роскошные приемы. Эти пиры происходят в ее новом доме, купленном опять же мсье Б. Мужчинам положено приходить туда без жен. Здесь устраиваются миллионные сделки, распределяются государственные средства – так нынче принято в республиканском Париже! Но ловелас Б. не может быть долго верен одной даме... Они расстались. Однако неукротимая плоть госпожи Б. влечет ее к новым приключениям. Говорят, ее многочисленные избранники всегда молоды и красивы. Но недавно в ее постели появился совсем иной герой. Он мал ростом и жалок телом. Надеюсь, граждане, вы догадались? Да, это тот самый прославленный генерал... Таковы нынче властители дум, занимающие воображение французского народа. Проснись, бедная Франция!»

На Мартинике я был с креолкой в самых дружественных отношениях... И кое-что знаю от нее самой (очень мало), и от дамы весьма к ней (и какое-то время ко мне) близкой – мадам Т.¹¹

Как сообщила мне мадам Т., Баррас не до конца охладел к пылкой креолке и время от времени посещал ее. Они были меньше, чем пылкие любовники, но больше, чем просто друзья. И это он придумал познакомить ее с Бонапартом. Он верно оценил ситуацию: понял, что сей герой, который, кроме нищеты, солдат и гарнизонных шлюх, ничего не видел, будет сражен наповал. И через Жозефину Баррас сможет управлять великолепной шпагой.

Действительно, это сражение великий полководец проиграл сразу и вчистую. Хроника событий, по словам мадам Т., была такова. Сначала к Бонапарту был подослан сын Жозефины с трогательной просьбой: он попросил разрешения хранить шпагу своего отца – гильотинированного генерала Богарне. (По предписанию начальника Парижского гарнизона генерала Бонапарта парижане были обязаны сдать все имевшееся в их домах оружие.) Бонапарт, конечно же, с охотой отдал мальчику «славную шпагу убиенного отца». После чего поблагодарить генерала явилась сама креолка. И он немедля пал к ее ногам. В доме, купленном Баррасом, она назначила Бонапарту первое любовное свидание...

¹¹ Видимо, речь идет о мадам Тальен. Она действительно была близкой приятельницей Жозефины и любовницей Барраса. Но, решив сменить Барраса на богатейшего банкира Увра, она передала его Жозефине.

Впервые император заговорил со мной о Жозефине в Мальмезоне. Прогуливаясь по аллее, где ему мерещилась ее тень, он вдруг сказал:

«Нет, я не умел любить женщин... разве что Жозефину, и то лишь потому, что мне было двадцать семь лет. Я всегда любил только Славу».

Но нет, тогда он был влюблен безумно. И засыпал ее письмами, страстно путая «Вы» и «ты»: «Что Вы со мной делаете? Я пью из Ваших губ обжигающий пламень. Я просыпаюсь и засыпаю с мыслями о тебе... Прими миллион моих поцелуев, но не смей отвечать на них, ибо твои сожгут меня дотла!»

Она показывала его безумные письма мадам Т. Вот ее рассказ:

«Я сказала Жозефине: «Какой дурной вкус у этого мальчика». (Завидовала, конечно же, завидовала!) «Но зато какое чувство!» – ответила Жозефина».

Да, этот мраморный герой был с нею сентиментален и добр...

«Он собирается стать отцом для моих сирот, – говорила она мадам Т. – Он на коленях умоляет меня стать его женой. Но я колеблюсь. Я его не люблю, у меня к нему лишь теплое чувство. Кроме того, сила его страсти, темперамент южанина доходят порой до безумия... они пугают... Моя юность, увы, прошла, и я не могу не думать – надолго ли мне удастся сохранять в нем эту бурную опасную нежность? И еще меня пугает в этом мальчике неукротимая жажда власти – он стремится подчинить себе всех и вся. Я боюсь, что он меня попросту раздавит».

Все это заметила тогда даже весьма простодушная Жозефина. Но Баррас ее уговорил.

В это время Жозефина распорядилась генералом всецело. Что делать, общеизвестная истина – сильнее тот, кто любит слабее...

Итак, она нехотя согласилась выйти замуж за маленького генерала. Маленькая Жозефина с кошачьей грацией... такие женщины-кошечки обычно предпочитают высоких мужчин... Накануне бракосочетания (оно было гражданским) он заявил ей: «Эти директора думают, что я нуждаюсь в их покровительстве... Поверь, очень скоро они будут нуждаться в моем». Она с ужасом передала это мадам Т. и, вероятно, Баррасу.

9 марта состоялась церемония – Бонапарт женился на Жозефине. Поскольку остров Мартиника, где находилась церковная книга с датой ее рождения, был блокирован англичанами, нотариус проставил тот возраст, который указала сама невеста – 28 лет (уменьшив ее возраст на 4 года). И Бонапарт помог ей – свой увеличил на год.

На следующее утро мы продолжили.

– В тот день я надел кольцо с надписью, значение которой понимал только я: «Женщина моей судьбы». Девятого марта я женился, а одиннадцатого уже был на пути в Итальянскую армию... Безумная мечта сбылась». Кстати, это всё грязные сплетни, будто благодаря Баррасу я получил назначение командующим в Итальянскую армию. Баррас действительно мне доверял. И отсюда, видимо, этот миф. Мое назначение предложил Карно¹² – это во-первых... А во-вторых, туда никто не хотел ехать. Фронт на юге считался второстепенным, поэтому солдат там не кормили и обмундированием не снабжали... Так что запишите: в Итальянскую армию я поехал благодаря Карно.

Думаю, неправда. О роли Барраса мне рассказывала все та же мадам Т.: «Это был свадебный подарок Барраса Бонапарту».

– Так началась история, похожая на сказку. Я вернул в мир легенду о Ганнибале, Цезаре, Александре Македонском... Французская армия на Итальянском фронте была ордой. На двух лейтенантов приходились одни штаны, и не было бумаги, чтоб писать приказы. Во всей армии

¹² Член Директории.

было лишь двадцать четыре горные пушки... Солдат кормили не каждый день, к моему приезду у них было на месяц провианта и то – при половинном рационе. Шло наглое, беспардонное воровство поставщиков. В армии было четыре тысячи больных, и как правило – венерическими болезнями. Ограбленную, нищую армию, как воронье, сопровождали стаи самых грязных проституток.

Приехав, я занялся тем, чем всегда занимаюсь сначала: навел порядок. Проституток приказал ловить, мазать дегтем... И воровать стало сразу невозможно – ведь я все держу в памяти: стоимость перековки коней, отливки пушки, провианта. Разбудите меня посреди ночи, и я скажу, сколько стоит амуниция моих солдат – от сапог до кивера и эполет.

Мои приказы я объявил законами. Никакой медлительности – за промедление в исполнении приказа порой расстреливали! Но никогда не пороли. Я строжайше запретил рукоприкладство. Этим моя армия тогда отличалась от всех других. Офицеров, нарушивших этот приказ, я велел также расстреливать, потому что поротый солдат лишен чести. А что может быть важнее чести для солдата?

Генерал Ожеро (да и не он один) встретил в штyki мое назначение. Этот удалой смельчак открыто негодовал: почему командующим назначен не он? И вообще, в первые дни хорошим тоном считалось насмешливое неповиновение моим распоряжениям... Я вызвал Ожеро и сказал: «Генерал, вы выше меня ростом на целую голову. Но если вы и впредь посмеете не подчиняться моим приказам, я мигом лишу вас этого преимущества!» И посмотрел ему прямо в глаза. И уже вечером Киприани рассказал мне: Ожеро, напившись, рассказывал такому же фрондеру: «Я не боюсь самого черта, но этот шибздик навел на меня такого страху! Я не могу тебе объяснить, но он посмотрел на меня... и я был раздавлен».

Я сообщил Директории: «Я нашел армию не только без провианта и амуниции, но – что страшнее – без дисциплины. Но будьте уверены, граждане: порядок и железная дисциплина будут восстановлены. Когда это донесение дойдет до вас, мы уже встретимся с неприятелем».

Перед началом похода я обратился к армии: «Солдаты! Вы раздеты и голодны, казна должна вам платить, но платить ей нечем! Ваше терпение делает вам честь, но не дает ни денег, ни славы... Я поведу вас в плодороднейшие равнины мира... Там вас ждут богатые области и процветающие города. Неужели вам неостанет храбрости завоевать все это?»

Я начал о понятном. Но заключил о величественном: «Мы принесем свободу прекрасной Италии, раздробленной нынче на жалкие государства! Победителей ждут честь и слава! Вперед, граждане великой Франции!»

Разведка сообщила: австрийцы потрясены. Французская армия, еще вчера с трудом державшая оборону, вдруг перешла в наступление. Мы двинулись к границам Италии. Австрийцы немедля бросили туда свои войска... И одиннадцатого апреля, всего через месяц после того, как я покинул брачную постель, я разгромил их в битве при Монтенотте. А далее – пишите! – четырнадцатого апреля я разбил их при Миллезимо, шестнадцатого – при Дего... Так я осуществлял то, о чем грезил в моей каморке. Так я начал приучать Францию к славе. Из моих донесений страна впервые услышала имена генералов, которым суждено будет блистать во время Наполеона, – Ожеро, Массена, Жубер...

Неприятельский арьергард, прикрывавший Милан и Турин, сложил оружие. Дорога на север Италии была открыта. И тогда я устроил торжественный смотр своей армии, ставшей армией победителей. Простирая руку к вершинам Альп, я сказал: «Солдаты! Эти снежные вершины отделяют нас от порабожденного Пьемонта. Ганнибал перешагнул через Альпы, а мы обойдем их».

Так я говорил, уже мечтая о времени, когда верну времена великих – повторю поход Ганнибала... А тогда мы пошли по «карнизу», по самой опасной и самой короткой дороге в Приморских Альпах. На виду у английской эскадры, под жерлами ее пушек! Я шел впереди.

Мои солдаты должны были поверить в то, во что верили их братья под Тулоном, – я неуязвим, и милость судьбы пребывает с ними, пока с ними я! Точнее, пока они со мной...

Это был стремительный марш-бросок тридцати шести тысяч солдат через ущелье в долину... Здесь следует написать: «всего тридцати шести тысяч», ибо в Бормиданской долине нас ждали семьдесят тысяч австрийцев и сардинцев. Но я нежданно, как снег на голову, обрушился на них. Разрезав их строй, я вклинился между австрийцами и сардинцами. Стремительно разгромив на правом фланге австрийцев, уже на следующий день на левом фланге покончил с сардинцами. Тридцать шесть тысяч моих солдат разгромили семьдесят тысяч неприятеля. Дорога на Пьемонт была открыта.

Потом меня обвинят: дескать, я вывозил из Италии картины, бесценные произведения искусства... Да, перед битвой при Лоди я послал во Францию двадцать картин Микеланджело и Корреджо. Что ж, у меня хороший вкус! Так я заставлял побежденных платить контрибуцию, ибо победоносная армия должна себя содержать сама. И хорошо содержать. И я прекрасно экипировал своих солдат-победителей – они это заслужили. Я исполнил все, что обещал нищей армии, и написал им в своем бюллетене: «Солдаты революции! За пятнадцать дней вы одержали шесть великих побед. Вы взяли двадцать одно знамя, пятьдесят пять пушек, пятнадцать тысяч пленных...»

Он помнил! Он все помнил!

Император улыбнулся, привычно читая мои мысли, и продолжил:

– «Вы форсировали реки без понтонов, выигрывали сражения без пушек, стояли на бивуаках без куска хлеба и чарки вина, преодолевали сотни километров, не имея даже башмаков, ибо вы – солдаты Свободы. Теперь у вас есть все! И благодарное Отечество славит ваши подвиги! Но помните: то, что мы свершили – ничто по сравнению с тем, что ждет нас впереди!..»

Но обкладывая контрибуцией побежденных правителей, я никогда не позволял своим солдатам грабить население. Я обращался к ним: «Обещаю вам великие победы. Вы же поклянитесь щадить народы, которые мы пришли освободить. Нарушив эту клятву, вы станете варварами, бичом народов – и свободное Отечество никогда не признает вас своими сынами... Помните, я не потерплю разбойников, которые омрачат нашу славу. Грабители будут расстреляны».

По моему приказу расстреляли шестерых солдат, ограбивших местную церковь и несколько домов. И я мог написать в своей прокламации: «Народы Италии! Франция идет к вам на помощь! Мы клянемся уважать вашу религию, обычаи и вашу собственность. Мы ведем войну только с вашими угнетателями!»

Великое было время! Я был тогда двужильный... молодой, как и моя армия. Я мог есть гвозди и вообще не спать... Уже потом, в России... когда я с трудом смогу мочиться и сидеть на коне... я пойму, какое же это счастье – быть молодым!.. Это не записывайте. Запишите только: я был тогда окружен такими же молодыми головорезами – моими генералами с весьма подозрительными биографиями. Каждого из них можно было отправить на галеры и каждый знал, за что! Мы были детьми революции, которая возносит из грязи. И все мы были сыновьями одной страны. И мы громили австрийскую армию, состоявшую из наемников и стариков-генералов. Запомните: гений озаряет молодых... Александр Македонский, Ганнибал, Атила были моими сверстниками и даже моложе... Я каждый день укорял себя: «Тебе целых двадцать шесть! А ты только начинаешь...» И я был беспощаден к себе – шел в самое пекло боя впереди моих солдат! Я знал – если рожден для бессмертия, судьба защитит! И это бесстрашие подчинило и солдат, и генералов. Они повиновались мне беспрекословно. Я повторил опыт Тулона...

Десятого мая в битве при Лоди австрийцы били по мосту ядрами, но я был в гуще нападавших. Вокруг падали люди и ядра, а я был неуязвим. И мы взяли мост... И когда спустилась

ночь, я вернулся на захваченный мост, заваленный трупами, и в который раз сказал себе: «Как бережет тебя судьба! Ты отмечен, и ты свершишь все, что видел в честолюбивых грезах».

И я продолжил игру со смертью при Арколе. Там был тот же крошечный ад... Наши попытки захватить мост были тщетны. Гора трупов уже громоздилась на мосту. Солдатами овладело отчаяние. И тогда я повел их сам. Мармон¹³ умолял меня: «Не идите туда, вы погибнете». Он был прав, если бы речь шла о простом смертном. Но то был я... Вокруг меня опять падали люди, был убит мой адъютант Мюирон – защитил меня от пули своей грудью... А я остался невредим... Впоследствии Гро нарисовал меня со знаменем на Аркольском мосту. Хотя на самом деле я не держал знамени. Я держал шпагу. И неплохо ею поработал. И опять вышел невредимым из крошечного ада...

Он помолчал.

– Как видите, я не только руководил сражениями – я участвовал во множестве кровопролитных битв... однако не имею серьезных ран... так, жалкие царапины.

Впоследствии Маршан рассказывал, что когда императора обмывали, у него на теле оказалось много шрамов от полученных ран. Превозмогая нечеловеческую боль, он оставался в строю, чтобы солдаты верили в его неуязвимость.

– Аркольское знамя, – продолжал император, – я отослал Ланну, он его заслужил. После трех тяжелых ранений этот истинный воин остался в строю. Ланн не был виноват в том, что судьбе он не интересен, и пули в него попадали демократично... как и во всех. Он был всего лишь мужественный солдат, который сказал, предвидя свой конец: «Солдат, которого не убили до тридцати, – дерьмо!» Он погиб на поле боя.

Уже после битвы при Лоди я мог окончательно сказать себе: «У тебя совсем иное предназначение, чем просто служить бесстрашной шпагой для ничтожной Директории». Природа расчетлива... И, оценив свою прошлую жизнь, я ясно понял – я обручусь с Францией. Потому судьба охраняла меня от пули, потому мне суждено было родиться французским гражданином... И после Арколе я сказал Мармону, совершенно изумленному тем, что я вернулся живой из этой мясорубки: «Поверь, мне на роду написаны такие дела, о которых никто и понятия не имеет». И бедный Мармон посмотрел на меня с испугом... Да, он был при моем начале...

Я не успел даже подумать, а император уже прочел мои мысли:

– Так что я не удивился, что он был и при моем конце. И когда в пятнадцатом году я узнал, что Талейран уговорил Мармона открыть врагу путь на Париж, я только засмеялся и сказал: «Значит, круг замкнулся»... Да, своими подвигами и кровью Мармон открыл историю моей славы и закрыл ее весьма по-человечески – своей подлостью...

А тогда... тогда мои обращения к армии Франция читала как стихи. И солдаты были – мои дети. Я только обращался к ним: «Друзья! Я жду от вас...» – и они тут же забывали о страхе, об усталости, становились двужильными. А иначе не могло быть стремительных маршей, которые сводили с ума полководцев старой Европы...

Запишите, Лас-Каз, эти фантастические примеры, которые были военными буднями для моих солдат. Тринадцатого января корпус Массена участвовал в битве при Вероне. Ночью после битвы, без сна, они прошли по заснеженным дорогам тридцать семь километров и вышли на плато Риволи, где целые сутки участвовали в кровопролитном сражении. После победы – заметьте, опять не отдыхая, опять без сна – марш-бросок еще на семьдесят два километра. Выйдя к Мантуе, согласно моему плану, опять же в тяжелейшем бою, они решили судьбу кампании. За четыре дня – сто десять километров и три победы... Корпус Массена появлялся

¹³ Генерал, впоследствии маршал.

внезапно, как «летучий голландец», вызывая панику, ужас и обращая врага в бегство... При Аустерлице мои солдаты, перед тем как выиграть величайшую битву в истории, проделали марш-бросок в сто двадцать километров... Они ворчали, но шли! Я позволял им ворчать – так им было легче. И после победы они шутили: «Малыш, – так они меня звали, – уже выигрывает свои битвы не нашими руками, а нашими ногами...»

Так я учил их воевать. А врагов учил заключать мир. И был беспощаден в своих условиях. Король Пьемонта, подписывая мир, отдал мне все свои главные крепости... Ломбардия, Милан – были теперь в моих руках... Герцоги Пармский и Моденский оплатили мир самой суровой контрибуцией. Я оккупировал Болонью и Феррару и поколебал тиару на голове Папы. Я наголову разбил его войска, мог занять Рим...

Бедный старый Пий Седьмой послал на переговоры своего племянника. Он шел на любые условия. Но я понимал – духовный повелитель всего католического мира должен пригодиться мне в будущем. И потому аннексировал лишь малую часть его владений. Правда, забрал из его музеев множество бесценных картин и статуй... не говоря о тридцати миллионах золотом. Но все это я отправил в Париж – Директории. Эти воры были довольны. Они всласть пограбили мои трофеи. Но зато я заставил их молчаливо признать: теперь я сам, без всяких представителей Директории, заключаю мирные договоры с европейскими державами.

Захватив Мантую, я двинулся на Вену и со своими вчерашними голодранцами заставил могущественнейшую империю просить у меня мира. Австрия отдала Бельгию, правый берег Рейна, Ионические острова... Я уже становился... да – легендой! Не без удовольствия я читал свое описание в миланской газете: «Он худощав, бледен, на лице его печаль разочарования... Молодости к лицу великие победы и разочарованность... Этот преемник славы Цезаря и Ганнибала с презрением наблюдает, как выродился ныне род человеческий, как жалки современные престарелые полководцы. Молодая Европа охвачена бонапартоманией».

«Вождь нового поколения... Вызов молодости дряхлой Европе...» – так писали в Италии. А парижские газеты захлебывались от восторга: «Перед ним трепещут монархи, в его сундуках могли бы храниться сотни миллионов, но Первый генерал Великой Нации все отдает республике...» И все, что тогда обо мне писалось, находило отклик в простом народе. Я думаю, что после столетий обожествления королей Франции нужно было кого-то обожать. И она радостно бросилась в мои объятия... Улицу, где я жил, переименовали к радости толпы в улицу Победы.

Однако, читая все это, я, конечно же, понимал – я стал опасен для Директории, с каждым днем терявшей свою власть. Для нее было бы куда лучше, чтобы я оставался в Италии. Они уже страшились моего возвращения в Париж. Но в Италии я был уже не генералом, а государем. Я образовал Цизальпинскую Республику – Милан, Модена и Болонья – где сам правил... И самые умные в Директории поняли, что с каждым днем я все больше приучаюсь повелевать. Так что после заключения мира, все взвесив, Директория предпочла поторопить меня вернуться в Париж.

Освобожденная Италия – моя Италия! – расставалась со мной с великой печалью. На штыках моей армии я принес в эту землю идеалы свободы, равенства и братства. И я постоянно твердил солдатам:

«Мы не завоеватели. Мы друзья этого великого народа – потомков Брута и Сципиона. Мы пришли пробудить к новой жизни народ, нынче скованный рабством!»

Вчера, гуляя по палубе, я думал: когда я был вполне счастлив? Пожалуй, в Тильзите. Я продиктовал там условия мира. Вся Европа... и русский царь, и прусский король, и австрийский император были у моих ног. Но счастливейшим я был все-таки в Италии... Представьте тысячные толпы, кричавшие мне: «Освободитель!» И это в двадцать шесть лет!

Я вернулся во Францию. В Люксембургском дворце Директория устроила великолепный прием в мою честь. Когда меня везли во дворец, за каретой бежала толпа, оравшая приветствия.

И я подумал: если завтра меня повезут на эшафот, та же толпа будет орать свои проклятия – и так же громко... Цена любви толпы!..

Во дворцовом дворе весьма живописно расставили разноцветные трофейные знамена, рядом картины в золотых рамах и мраморные статуи работы великих итальянцев – я прислал их в Париж. В самой глубине двора был воздвигнут Алтарь Отечества, и пять Директоров в римских тогах (глупее зрелище трудно придумать!) ждали моего появления. Под грохот салюта, под крики: «Да здравствует республика! Да здравствует Бонапарт!» – у Алтаря появился я. И начались славословия тому, о ком всего год назад никто не слышал... Я с любопытством слушал это соревнование в лести. Чего стоили только словесные ухищрения министра иностранных дел Талейрана – пройдоха сразу понял, кому надо служить: «Скупая природа! Какое счастье, что ты даришь нам от случая к случаю великих людей!» – проникновенно обращался он ко мне. Пафос времен революции был еще в моде...

Моя ответная речь была краткой: «Наша революция преодолела восемнадцать веков заблуждений, когда Европой управляли религия и монархия. Но теперь, после моих побед, наступает новая эра – время правления народных представителей». Не преувеличиваю – был всеобщий вопль восторга...

Кстати, встретившись со мной в тот день на банкете в мою честь, наш епископ-расстрига¹⁴ сказал загадочно: «Вы были правы, оставив Папе Рим. Наместник Господа и вправду вам еще понадобится». И улыбнулся... Он, как и я, предвидел будущее. И я это оценил.

Да, я был тогда абсолютно счастлив...

Думаю, он лукавил. На самом деле он был тогда и очень счастлив... и очень несчастлив. Ибо уже в Италии его терзали слухи, что Жозефина в Париже отнюдь не безутешна... Он писал ей безумные письма, а она со смехом читала их вслух мадам Т., которая была для нее (как я догадываюсь теперь) больше, чем подруга...

«Не проходит ни дня, чтобы я не любил тебя. Не проходит ни ночи, чтобы ты мне не снилась, чтобы я не сжимал тебя во сне в объятиях.

Я не выпил утром ни одной чашки чая, чтобы не проклинать славу и тщеславие, которые держат меня вдаль от тебя... от ночей с тобой... Люби меня, как свои глаза... Нет, мало! Люби, как саму себя! Нет, больше, чем саму себя, больше, чем свою жизнь, больше, чем все! И только тогда ты будешь любить меня так, как люблю тебя я... Я опять буду спать без тебя. Прошу тебя, молю – дай мне уснуть!.. Вот уже которую ночь я держу тебя во сне в своих объятиях... И до утра поцелуи твои жгут мою кровь...»

Но он тщетно ждал ее в Италии. И уже все поняв, написал в Париж своему другу генералу Х¹⁵. (который тотчас передал письмо Баррасу, тот – Жозефине, а та – мадам Т.): «Я в отчаянии, моя жена не едет... у нее есть любовник, и это он удерживает ее в Париже».

И ей – письмо-крик: «Я тебя ненавижу! Я тебя не люблю! Ты уродлива, глупа, неуклюжа, не любишь своего мужа. Почему от Вас нет писем, мадам? Что удерживает Вас от желания написать мужу? Ваши письма холодны, как после пятидесяти девяти лет брака... Берегись, однажды твоя дверь будет взломана и я грозой явлюсь перед тобой».

Она смертельно испугалась. Еще бы – тот, кто умел столь стремительно и неожиданно появляться перед врагом, вполне мог... Теперь любовники избегали посещать ее дом.

Но (как рассказала мне мадам Т.) достаточно Жозефине было написать что-то вроде «мой милый, я была больна» да еще намекнуть при этом на беременность – тотчас в ответ полетело его безумное счастливое письмо: «Я был не прав, я негодаю, я смел обвинять тебя, а ты... ты

¹⁴ Талейран.

¹⁵ Имя адресата не установлено.

была больна! Моя возлюбленная, прости, это любовь лишила разума твоего мужа! Напиши мне хотя бы десять страниц, только это сможет меня успокоить... ах, как мне хочется видеть тебя... хотя бы один день... Но все-таки согласишься, твои письма холодны, дружелюбие и холодность – это гадко, подло с твоей стороны!.. Разлюби, возненавидь меня – это я буду приветствовать! Мне ненавистно только твое равнодушие... холодное сердце из мрамора, тусклый взгляд, унылая походка. Прости, прости... я люблю – все оттого... и тысяча поцелуев, нежных, как мое сердце».

И вдогонку новые письма: «Судьба предназначила мне любить тебя, можешь ли ты проявить хотя бы сочувствие к человеку, который живет только тобою... Еще раз вскрываю письмо, чтобы поцеловать его тысячу раз! Ах, Жозефина, Жозефина...»

«Любимая! Мир с Римом подписан. Болонья, Феррара, Романья в моих руках! Но что мне до того, если нет ни слова от тебя. Боже мой! В чем я провинился? Ах, какой властью безграничной ты обладаешь надо мной. Твой до конца моих дней...»

Наконец она (после долгих уговоров Барраса) отправилась к нему в Милан. И, как рассказала мне со смехом все та же мадам Т., Жозефина не удержалась – в дороге завела интрижку с красавцем Ипполитом, адъютантом Бонапарта, сопровождавшим ее в Милан.

Да, у Жозефины не было никаких тайн от мадам Т., а у нее – от меня (к счастью, об этом мало кто знал). Предусмотрительная Т. делала копии с писем Бонапарта, которые давала ей легкомысленная подруга, и передавала их мне. И я, в свою очередь, не преминул скопировать эти письма для себя... Но воспользовались мы ими по-разному. В дни империи постаревшая Т. нуждалась в деньгах и решила попросить свою бывшую подругу выкупить эти копии. Ответ она получить не успела – внезапно умерла. Господин Фуше, тогдашний министр полиции, был очень заботлив...

Я же воспользовался своими копиями только для Истории. И только теперь, после смерти императора.

Вчера, после диктовки, я рискнул спросить императора, был ли он счастлив в браке?

– О да, – ответил он безмятежно. – Она любила меня безумно... она умела любить. – Внимательно посмотрел на меня и сказал уже тоном приказа: – Она никогда не давала мне повода для ревности, и я никогда ее не ревновал... Лишь однажды, это было в Италии: пуля вдребезги разбила на моей груди медальон с ее волосами. И вместо того чтобы обрадоваться, я чуть было не залился слезами... Я подумал: это знак свыше – она мне изменяет. Только потом я понял – это действительно был знак свыше, но совсем иной: ее прекрасные волосы, ее любовь защитили мое сердце. Она любила меня всегда, – закончил он все тем же тоном, не терпящим возражений.

В каюте портрет Жозефины стоит на столике у «кровати из Аустерлица», а рядом с портретом – прядка белокурых волос другой жены, Марии Луизы, в открытом медальоне...

– Жозефина... она порой меня очень ревновала, хотя я редко давал ей повод. Я знаю все глупости, которые про меня говорили... на самом деле мои любовные приключения были наперечет. В Италии у меня была интрижка с восхитительной певицей красавицей Г., затем история с фрейлиной Жозефины мадемуазель Д. – она была чудо как хороша. Вот, пожалуй, все! Но ни одной женщине я никогда не позволял управлять собой. Когда Жозефина посмела только дернуть ручку двери в комнату, где я объяснялся с мадемуазель Д. – я пришел в бешенство, даже заговорил о разводе... Впрочем, все это не надо записывать. Не спальня, а поле сражения – там ищите подробности о Наполеоне!

На самом деле: знаменитая певица Грассини, фрейлина Дюшатель, мадемуазель Жорж – премьерша «Комеди Франсэз», мадам Лакост, мадам Веде, мадам Фурес, мадемуазель Элеонора Денюэль, мадам Газани – это только начало бесконечного списка его любовниц. Есть

известный памфлет «Любовные похождения Бонапарта», где довольно забавно описано, как он, «не отрываясь от государственных бумаг, кивком головы отправлял женщин на ложе. И, не снимая шпаги, занимался любовью...»

То, что я когда-то увидел в ванной комнате императора в Елисейском дворце, Маршан подтвердил мне спустя двадцать лет: «Когда императора обмывали, мы все поразились: у него был член, как у ребенка...»

Так что Жозефина была спокойна. Она знала его тайну, и только она могла дать счастье его крохотному «дружку». Ее опытная «киска» постигла все премудрости любовного ремесла и умела продлить его страсть (слишком быстро истекающую семенем, чтобы дать счастье женщине и самому почувствовать радость и мощь, которую он так ценил во всем). Она не боялась его измен. Она понимала его: он покорял этих дур, чтобы получить доказательство своей полноценности. Но выходило наоборот: мгновенно утолив бешеную вспышку страсти, похожую на гнев, он становился холоден... и даже враждебен...

«А война все-таки лучше», – сказал он одной из них, поднимаясь с кровати. Так что во фразе «не снимая шпаги, занимался любовью» есть некоторый смысл...

«Набеги» – так насмешливо, по-военному, он называл свои похождения. «Набеги» он совершал тайно – это его распяляло. В Фонтенбло (обычно через окно) он спускался в сад, где его ждала карета. В Тюильри по винтовой лестнице, тайному ходу королей, он проникал в комнату мадемуазель Дюшатель. Эта красавица с золотистыми волосами гармонично сочеталась с арфой, на которой Жозефина часто просила ее сыграть, милостиво награждая аплодисментами.

Отсутствовал император весьма недолго. И Жозефина, наблюдая из окна его отъезд и быстрое возвращение, загадочно улыбалась... А на следующее утро он рассказывал Жозефине все подробности своей победы – всё, что могло задеть или польстить самолюбию жертвы «набега». И горе красавице, уступившей ему, коли она не была сложена, как Венера. Ибо его остроты были беспощадны. Так он мстил: им – за холодность, Жозефине – за предыдущие измены.

Но однажды случилось необычайное. В тот день он приказал Меневилю и Мюрату сопровождать его в «набеге». Он надел широкополую шляпу, черный плащ. И в маленькой карете они отправились в ночь. Недалеко от Одеона остановились, он зашел в дом... Сопровождавшие не раз бывали его спутниками в «набегах» и знали – не пройдет и четверти часа, как он, весело напевая, появится в дверях. Однако, к их изумлению, прошел час, потом другой, а император все не выходил.

Они не выдержали – ведь на него было столько покушений... Мюрат велел Меневилю войти в дом. К счастью, именно в тот момент, когда секретарь подходил к двери, она раскрылась, и появился император. Когда Меневиль поведал ему про их страхи, император сказал: «Что за ребячество! Разве во Франции есть место, где я не дома?»

Фраза настолько ему понравилась, что он разрешил сделать этот эпизод достоянием Парижа.

Дама, у которой он задержался, была графиня Мария Валевская, приехавшая тогда тайно в Париж. В бесконечной череде маленьких, золотоволосых, похожих на девочек глупеньких женщин, которые робели перед ним (его обычный выбор), Валевская занимает особое место.

Эта маленькая светловолосая красавица была единственной женщиной, которая его беззаветно любила. С ней он все испытал... и с ней был любовником, а не торопливым наездником. А к пышным, высоким, опытным дамам он был не просто безразличен – его крошечный «дружок» их попросту боялся. Особенно если эти дамы были еще и умны. И претендовали на влияние...

Я думаю, отсюда его презрение и ненависть к прусской королеве, управлявшей своим мужем, и к мадам де Сталь, мечтавшей управлять императором (как и всеми своими любовниками). Холодная и развратная, она откровенно преследовала его. Как рассказывала мадам Т., он даже жаловался Жозефине: «Эта уродина попросту пыталась залезть ко мне в штаны». А мне он сказал на острове: «Бог знает, как неприлично она со мной кокетничала! Она сделалась непримиримым моим врагом именно потому, что я отверг ее...» И добавил: «Я всегда ненавидел женоподобных мужчин, равно как и женщин, которые хотели исполнять роль мужчины».

И все-таки любил он только ее – Жозефину. А Марии Валевской он позволял любить себя.

Я спросил его мнение о том памфлете, и он ответил с усмешкой:

– Да, девица Жорж... Она меня попросту боялась, и в «главные моменты» я ловил ее вопрошающий взгляд: так ли она е...ся? К сожалению, вслед за ней все красавицы из «Комеди Франсэз» начали выдумывать, что они – мои любовницы... Запишите: все это фантазии! Я с трудом доползал до постели, ибо единственной моей возлюбленной была неустанная работа... – и он добавил важно: – ...на благо Франции!

А любил я только своих жен... Но я напрочь исключил привычки королей – ни Жозефина, ни Мария Луиза... ни одна женщина в мире никогда не влияла на мои решения! И еще: имена всех дам, так некстати всплывшие в вашей памяти, мой друг, незамедлительно вычеркните.

Кстати, – он засмеялся, – знаете ли вы, что Веллингтон после моего первого отречения решил ухаживать за дамами, с которыми я был по слухам... – он повторил: – по слухам в связи? Захотел хотя бы в постели со мной сравняться! Начал он с итальянской певицы, даже сначала разузнал, сколько я ей платил. Правда, я платил ей за великолепный голос, а он за п...у.

На острове император часто вспоминал про Веллингтона. «При Ватерлоо судьба сделала для него куда больше, чем он заслуживал, – говорил он. – Глупость Груши, бездарность Нея... а потом паника и наступившая темнота dokonчили дело. Моя беда, что я не мог быть повсюду... Мне писали, что когда Нея приговорили к смерти, его жена умоляла Веллингтона спасти несчастного. Конечно, он уклонился... Разве он понимает, что такое солдатское братство?»

И добавил: «Нет, Веллингтон всего лишь крепкий генерал, и ему не место в сонме военных гениев».

Сегодняшний закат испугал меня. Солнечный диск, падавший в океан, был угрожающе темен и не излучал сияния. Гряда облаков какого-то зловещего цвета... Свет медленно угасал – наступила темнота. Огромные звезды висели над самой палубой. Судно шло, ныряя в волнах. Начинаясь качка – все усиливавшаяся, выматывающая... Мы попали в шторм.

У меня выворачивает внутренности. Но император не замечает ни бури, ни моего жалкого положения. Я хожу блевать на палубу, а он преспокойно ждет моего возвращения... Вахтенный с усмешкой глядит на мою скорчившуюся фигуру.

Я возвращаюсь. Император неумолим. И мы продолжаем работу.

– В это время директора окончательно уверились: достаточно моего слова – и народ их сметет. Но я понимал – еще не время. Плод должен созреть... Люди должны были до конца понять, как бездарна власть воров и как опасна свобода при безвластии. Узда слабела, и голодная чернь вновь была готова на кровавые подвиги.

А пока я решил вновь покинуть Париж, ибо задумал небывалое! Как ни скучал я без Жозефины, я захотел променять ее на новое свидание со Славой... Я решил завоевать Египет и Сирию – этот неведомый, почти мифический мир. Пройти с моей армией путем Александра Македонского!

Это казалось абсолютным безумием. Надо было провести армию морем, где безраздельно властвовал флот Нельсона...

Император смотрел в окно каюты: в тревожном свете бешено качавшегося фонаря продолжалось низвержение воды с небес. Смотрел – и не видел... Он был там – во времена своей славы.

– Незадолго до этого я был избран членом Французской Академии. Теперь у меня появился новый титул, и я с удовольствием подписывался: «Член Академии»... В благодарственном письме академикам я написал: «Есть истинные победы. В отличие от кровавых побед на поле боя, они не влекут за собой никаких сожалений. Это победы над невежеством». Но я решил соединить несоединимое – поле боя с просвещением. Я пригласил принять участие в моем походе новых товарищей – коллег по Академии. Я написал им: «Как и положено члену Академии, я решил позаботиться, чтобы успехи французского оружия послужили новым открытиям и просвещению». Это был замысел, достойный родины Вольтера и энциклопедистов.

Итак, в Египет я вез не только солдат и оружие. В военную экспедицию я пригласил поэтов, историков, ученых. Взял с собой огромную библиотеку: Плутарх, Полибий, Фукидид, Гомер, Фридрих Великий, Вергилий, Тассо, Вольтер, Руссо, Лафонтен, Монтескье... можно перечислять бесконечно. Так что у меня и моих коллег по Академии была с собой главная пища – духовная. И она не занимала много места. Я приказал отпечатать книги в специальном крохотном формате – в одну восемнадцатую листа. Этот формат испортил молодые глаза моих тогдашних чтецов... Кстати, сам я оставил остроту зрения еще в военной школе и давно пользовался очками.

В Тулон, где ждали нас корабли, меня сопровождала Жозефина. Помню, меня спросили: когда я надеюсь вернуться? Я ответил: «Через шесть лет или шесть месяцев или шесть дней». Жозефина обняла меня и заплакала. Не скрою, эти слезы были приятны воину. Ведь воистину я отправлялся в неведомое...

Перед тем как выйти в море, я сделал так, чтобы слухи о готовящемся морском походе дошли до англичан. Уже вскоре об этом знали в Лондоне. И тогда через своих шпионов я запустил дезинформацию о цели похода: будто я готовлюсь пройти через Гибралтар и, подойдя к берегам Альбиона, напасть на Ирландию.

Уже отплывая из Тулона, я узнал – удалось! Нельсон с эскадрой на всех парусах шел караулить меня у Гибралтара. А я в это время держал курс на Мальту.

Подойдя к Гибралтару, Нельсон все понял. Он бросился за мной в погоню, но шторм разметал его корабли. Судьба берегла меня... И пока он собирал свой флот, я высадился на Мальте и захватил остров. Когда Нельсон достиг Мальты, я уже плыл в Египет! И адмирал продолжил погоню.

Мои генералы, сгрудившись на палубе, с ужасом ждали появления кораблей беспощадного англичанина. Эти сухопутные вояки чувствовали себя на корабле беспомощными, как в западне... А я в это время лежал в каюте и преспокойно слушал чтение Бурьена¹⁶ – я был уверен в судьбе. Он читал мне по утрам Плутарха – описания походов Александра, которые мне предстояло повторить, а на ночь – любимого Гомера. Читал античных путешественников по Египту и, конечно же, Коран, чтобы я мог общаться с местным населением. И еще две самые любимые книги – я всегда беру их с собой: «Страдания молодого Вертера» и поэмы Оссиана.

Все остальное время я беседовал с моими знаменитыми коллегами по Академии. Мы много говорили о Боге и о сотворении мира. Они славили Природу и, как положено передовым сыновьям века, осуждали Суеверие (так они именовали Бога). Я не спорил с ними. Но душевными ночами, лежа на палубе и глядя на звезды, я был в недоумении. Если они правы,

¹⁶ Товарищ Бонапарта по военной школе, ставший его секретарем.

кто же сотворил все это так щедро, прекрасно и, главное, так разумно? И кто управляет моей судьбой так заботливо и милостиво, коли Высшего Существа нет? Нет, я не зря не тронул Папу. Я должен быть особенно милосерден со слугами Господа...

Между тем судьба продолжала одаривать меня своими милостями. Нельсон, который пришел на Мальту позже меня, в Египет приплыл немного раньше. Увидев, что меня нет, он стремительно отплыл – продолжил меня искать. Так что оба раза англичанин премило разминулся со мной. И мои триста судов благополучно достигли Египта. Теперь я просто обязан был уверовать: судьба бережет меня для великих дел.

В Египте нас встретили несусветная жара и раскаленный ветер пустыни. И я обратился к армии: «Вас ждут труднейшие переходы и великие битвы! Но за нас судьба. Нам предстоит завоевания, которые нанесут Англии самый страшный удар. Его последствия для всемирной торговли трудно представить. И это свершите вы! Тираны-мамелюки, эти прислужники англичан, угнетают и грабят бедных египтян. После ваших побед они перестанут существовать... Вы встретите здесь обычаи, чуждые европейцам, но привыкайте к ним. Народы Египта – мусульмане. Уважайте их веру!»

Я подавал пример – присутствовал на всех религиозных праздниках. И, конечно, посетил главный – день рождения Магомета. Парижская сплетня рассказывала, будто в тот день я даже надел турецкий костюм. Действительность была прозаичней: я пришел в мундире. Хотя мне сшили одежду шейха, но я надел ее только однажды. Ибо некая дама заметила тогда, что она мне не к лицу. Я был и на празднике в честь разлития Нила. Это древнейшее торжество, где восстают призраки фараонов, и время убегает назад на тысячелетия. И я чувствовал себя немного Антонием... правда, без Клеопатры...

Я отлично знал, что Клеопатру заменяла в Египте «некая дама».

Едва я подумал об этом – он уже строго смотрел на меня.

– Маленькие сплетни окружают великие дела... Но продолжим. Если хочешь завоевать страну малой кровью, ты обязан завоевать сердца ее влиятельнейшей верхушки. Я показал себя ревностным католиком, чтобы покончить с войной в Вандее, и монтаньяром – завоевывая Италию. Мое правило: на освобожденной от рабства части острова Сан-Доминго я буду прославлять свободу, а на поработенной – рабство. Да, я таков, как завоеванная мной страна. И, конечно, я старался походить на мусульманина в Египте. Но это ложь, будто я принял мусульманство... Хотя... – Он улыбнулся. – Если бы пала Аккра, кто знает... Но мы еще поговорим об этом удивительном знаке судьбы...

Первого июля мы приплыли к Александрии, где я узнал: всего за два дня до нас здесь был Нельсон! И, не найдя нас, он решил, что мы направились к берегам Сирии – и без промедления отплыл туда. Я сказал адмиралу Брюэсу: «Вы слышите все тот же голос постоянно к нам милостивой судьбы! Немедленно высаживайте войска, пока Нельсон не вернулся». И мы благополучно сошли на берег.

Александрию захватили приступом без особого труда, только генерал Клебер был ранен. Нельсон возвратился к Александрии, когда мы уже готовились выступить к Каиру. Теперь англичанам оставалось только наблюдать с моря за моими победами.

Поручив выздоравливавшему Клеберу начальство в Александрии, я отправился с основными силами к столице Египта. По дороге несколько раз разбил кавалерию мамелюков. В конце июля я подошел к Каиру, где меня поджидала армия Мурад-бея... Уже на подходе мы начали встречать неприятельские авангарды. И гнали их от селения к селению, пока не оказались перед главными силами неприятеля...

Я приказал дивизиям генерала Дезе и Ренье занять позиции на правом фланге, отрезав неприятелю дорогу к отступлению. Теперь мы должны были его уничтожить. Но Мурад-бей оценил опасность моего маневра. И направил против моих дивизий отважнейшего из своих беев с лучшим отрядом. Всадники на великолепных конях с быстротой молнии обрушились на

обе дивизии. Генералы хладнокровно подпустили их на пятьдесят шагов и только тогда осыпали конников градом пуль и снарядов. Погибло множество мамелюков, оставшиеся в живых бросились отступать и... оказались меж двух дивизий! Загнанные под перекрестный огонь, они были уничтожены все. Так началась битва, которая длилась девятнадцать часов. И закончилась она сокрушительным поражением мамелюков. Большая часть беев попала в плен или полегла в сражении. Сам Мурад-бей был ранен – пуля изуродовала его лицо. Мы потеряли сорок человек убитыми и сто двадцать ранеными. И всё!

Ночью мамелюки бежали из Каира, и чернь до утра жгла и грабила их дома. Двадцать четвертого июля я въезжал в величайшую столицу древности. И пирамиды, видевшие победы Александра, увидели мою победу.

Но судьба тотчас потребовала продолжения подвигов. От Клебера явился нарочный и сообщил, что Нельсон сумел настичь наш флот в дельте Нила. Недалеко от мыса Абукир он навязал бой и сжег наши корабли. Флот, на котором мы прибыли из Франции, более не существовал. Весь берег был покрыт трупами наших моряков, выброшенных прибоем...

В палатке собрались бледные генералы. Я сказал им: «Наши триста судов сожжены. Можно ли назвать это катастрофой? Можно ли считать, что мы теперь в западне? Ничего подобного! Римляне, высаживаясь далеко от родины и начиная поход в глубь страны, сами сжигали свои корабли, чтобы оставить себе два выхода – победа или смерть. За нас эту работу исполнил враг... Возблагодарим же судьбу, оставившую нам лишь два исхода: остаться в этой земле навсегда или уйти отсюда, увенчанными лаврами, как Александр!»

И были великие победы. Из Египта я пошел в Сирию. И города Газа и Яффа пали... И была великая жестокость. Древняя Яффа, укрытая тысячелетними стенами, была взята приступом с немалой нашей кровью. Я понимал, какова будет ярость ожесточенных солдат – и повелел не допустить резни. Приказ, конечно же, был выполнен, и несколько тысяч защитников крепости, албанцев и арнаутов, были взяты в плен. И тут же возник проклятый вопрос – что с ними делать? У меня не было ни лишних солдат, чтобы их сторожить, ни провизии, чтобы их кормить. И я не мог переправить их ни во Францию, ни в Египет, ибо у меня не было кораблей. Целых три дня я медлил, оттягивал единственно возможное в этой ситуации решение. Все ждал – не появится ли в море желанный парус. Войско уже начало роптать на урезанные пайки, ибо мы кормили пленных. Я вынужден был приказать... Их расстреляли... всех...

И была великая непреклонность. Поход продолжался – я шел по пустыне вместе с моей армией... вкус песка на зубах, пылающее солнце и несколько капель мутной воды в день... Когда адъютант посмел меня унижить – привести мне коня, он перестал быть моим адъютантом. Ибо всех лошадей я приказал отдать больным и раненым... И опять – пешком по пустыне без воды и под немислимо раскаленным солнцем. И я все чаще был вынужден говорить солдатам: «Учитесь умирать с честью!» Ибо за нами уже спешили чума и враг...

Он задумался. Потом сказал:

– Какой роман вся моя жизнь... Нет, куда точнее: вся моя жизнь – роман, который нельзя написать. Что описывать? Огонь? Ярость огненного солнца в пустыне? Или огненного мороза в России? Или огонь, пожирающий города? Мельканье великих столиц, тонущих в огне? Или огонь походной страсти? Семя, которое торопливо извергаешь в лепечущую на чужом языке испуганную женщину? Или этот вечный букет запахов бивуака – потных тел, вонючих сапог... мочи, когда торопливо, неряшливо ходишь по нужде... прибавьте запах разлагающихся трупов... таков он – аромат победы! И главное, никакого ощущения времени... оно будто исчезает в этой спешке постоянных маршей... Нет, нет! Лучше изберем простое перечисление событий. Так моя жизнь предстанет честнее...

Итак, оставляя на пути трупы людей и павших лошадей, мы подступили к Аккре... Удивительно, но в Египте и Сирии, в адовой жаре среди всех испытаний, я чувствовал себя...

как бы это объяснить... я чувствовал себя дома, на родине. Будто после долгих странствий, как Одиссей, я вернулся на Итаку. Здесь я был свободен от пут предрассудков ограниченной Европы. И потому в Египте я стал называть себя «султаном Эль-Кабиром», как бы похоронив свое европейское имя... Из пленных мамелюков я взял к себе одного грузина по имени Рустам. Его глаза красноречиво говорили о рабской верности, которая осталась только на Востоке. И теперь, как верный пес, он спал перед моей дверью, свернувшись на циновке и положив под голову саблю. Как тысячи лет спали преданные слуги перед покоями цезарей и фараонов... И я совсем не стремился возвращаться в нашу жалкую цивилизацию лавочников...

Должен уточнить – разочарование в цивилизации имело еще одну причину. Как сказала мне мадам Т., император или кто-то из его генералов получил письмо из Парижа. В нем говорилось, что Жозефина, купившая имение Мальмезон на деньги мужа, на глазах всего Парижа живет там с юным Ипполитом.

Император написал ей: «Я знаю все! И если это правда – прощай. Я не хочу стать посмешищем для фланирующей публики на бульварах. Ты сделала все, чтобы даже Слава наводила на меня скуку. Мое чувство, душу ты изодрала в клочья. В двадцать девять лет я старик. Я хочу сейчас только одного – купить дом и жить там в полном одиночестве... У меня не осталось никого, кроме матери и братьев. Прощай навсегда».

Жозефина показала письмо подруге. Она была так невероятно испугана, – рассказывала мне мадам Т., – что даже мне не удалось ее успокоить. Она твердила, что слишком хорошо знает характер мужа и опасается за свою жизнь. «Этот безумец может примчаться в любую минуту, с его темпераментом он способен на все... Поверь, он убьет меня!»

Жозефина перестала ночевать дома. Но потом довольно быстро повеселела и сообщила мадам Т. радостную новость: Баррас, к которому она всегда обращалась в затруднительных ситуациях, успокоил ее, объяснив, что возвращение Бонапарта ей не грозит, ибо Нельсон, к ее счастью, лишил его флота. И мадам Т. сказала ей: «Ну вот, а ты тревожилась. Можешь теперь спать спокойно, моя дорогая».

«Правда, я не добавила с кем, – смеялась мадам Т., – ибо список был чересчур велик».

Проклятая морская болезнь... Только через пару дней, когда море успокоилось, я смог выползти на палубу и отправиться к императору.

– Мамзель Лас-Каз, – (высшая степень презрения), – неужели вы наконец выздоровели и можете продолжать?

И, не дожидаясь ответа, император начал диктовать:

– Осада Аккры продолжалась. Второй месяц мы топтались у ее стен. Армия таяла от болезней, стычек с превосходящим противником... Крепость держалась! Если бы она пала – я получил бы ключ к воротам всего Востока! Оттуда я мог продолжить поход – напасть на Индию! Завоевать ее! И величайшая восточная империя была бы создана... Иногда мне кажется, что тогда я вообще не вернулся бы во Францию. Я уже видел себя новым Александром, едущим на слоне со священной книгой в руках, где записана новая религия. По примеру великих древних завоевателей я объявлялся в ней богом нового культа... Нет, не зря Александр Македонский задумал перенести свою столицу в Египет. Каир создан быть столицей всемирной державы, он один мог связать Европу, Азию и Африку! Жаль, что я это не осуществил... а ведь мог... – Он вздохнул: – Но Аккра продолжала упорно сопротивляться.

В то время я уже научился понимать голос судьбы. В Египте я часто с ней разговаривал. И порой даже в мелочах ощущал ее заботу...

Помню, мои ученые восторженно рассказывали об античных камнях, и я страстно захотел получить ее. И тотчас нашел! Во время очередного марша мы остановились на отдых у древней крепости. Я лег в тени разрушенных стен. Шелест... это осыпались тысячелетние стены...

Вся крепость была как гигантские песочные часы. Я тронул рукой лежавший рядом камешек и увидел под ним полузасыпанную камеею! Она оказалось бесценной – времен императора Августа. Мои ученые не верили своим глазам! Я подарил ее потом Жозефине...

Как рассказала мне мадам Т., он подарил ее сначала «некоей даме», с которой у него был роман в Египте. К сожалению, я мало о ней знаю. Он потом отобрал у нее камеею и подарил Жозефине.

– И тогда, у Аккры, я сумел понять голос судьбы. Я спросил себя: отчего я не могу взять жалкую крепость? И ответил: это значит – судьба не хочет видеть тебя более в африканских песках. Ты должен немедленно оставить Аккру и Восток. И я приказал снять осаду. Уже двадцатого мая я начал поход обратно в Египет.

Император избежал более точного слова – отступление.

– Госпитали в Яффе были завалены больными чумой. Я не мог их везти... пришлось оставить... В чумном бараке я простился с несчастными. Мои генералы войти туда не посмели. Но я знал – судьба меня охранит... Я велел врачу дать чумным яду, пусть умрут без страданий, ибо за нами по пятам шел враг. Но глупец величественно ответил:

«Мое дело лечить их, а не убивать». И всего через несколько часов враг сжег их всех заживо...

Стояла неслыханная жара, впрочем, обычная здесь в эту пору года. Люди умирали на марше от солнечных ударов. Меня будут упрекать: воюя, я никогда не учитывал климат. Да, не учитывал, ибо мои солдаты должны быть сильнее любой погоды, и я учил их этому. Только в России «генерал Мороз» сумел одолеть мою армию. Впрочем, тогда это была уже совсем не моя армия...

Между тем обнаглевшие турки при поддержке англичан высадились в Абукире и захватили крепость. Я поспешил туда. В эту немыслимую жару мы стремительно преодолели пустыню. И в страшном сне не могли увидеть турки, что я столь быстро явлюсь перед ними...

Крылья неприятельской армии были разделены красивой долиной. Туда я и направил свою кавалерию. С быстротой молнии она оказалась в тылу неприятеля. И бой начался... А закончился он тем, что десять тысяч турок были сброшены обратно в море, остальные изрублены на суше. Они нашли свою могилу там же, где высадились – в Абукире. Берег, который Нельсон покрыл трупами французов, теперь был покрыт телами наших врагов... Главнокомандующий турецкой армией Мустафа-паша был взят в плен вместе со всем штабом. И Абукир – бывший символом нашего поражения, теперь стал местом нашей славы...

Запишите, Лас-Каз, я всегда заботился о получении информации. И в Египте совершил невозможное – сумел организовать доставку газет прямо с кораблей той самой английской эскадры, которая сторожила нас на рейде. Правда, за бешеные деньги... Из английских газет я понял, что во Франции возникла новая ситуация. И она звала меня в Париж.

Безудержное воровство властей уже приготовило народный взрыв. Я читал в газетах, как чиновники бесстыдно грабили, зарабатывая на всем. И самое постыдное – на солдатской крови. Миллионы делались на поставках (точнее, непоставках) в армию: в итоге солдаты в Италии остались без провианта и оружия. И результат: великие завоевания в Италии, которые я оставил республике, отобрал русский полководец¹⁷. Вот что сделали негодяи с моими победами, оплаченными французской кровью!

¹⁷ Суворов.

Я понимал, как страшится моего прибытия Директория. В тех же газетах я прочитал явно оплаченные слухи о моих поражениях, о том, что я расстреливал своих больных солдат... и даже о моей гибели. Я понял: времени больше нет – я должен ехать! И немедленно!

Приказав Клеберу остаться в Египте за главного, я велел подготовить два корабля, уцелевших после бойни при Абукире. На фрегате «Мюирон», названном в честь адъютанта, отдавшего за меня жизнь, плыл я сам, а также мои лучшие генералы – Мюрат, Бертье, Ланн, и прославленные ученые Бертолле и Монж. На второй корабль погрузились несколько сотен отобранных мною солдат.

Я понимал, что опасно не только море. Куда опаснее была суша, к которой мы так стремились. Во Франции меня могли обвинить в том, что я бросил армию без приказа. И попытаться арестовать. Так что и на родном берегу мои солдаты могли мне понадобиться... Хотя я был почти уверен – не посмеют!

Как только мы вышли в море, начался сильный ветер. Адмирал Гантом объявил, что мы должны вернуться обратно в гавань. Команда поддержала его. Но я слушал не адмирала и не команду, а судьбу. И был непреклонен. Приказал плыть вдоль африканских берегов, не уходя далеко в море... И вскоре задул ровный попутный ветер, обещавший «Мюирону» хороший ход! К тому же он принес и сильный туман. Белое мокрое облако нависло плотной завесой. Мы шли в царстве тумана, рискуя наткнуться на мели и рифы. Капитан то и дело промерял глубину. Но я смеялся над его страхами. Я знал, мы приплывем невредимыми... И приплыли! Вскоре мы уже высадились во Фрежюсе.

Путь до Парижа... Города, которые проезжали, сверкали иллюминацией в мою честь. Солдаты выходили на парады, хотя никто не отдавал им такого приказа... В Париже они прошли передо мной под барабанный бой, выкрикивая приветствия.

Как я и предполагал, Франция была готова соединить свою судьбу с моей. Плод созрел в мое отсутствие!

15 августа – день рождения императора – мы встретили в море. Императору исполнилось 46 лет. В кают-компаниях устроили маленькое торжество – сказали несколько тостов в его честь.

Орудийный салют, фейерверки, грандиозный прием в Тюильри – все это было так недавно в дни его рождения! А теперь...

Он вышел на палубу. Стоит, опершись на «пушку императора» – так ее теперь называют англичане. Смотрит в океан.

Матросы поймали огромную акулу и разделяют ее... Он подошел слишком близко – усмехаясь, смотрит, как вспарывают беспомощное великолепное тело недавней повелительницы океана. Его мундир забрызган ее кровью... В этот день он гулял один, до самого вечера, так и не сменив забрызганный кровью мундир.

Вечером он позволил себе впервые перерыв в диктовке. В кают-компаниях играл в карты. Играл с отсутствующим видом – и тем не менее впервые выиграл восемьдесят золотых наполеондоров. К радости Маршана, у которого денег становилось все меньше...

Наступила ночь. Мы пересекли экватор. Горячее дыхание океана... Вместо Полярной звезды – Южный крест над головой.

Маршан позвал меня в его каюту. Император усмехается:

– Мой день рождения... праздник в Тюильри, фейерверк – все суета! Давайте-ка лучше продолжим... Вернувшись из Египта, я остановился в своем доме на улице Шанторен, переименованной в улицу Победы... Там меня ждали моя мать... – Он помолчал. – И Жозефина...

Мадам Т. рассказывала мне, что креолка была в гостях у очередного любовника, когда ей сообщили: «Он прибыл в Париж». Она уже знала, что ему все известно, и от страха подумывала развестись – смертельно боялась его темперамента. Но когда увидела встречу героя... К тому же у нее было долгов на два миллиона...

Она примчалась домой и нашла свои вещи внизу у консьержа. Муж выставил их из квартиры. Она поднялась наверх, но он заперся в кабинете. Она поняла: это хороший знак – он боится увидеть ее. У запертой двери кабинета молила о прощении, но он не открывал. Она вызвала на помощь детей – он очень любил Эжена и Гортензию. Они пришли и вместе с матерью молили его открыть дверь. Но из кабинета не доносилось ни звука. А она все молила... и выдержать все это было выше его сил. Он впустил ее.

Позже она сказала мадам Т.: «Я смогла тут же доказать ему, что он не ошибся, простив меня... благо в кабинете был диван».

– Она ветрена, да... непостоянна... как Франция, – ее надо все время завоевывать. Но тогда я решил обладать обеими. И не ошибся.

Я теперь часто вспоминаю: короткий отдых после обеда, она читает мне вслух, а я лежу без сил на кровати. Но это лишь мгновения – и вот я вновь надеваю на себя железный ошейник верного пса Франции! Смотрю на Жозефину. Она порой чертовски умна... легкое движение – дотронулась до моей шеи... Поцелуй... И фраза:

«Это я поправила на тебе твой железный ошейник».

И еще она умела, как никто, варить кофе... Нет, я не ошибся, простив ее. Да, был повод... но потом она сумела стать истинно корсиканской женой! Была мотовкой... ну и что? Меня всегда окружали мотовки, одна сестра Полина в день тратила состояние! Только мать тратила мало, смешно сэкономила деньги, и когда я смеялся над ее бережливостью, говорила: «Боюсь, настанет день, когда вам придется занимать деньги, и я не хочу, чтоб вы их просили у чужих людей».

Все это вычеркните, Лас-Каз, и – к делу! Пишите: Директория уже привела к краху финансы, пропасть безвластия могла поглотить республику. С каждым днем на страну надвигался хаос. Хаос – это раскрепощение толпы и закрепощение личности. Богатые были испуганы и не хотели этой жалкой власти, которая уже не могла защитить их, – они хорошо помнили ужасы революции. И бедные тоже ненавидели воров из Директории.

И это рассказывал в моем доме... член Директории! Да, знаменитый аббат Сийес, вечный крот – он первым начал рыть яму для власти, частью которой был сам! Сначала я невзлюбил его, относился к нему с открытым презрением. Впрочем, он отвечал мне взаимностью – назвал «маленьким нахалом, которого не худо бы расстрелять». Но потом мы раскусили друг друга, и он стал поддерживать меня.

Затем в моем доме появился Талейран и показал мне донесения провинциальных лидеров в Директорию. Они были красноречивы:

«Мы живем в краю, кишашем разбойниками. Чтобы проехать по нашим дорогам, надо заручиться пропусками от главарей банд. Промышленность остановилась, в больницах умирают, но не от болезней, а от недостатка лекарств. Мы превратились в нацию, равнодушную ко всему, кроме удовольствий столичной жизни».

Всем осточертел беспорядок, все хотели с ним покончить. Не приди я, кто-нибудь другой сделал бы это. Налицо были все элементы для создания будущей империи. И разумная часть Директории, понимавшая, что нужно не только спасти страну от них самих, но и самим спастись вместе со страной, была со мной.

На квартире Талейрана мы три недели обсуждали план смены власти. Талейран опасался, что Баррас в отчаянии может решиться на «безумие». Сопrotивление уже называлось «безумием»! Помню, ночью мы заканчивали обсуждение и неожиданно услышали цокот копыт

полицейского патруля. В ужасе Талейран бросился тушить свет. В абсолютной темноте я чувствовал, как он дрожит. Вцепившись в мою руку, он повторял: «Безумие... безумие...» Я расхохотался:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.